

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

156

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

№ 156

II - 1989

Edité par l' Action Chrétienne des Etudiants Russes

Редакционная коллегия:

Архиеп. Сильвестр, прот. Иоани Мейендорф, прот. Алексей Князев,
прот. Кирилл Фотиев, Ю. Кублановский, О. Раевская, Н. Струве.

Отв. редактор: Н.А. Струве.

4001532

Д.

(3 выпуска) :

.. 240 фр.
.. 270 фр.
.. 320 фр.

80 фр. / 15 долл.
(без пересылки)

«LE MESSAGE»
23-601-57 U Paris).

ИЗДАНИЕ

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Адрес редакции : «LE MESSAGE», A.C.E.R.,
91 rue Olivier de Serres, 75015 Paris, F. (tél. 42.50.53.66).

Directeur responsable : Nikita STRUVE.

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

156

БИБЛИОТЕКА-ФОНД
«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»
МОСКВА, НИЖНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ 2

4001532

ПАРИЖ — НЬЮ-ЙОРК — МОСКВА

От Редакции

"В ТОТ ЧАС, КАК РУШАТСЯ МИРЫ..."

А. Ахматова

На международном парижском симпозиуме, посвященном столетию Ахматовой, была показана потрясающая документальная картина (режиссер С. Аранович) — "Личное дело Ахматовой" на фоне апокалипсических событий: рушились с грохотом храмы, осквернялись святыни, уничтожались тысячи и тысячи людей, сменялись звероподобные или клоунообразные вожди... И, вопреки грохоту разрушаемых с бесовским остервенением миров, раздавался, в почти уже неслышимой тишине, чистый голос поэта, "один все победивший звук".

Но и парижская юбилейная встреча, хотя ахматовский дух и придал ей оттенок надмирности, проходила под грохот исторических событий, равных которым, пожалуй, не было со Второй мировой войны: в наши дни, в эти дни, по пророческому слову Розанова, с буквальной точностью определившего сроки, "в третьем-четвертом поколении", валится само собой, без толчка извне, "с чертами ослиного в себе", так и не выстроившееся "новое здание". Развал охватил обе коммунистические сверхдержавы, но неожиданно в двух диалектически несходных направлениях. Начавший, казалось бы, разумно с экономических преобразований, обеспечивших населению прожиточный минимум, Китай столкнулся со стихийным "духовным" бунтом: население, молодое поколение, не хочет довольствоваться куском колбасы, но требует настоящей полной свободы. Разумные люди, опираясь на выкладки о китайском характере, о материалистической основе коммунизма, о вековой восточной мудрости, предрекали медленную, но мирную эволюцию, — а потекли потоки

Copyright © Le Messenger. Paris 1989

COMMISSION PARITAIRE
N° d'inscription 620 16

крови, и уже не чужие, а свои танки давили своих безоружных братьев.

В России разложение системы (или, если угодно, ее подновление), может быть и неразумно, началось с духа, со стихийного стремления "жить" наконец "не по лжи"... По мере того, как очищается и растет сознание, экономика катится неуклонно в пропасть, что, в свою очередь, чревато голодными бунтами. Разумные наблюдатели неустанно повторяли о истонной неспособности русских к демократии, предсказывали братоубийственную резню. Помимо раскрепостившейся печати, возникла в России парламентская трибуна (пусть, как в опередившей всех Польше, с подавляющим большинством партийных, не демократия, конечно, а какой-то первый намек на нее), и с нее раздаются речи, о которых два-три года назад и подумать было невозможно.

История совершает на наших глазах крутой поворот руля. Крушение "нового здания" в третьем-четвертом поколении началось. Оно грозно (конвульсии умирающей всемирной утопии страшны), но оно неотвратимо и необратимо.

Доспех тяжел, как перед боем,
Теперь твой час настал. Молись!

Никита Струве

БОГОСЛОВИЕ - ФИЛОСОФИЯ

А. (Ленинград)

КРЕЩЕНИЕ РУСИ И РАЗВИТИЕ РУССКОЙ МИССИИ

Чем тверже будет положено основание, тем прочнее будет здание и легче созидать его.

Св. Иннокентий Московский

МИССИЯ И МИССИИ

Одной из особенностей нашей современной церковной эпохи является заостренное внимание к тонким нюансированным различиям, позволяющим переосмысливать и обновлять старое богатство Церкви. Чаще всего это связано с привычкой к "диалектическому" мышлению. Таковы развернутые, например, В. Н. Лосским различия катафатического и апофатического. Предания и преданий и т. д. Иногда же эта нюансировка является плодом "системных исследований" и структуралистики, стоящих поныне на вершине научного бытия. Особенно плодотворно этот метод сказался в литургике, библеистике, религиозной психологии и т. д.

Мы предлагаем различать еще один ряд понятий: Миссия и миссии. Типологически такое различие близко к более общему различению Предания и преданий в Церкви.

Каждому христианину должно быть совершенно ясно, что, как и Предание, Миссия Церкви священна. Она является неотъемлемой качественной характеристикой живого тела Церкви. Как и Предание, Миссия — это внутренняя жизнь

Церкви (см. 2, с. 49), это вся ее жизнь, но только с той разницей, что Предание относится по преимуществу к внутрицерковным отношениям, а Миссия — к "пограничным", являющимся в известном смысле частью внутрицерковных.

Продолжая начатую нами параллель Священного Предания и Священной Миссии, надо сказать, что эти ноуменальные и эзотерические (что не значит еще — развоплощенные) реалии Церкви не могут, да никогда и не должны быть экстериоризированы и объективированы. Другое дело, когда мы сталкиваемся с их порождениями и следами-образами, т. е. конкретными историческими формами преданий и миссий Церкви, которые, конечно, феноменальны, экзотеричны и, следовательно, могут объективироваться. Именно они поддаются научному, дискурсивному анализу, и ими нам придется более всего заниматься. Духовный смысл этого занятия сохранится только тогда, когда мы не будем забывать о том, откуда они вышли и куда должны возвратиться.

Но говоря о миссиях Церкви в отличие от Священной Миссии Церкви, мы должны оговорить еще некоторые понятия, которыми приходится в связи с этим оперировать. Прежде всего, что такое внутренняя и внешняя миссии? Обычно к этому подходят лишь по форме и потому говорят, что внешняя миссия — это миссия как бы "заграничная", т. е. развернутая или прямо "за границей" православно-христианского государства, или внутри этих границ в тех его районах, где большинство традиционного населения не является православным. Тогда ясно, что внутренняя миссия — это миссия, обращенная в остальных районах государства к неправославному меньшинству. В такую миссию включаются все действия по приведению в православную Церковь тех, кто не числится членом ее, начиная от раскольников и неправославных христиан до нехристиан и язычников. Конечно, такое понимание миссии предполагает и те случаи, когда политические противники государства становятся по меньшей мере потенциальными объектами внутренней миссии (вспомним хотя бы анафематствование Стеньки Разина и Ем. Пугачева). Приведенное нами различие внешней и внутренней миссии не вполне удовлетворительно еще и потому, что

предполагает господство православной Церкви в соответствующем государстве.

Так нельзя ли подойти к этому вопросу иначе? Для этого надо определить прежде само понятие Миссии. Если под ней подразумевать постоянное служение Церкви по распространению и утверждению духа христианства, то внешней окажется вся миссия, о которой мы говорили выше как о внутренней и внешней, а внутренней будет миссия внутри формальных, официальных границ православной Церкви, т. е. обращенная и к тем, кто как бы "числится" в Церкви, будучи крещен и т. д., но кто реально полным, а иногда и неполным членом ее признан быть не может. Составной частью этой внутренней миссии является также евангелизация, проводимая, в первую очередь, для утверждения в вере христиан, как еще некрещенных и (или) ненаученных, так и новокрещенных или недостаточно наученных, так называемых "младенцев во Христе".

Что же движет людьми, являющимися служителями всякой церковной миссии? Если носителем Миссии Церкви может быть всякий подлинный христианин, будь он даже еще оглашенным первого оглашения (т. е. только отрекшимся от своих прежних заблуждений — см. 3, с. 32), то служителем этой Миссии является не каждый. Для служения необходимы особые дары Святого Духа и целый ряд как личных (и физических, и душевных, и духовных), так и церковных условий. Это служение требует от человека много сил, времени, интереса, хотя бы некоторой образованности и культуры, обаяния, ума, решительности, ответственности, личной связи с конкретной церковной общиной или хотя бы с отдельными верующими, самопожертвования, терпения, духовного и церковно-молитвенного опыта, иногда знания известных средств и т. д. Конечно, чем более одарен от Бога такой человек и чем он лично более свят и праведен, тем лучше. Ведь в миссионерском деле он только служитель благодати Божией, без которой "никто не может назвать Иисуса Господом" и без которой нет того богатого "избытка сердца", от которого "говорят уста". Церковность, как мера приобщения ко Христу и Его Церкви в ее Предании и Миссии, — вот главная духовная характеристика миссионера. Она же — основная движущая сила его духовной жизни.

Будучи по преимуществу личным (но не частным или индивидуальным) делом христианина, миссионерство приносит не только личные, но и церковные плоды. Долго считалось, что эти результаты миссии должны определяться по количеству крещений и т. п. Горькая недостаточность этого формального критерия в наше время всем очевидна. "Валовые" показатели вообще мало о чем говорят. В них нет качественной характеристики. Поэтому нам надо вспомнить те два основных критерия, которые служат оценке всего в Церкви. Это — плоды ("по плодам их узнаете их") и дух, который может быть подвержен, по слову апостола, "различению", т. е. качественной оценке его соответствия Духу Божию и духу данного служения.

Достойные плоды миссионерской деятельности могут быть выражены только в одном — в полном воцерковлении (понимаемом не как чин или соответствующий акт) определенного количества человек, "ощутивших и нашедших" истинного Бога во Христе Духом Святым. Подобно апостолам, миссионеры в результате своей деятельности должны видеть образование, укрепление и рост церквей, способных к самовоспроизводству "с прибылью". Эта "прибыль" может выражаться как в количественном росте, так и в духовном и душевном, в том числе культурном, совершенствовании церквей. История показывает, сколь взрывчатым оказалось христианство в этом отношении, особенно там и тогда, где и когда оно было на подъеме. Свидетельство тому — все предания Церкви и вся история ее миссий. Проиллюстрируем это на примере развития русской православной миссии со времени крещения Руси до начала XX века.

ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Три периода подъема в истории русской православной Церкви

Мы стоим перед историческим феноменом 1000-летнего бытия русской православной Церкви с противоречивыми чувствами. С одной стороны, восхищение, но неизменно с

другой — тяжесть и уныние. С одной стороны — свет, с другой — тьма; с одной стороны — Церковь, с другой — ее темный двойник. И все же история русской Церкви до удивления ясна и прозрачна, даже если мы на секунду примем во внимание самый последний ее этап, приближение к которому столь небезопасно для историка, изучающего обычно лишь все былое да прошлое.

Очевидно, что русская православная Церковь переживала три главных подъема, три периода очищения, просвещения и возрождения, которые имели для нее (и не только для нее) эпохальное значение, хотя и в эти моменты хватало и недостатков, и грехов. Это были периоды светозарных откровений и явлений, прорывов из истории в метаисторию и, следовательно, великих миссионерских подвигов.

Первым таким периодом было время крещения Руси в конце X–XI (XII) веках, вторым — время собирания Руси вокруг Москвы во второй пол. XIV–сер. XV (нач. XVI) вв., третьим — сложное, но блестящее время с (первой пол.) сер. XIX до нач. XX века.

Мы, конечно, еще будем касаться каждого периода специально, но предварительно дадим краткую общую характеристику.

Первый из них стоит под знаком дела, совершенного св. благоверным великим князем Владимиром Красное Солнышко, крестившим Русь. Мы не слишком много достоверно знаем о нем и о его времени, но сам факт приобщения к Церкви многих людей, населявших тогда огромную и сильную Киевскую Русь, непоколебим. Конечно же, и в этом был прав акад. Е. Голубинский, крещение Руси происходило с большим трудом, но успешное сопротивление немалым противоборствующим силам показывает нам лишь превосходящую их силу христианства. Шла напряженная борьба среди людей и в самих людях за отречение от сатаны и сочетание со Христом. И тем не менее эта борьба происходила относительно тихо и мирно. Но самое интересное здесь то, что иначе и быть не могло. Даже если бы великий князь Киевской Руси, представлявшей из себя странненький конгломерат народностей и племен, захотел привить в своем

"государстве" христианство преимущественно внешней силой, он этого бы сделать не смог в силу именно того факта, что его государству не хватало целостности и оно еще долго оставалось конгломератом. Поэтому просвещать людей можно было только изнутри каждой его клеточки, каждого народа и племени. А если изнутри их, значит уже не только и не столько внешней силой. И чем больше участвовала в крещении какого-либо народа или княжества внешняя сила, тем менее глубоко прививалось в них христианство. Прекрасный тому пример — Новгород, крещенный, как известно, не без "огня и меча" и легко отпавший от веры под влиянием первого попавшегося "энергичного" волхва даже в 1076 г., т. е. почти через столетие (см. 14, с. 152).

Второй период связан, в первую очередь, с именем преп. Сергия и его учеников, сосредоточивших в себе по преимуществу внутреннюю (не формально) миссию против "ненавистной розни мира сего" через созерцание Единства Святой Троицы и созидание единства нового народа и государства. Вспоминая этот период, сразу представляешь себе Москву с ее великими князьями и великими митрополитами, обитель Святой Троицы и ее основателя — "игумена земли русской" до сего дня, далее, трудившегося в похвалу ему преп. Андрея Рублева "со товарищи", "хитрого зело" философа Феофана Грека, принесшего "во плоти" иконописи и слова исихастские идеи, "собеседников" преп. Сергия — многочисленных святых основателей русских (в основном северных) монастырей и миссионеров, "премудро" написанные жития, "новый" Иерусалимский устав, монашеское купножитие, Куликовскую битву, тихие, кроткие и при этом истинно аристократические лики русого Спаса — на иконах евангелистов с их символами — на драгоценных евангельских миниатюрах, блистающих в совсем небольших, но удивительно целостных и стройных русских амфорах-соборах.

Если в первый период главный враг, язычество, прямо ассоциировался с единокровными, но еще некрещеными братьями или с близкими соседями, то во второй он олицетворялся или во внешнем народном враге, или в укоренившемся "двоеверии", грозившем, в конечном счете, тем же уничтожением, унижением и насилием.

Третий период имеет у истоков своих третье русское светило, "белого инока" преп. Серафима. Его характеризуют глубокое стремление к просвещению и свободному творчеству, великие достижения культуры и искусства, остринцы, самобытные философия и богословие, широкий выход на мировую арену, новое и широчайшее миссионерство, способствовавшее формированию новой "русской идеи", стремление к освобождению себя и других и болезненно-обостренное самосознание, желание помочь всем, но при этом и горькое признание-сомнение: а было ли проповедано христианство на Руси? Отсюда соблазн и глубинная противоречивость, влекущая подчас к сокрушительному совмещению в себе Христа и еще кого-то, вплоть до Антихриста. И слишком поздний между ними конечный выбор... Воистину сложная эпоха...

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ РУССКОЙ МИССИИ

В первый период.

В это время произошли три основных события: крещение великого князя Владимира, киевлян и распространение на Руси христианства. Для нашей темы неважно, где и когда именно произошли крещение киевского князя и народа. Нам важно, как это произошло (или могло произойти).

Конечно, историк Карташев прав, когда, касаясь этого вопроса, пишет относительно князя Владимира: "В самой глубине духа это останется навсегда тайной личного обращения, подобной чудесной тайне превращения Савла в Павла". (14, с. 107). Далее он вслед за Голубинским справедливо критикует летописный рассказ о "выборе вер" как, с точки зрения истории, слишком поверхностный, недостаточный, почти сказочный, и обращается за помощью к затрагивавшим эту тему ближайшим по времени к князю Владимиру писателям Древней Руси — митрополиту Иллариону, утверждавшему в "Слове о законе и благодати" (сер. XI в.): "... Возгорелся он духом и возжелал сердцем быть христианином и обратить всю землю в христианство", мниху Якову (не ранее кон. XI в.), писавшему в "память и похвалу" князю Владимиру: "Вида же Божие хотение сердца

его, провидя доброту его, призри с небесе милостию Своею и щедротами и просвети сердце князю русския земли Володимеру прияти святое крещение"; а также преп. Нестору, отмечавшему в "Сказании о мучениках Борисе и Глебе" (к. XI-н. XII в.): "... Сему Владимиру явление Божие быти — ему крестьянину створися". (см. 14, с. 107-110). Упомянувши еще семейно-родственные и брачные влияния и политическую прозорливость, Карташев делает вывод: "...Обращение князя Владимира к христианству произошло по многим внутренним и внешним побуждениям, а не вследствие какой-то внешней и как бы случайной информации и предложения вер со стороны иностранных посольств". (там же, с. 112).

Как неспешно и свободно-лично созрело в князе Владимире желание принять христианство как греческую веру, также неспеша и лично принимал он святое крещение. И пусть Корсунь и тем более Василев — это не Константинополь, однако, практика крещения должна была быть примерно одинаковой, за исключением может быть некоторых деталей и оформления. У нас еще будет возможность подробнее коснуться ее в следующей главе, а сейчас хочется лишь отметить то, что великий князь Владимир наверняка прошел все стадии первого и второго оглашения, крестился, причащался и был утвержден в вере после крещения. И пусть по внешним обстоятельствам, особенно если его крещение совершалось в Корсунь, длительность этих этапов могла быть несколько сокращена, но само их сознательное и свободное прохождение достаточно помогло просвещенному и умному князю (как и его дружине) принять благодать крещения всерьез и навсегда. Это было подлинное обращение, которое не могло не дать реальных духовных плодов. Поэтому нас не удивляет его смущение перед применением смертной казни, когда ему еще при оглашении было сказано: "не убий". Мы охотно верим его легендарной щедрости и доброте, будь то при устройении больших пиров или же в деле благотворительности больным и бедным, известным ему и неизвестным. Наконец, мы знаем о его полюдьях, включавших и миссионерские цели, и о наказе сыновьям, удельным князьям, заботиться о распространении христианства.

Однако ни киевляне, ни тем более жители других местностей не могли принимать крещение так же свободно и лично, вдумчиво и неспеша. Это было бы слишком долго и, следовательно, в тех условиях слишком роскошно, а к тому времени, к сожалению, уже и не в церковной традиции (об этом см. след. главу).

В лучшем положении, конечно, были киевляне. Христиане в Киеве давно уже не были редкостью, причем не только среди приезжих и иностранцев, но и среди своих. Бабка князя Владимира, св. княгиня Ольга, некоторые его жены, а может быть даже еще Аскольд, убитый Олегом вместе с Диром, были христианами. В Киеве был по меньшей мере один христианский храм, а значит постоянно были священники, совершались богослужения, в том числе и крещения, звучала проповедь.

Время крещения киевлян историки определяют по-разному — с 987 до 991 г. (см. 20, с. 179). Можно предположить, что если сам князь Владимир крестился до Корсунского похода, что очень вероятно, то все эти годы в Киеве шел процесс крещения. Конечно, он имел какой-то кульминационный момент, который мог иметь место лишь через некоторое время после взятия Корсуни и возвращения князя домой. Надо ведь было не только укрепиться самому князю и другим новокрещенным, но и подготовить психологическую, политическую и духовную почву для крещения народа. Киевляне в первую очередь ждали перемен, ибо нельзя уже было умолчать о новой вере и жизни великого князя и большинства его близких.

И вот началась открытая подготовка к крещению. Несмотря на то, что летопись не упоминает о ней, она безусловно существовала, что признают почти все исследователи, хотя представляют ее себе различно. Так, Знаменский пишет: "По истреблении идолов духовенство и князь ходили по городу с проповедью". (13, с. 6). Доброклонский говорит: "Затем он [князь] позаботился подготовить к христианству некрещенных киевлян. Для этого он поручил духовным лицам, отчасти приехавшим с ним из Корсуни и отчасти, вероятно, нарочито явившимся из соседней, соплеменной Болгарии, ходить по Киеву и просвещать народ христианскою проповедью (История Татищева, II, 74, 79; I, 38). Им,

конечно, могли помогать и киевляне, крещенные раньше". (10, с. 20). Голубинский особенно, со свойственной ему чуткостью ко внутренне важному, останавливается на этом моменте, отмечая, с одной стороны, что "мы не можем сказать ничего положительного о том, каким образом киевляне были приготовляемы Владимиром к крещению" (5, с. 166), с другой же стороны говорит: "Когда предстояло крестить целый народ, то, конечно, не могло быть и мысли о том, чтобы везде наставить в вере всех и каждого; в подобных случаях уже по неизбежной необходимости большая часть людей исполняет простой приказ. Но если не было возможности нигде наставить всех, то была возможность везде наставить некоторых, которые бы своим сознательным поведением в перемене веры могли служить своего рода доказательством для других; была возможность если не вполне, то по крайней мере до некоторой степени везде вводить новую веру таким образом, чтобы ее принятие представлялось не делом принуждения, а делом свободы и убеждения... Можно предполагать, что народу приказано было собираться на сходки, что таких сходок было назначено несколько в разных частях города, что в продолжение того или другого времени они происходили регулярно, в определенные сроки, и что таким образом они представляли из себя как бы временные (!) училища (огласительные школы) для взрослых. Можно и должно предполагать, что на тех отдельных лиц, которые по тем или другим причинам имели особенный авторитет между своими согражданами, было обращено основное внимание, что лица эти, имевшие влиять на других своим примером и словом, были собираемы на особые сходки, на которых они были наставляемы в христианстве и убеждаемы к его принятию с особой старательностью и людьми, особенно на это способными". (Там же, с. 165–166). Интересно заметить, что Карташев, обычнодвигающийся в направлении Голубинского, в этом случае резко и без каких-либо объяснений отходит от него и ограничивается только одной фразой: "Без проволочек объявлена была всеобщая мобилизация крещения в Днепре" (14, с. 122), тем самым по существу придерживаясь позиции автора летописи.

В процессе подготовки к крещению народа в Киеве могли произойти события, отмечаемые и летописью. В какой-то

момент надо было явить знамение силы новой веры и бессилия старых богов, тогда и мог быть разрушен весь киевский пантеон во главе с идолом Перуном. Надо думать, это возымело свое действие и может быть даже в известной степени решило общий исход дела.

Подготовка подошла к концу. Народ принял реформу князя, хотя и расслоился. Иначе же и быть не могло, ибо проведенная так или иначе его подготовка к крещению на самом деле не была оглашением в строгом смысле этого слова, т. е. тем, за что ее выдают. Как бы мы ее себе ни представляли на основании имеющихся данных, мы никогда не выйдем за рамки так называемого предоглашения, целью которого является привести человека или группу лиц к открытому отречению от старых заблуждений, предрассудков и суеверий, в отличие от собственно оглашения, которое должно приводить людей от этого состояния через научение и проверку происходящих внутренних изменений к крещению, т. е. таинственному воцерковлению и рождению от воды и Духа. Таким образом, сколько бы ни было в Киеве способных к учительству священников и какого бы они ни были происхождения, надо признать, что при подготовке к крещению киевлян оглашение (не в смысле обрядовых чинов) не совершалось, а было только в той или иной степени проведенное предоглашение и потом сразу крещение, видимо, без особого тайноводства, т. е. церковного и духовного, а не только опять же обрядового, утверждения в вере. Собственно же оглашение, если и проводилось как-то особенно интенсивно все те годы в храме (скорее храмах) Киева, то более нескольких десятков, максимум сотен, человек оно затронуть не могло. Для нас этот вывод очень важен, ибо, как известно, что посеешь, то и пожнешь. Христианизация Киева произошла, но как? Если наряду со "скептиками" даже очень не критические историки говорили о трех-четырёх видах отношения киевлян к крещению (идушие с радостью и веселием; сомневающиеся, но добровольно следующие приказу и примеру старейшин; крестящиеся из страха к повелевавшему; избегающие сознательно крещения — см. 5, с. 168–169; 10, с. 20; 13, с. 6 и т. д.), то что можем сказать в наше время о масштабах и качестве такого крещения?

Что же произошло далее в Киевской Руси? Христианская Церковь стала поддерживаться центральным правительством и пользоваться известными привилегиями. Христианская проповедь стимулировалась самим великим князем, его сыновьями и посадниками, а отчасти даже велась ими. Вслед за Киевом христианство распространилось в Киевской области среди полян, потом постепенно было принято верхушкой русского общества в большинстве других больших городов, потом стало народным исповеданием, "киевской", "русской" верой, и лишь после этого усилиями миссионеров — епископов, духовенства, монашества и мирян — стало проникать в колонии, в среду местного инородческого населения. Таким образом, в русской земле христианство объединило резко разделенное, и этот процесс шел весь домонгольский период.

Эта схема развития "вширь" киевского христианства представляется общепринятой, ибо пока не удастся объяснить корень отношений между уделами, народами и племенами в Киевской Руси иначе, чем это делал в свое время еще Голубинский: "Киев, идеально ставший столицей всего государства, названный матерью городов русских, на самом деле в понятии народа еще продолжал быть таковою только для области Киевской или для области племени полянского. Таким образом, великая перемена, которую народ позволил совершить с собою в Киеве, еще ничего не говорила другим областям русским, потому что другие области еще смотрели на свои столицы и на свои старшие города". (5, с. 171-172; см. также 14, с. 149).

Говоря о крещении Руси, мы не будем повторять хрестоматийный материал, перечисляя, кто, когда и как крестил ту или иную землю, ибо нашей темой является общая история развития русской миссии, а не отдельных миссий и миссионеров. Отметим потому лишь самое необходимое.

Действенной мерой в распространении христианства было образование епархий как в близких к Киеву городах (Черниговская, Белгородская, Владимиро-Волынская, Туровская, Полоцкая), так и на окраинах (Новгородская, Ростовская, Тмутараканская). Епископы, особенно из русских, жертвенно служили делу миссии. Особенно

интересен пример третьего ростовского епископа св. Леонтия, который, находясь в очень трудном положении, нашел интересный выход в деле обращения местных жителей из племени меря. Уже не надеясь на обращение взрослых, он стал собирать и катехизировать детей, уча их славянскому языку, грамоте и первоначальным истинам христианства (см. 14, с. 151). Надо думать, что он имел большой успех, иначе не стали бы бунтовать местные жители. Бесстрашно выйдя к ним безоружным, но в облачении и с крестом, св. Леонтий победил. К слову сказать, использование при распространении христианства на Руси славянского языка сыграло большую роль. Это очень помогло освоить содержание веры широким кругам людей, имевших желание и возможность регулярно посещать церковь. Велась работа и по более глубокому утверждению веры. Хотя и по-разному, но этому весьма способствовали как школы (например, известные княжеская киевская и епископская новгородская), так и большой интерес к книгам, проявленный многими из тех, кто мог себе это позволить (в основном князья, начиная с великого князя Ярослава Мудрого и до преп. Евфросинии Полоцкой, позже монастыри и др.).

Итак, по выражению митрополита Иллариона, "труба апостольская и гром евангельский огласили все города, и вся земля наша в одно время стала славить Христа" ("Слово о законе и благодати"). Был явлен плод. Русь была крещена, и это главное, но... (дадим слово историкам): "Крещение всей Руси вовсе не должно быть понимаемо так, будто крещены были все до одного человека; полное водворение в ней христианства должно быть представляемо не столько как внутреннее и настоящее, сколько как наружное и просто сначала зависела от скудости просветительских средств, находившихся в ее распоряжении: за исключением исключений, в общем не было у нередко само не возвышалось над двоеверием народной веры..." (14, с. 241). "Итак, сим-то, так сказать, самодейственным путем, без всяких с чьей-либо стороны затрат и попечений, масса народная и должна была учиться у нас христианской вере, ее истинам и ее догматам. Это, конечно, очень печально. Свообразным утешением в сем случае может служить то, что и у всех других христианских

народов с обучением истинам веры народных масс было не лучше или очень немного лучше нашего: не везде, подобно нам, было так, чтобы отсутствовало умение, но везде было так, что совсем или почти совсем отсутствовало хотение". (6, с. 834).

"Что касается положительной стороны дела, т. е. насколько народ ознакомлен был с самим религиозным учением христианства, то неутешительный пример даже настоящего времени дает нам основание предполагать в народе крайнюю скудость ясных понятий о христианской религии.

До сих пор мы имели в виду общую массу русского народа, далеко стоявшую от источников просвещения. Что же касается людей богатых, князей, передовых представителей русского духовенства и некоторых жителей крупных городских центров, имевших доступ к сокровищам книжной мудрости, то в их среде новая религия в большинстве случаев и принята была с полной сознательностью, как единственная истинная вера, исключавшая все другие, и усвоена с достаточной полнотой и глубиной. Отметим только одну, если не характерную, то во всяком случае важную черту в христианском веропонимании русских книжных людей того времени. Именно, наряду с существенными признаками христианского веро- и нраво-учения, точнее — преимущественно пред последними, их внимание приковывали к себе и самые мелочные проявления церковной обрядности, к области которой они стремились отнести еще массу бытовых казусов, почти не имевших никакого отношения к религии". (14, с. 241).

Во второй период.

Для этого времени прежде всего характерно стремление к расширению внешней русской миссии. Почти все окраины и соседние страны находятся под ее влиянием. Ей "очень способствовала политическая сила и объединение страны около Москвы". (10, с. 138). Однако, именно это обстоятельство, видимо, и мешало ей. Миссии приходилось бороться против политического давления и навязывания своих порядков другим, а наряду с этим еще и с "перегибами на местах". Где это удавалось сделать, там результаты были лучше (Малая Пермь, отчасти лопари), где же нет, там дело

чаще всего кончалось очень печально — или переходом во внешне более сильное латинство и преследованием православных (Литва, часть других западных и юго-западных земель, отчасти Водская земля и Карелия), или в принципе безрезультатно (миссия в Монголии и Орде: несмотря на то, что XIII век подавал большие надежды, ни традиционно хорошее отношение ханов к христианству, ни крещение местных людей, вплоть до царевичей, ни чудеса исцеления, ни мученичество не стали семенем христианства). Позже это же направление заложило основы для самой крупной исторической неудачи русской миссии — среди татар и прочих "казанских инородцев" (см. 16).

Крупнейшей фигурой в деле внешней миссии того времени был, конечно, св. Стефан Пермский, просветитель зырян. Нет ни одного историка, который бы не признавал его выдающегося значения. Обладая с детства большими способностями, будучи сыном соборного причетника в Устюге, он рано научился читать и потянулся к книгам. Став в 1365 г. иноком монастыря св. Григория Богослова в Ростове, он задумался над своим призванием и понял, что оно состоит в просвещении христианской верой знакомых ему еще с детства зырян. "В течение 13 лет монастырской жизни он постоянно готовился к замышленному подвигу, изучая греческий язык для перевода священных книг на зырянский язык, составил зырянскую азбуку и перевел наиболее нужные библейские и богослужебные книги". (13, с. 73). Тогда же он собирал топографические и этнографические сведения о пермской земле, стал священником, а отправляясь в путь, получил от епископа антимины, миро и благословение на проповедь, а от князя — охранную грамоту (1379 г.). Главным пунктом его проповеди был Усть-Вым, духовный и общественный центр пермской земли. Проповедь шла успешно. Была построена деревянная церковь, уничтожена главная кумирница, срублено священное дерево. Все больше народа приходило к нему и крестилось. И здесь мы встречаемся с интересной для нас подробностью. "Стефан крестил жителей Усть-Выма не таким образом, чтобы тотчас, как изъявили они желание креститься, вести их к реке. Он по возможности приготовил их к принятию христианства, заповедав им в продолжение известного времени ходить к

церкви Божией в качестве оглашенных и усердно учив их в это время истинам христианской веры". (7, с. 283). Это уже не только приглашение, но и настоящее церковное оглашение, которого так не хватало киевлянам и другим русичам с конца X века! Конечно, этому делу нашлись и противники — местные волхвы, выступившие против "московского бродяги" и его новой "московской" веры (они понимали лучше других, что ждет их самих и народ в случае ее принятия). Св. Стефан вступил в состязание в силе веры со старшиной волхвов Памом, который, конечно, проиграл его, не пройдя ни огня, ни воды. Это окончательно решило вопрос веры в Усть-Выме, в результате чего появились уже три христианских храма. "Стольное место земли превратилось из языческого в христианское". (7, с. 285). В связи с этим, св. Стефан открыл при храме училище, "в котором обучал новообращенных грамоте, письму, знанию Псалтири, Часослова, Осмогласника и церковному пению, переписыванию богослужебных книг и подготавливал кандидатов во священство". (2, с. 53). Всего только за четыре года своей благодатной и сугубо бескорыстной деятельности св. Стефан так распространил христианство, что стал вопрос об особом епископе, которым и был поставлен сам же св. Стефан в 1383 г., получив посвящение от Московского митрополита Пимена. По возвращении в Усть-Вым он устраивает монастырь (Архангельский) и еще более ревностно миссионерствует, воздвигает новые церкви и новые монастыри, добивается того, что сам народ очищает страну от язычества и двоеверия. Последнее было сделано тонко и мудро. Под конец своей жизни св. Стефан созвал к себе представителей народа и сказал им: "До сих пор я обращался с вами, как с младенцами в вере, теперь хочу испытать, пришли ли вы в возраст мужей; покажите мне от дел ваших веру, действительно ли вы крепко веруете: кто хочет показать себя более всех других истинным христианином и более всех других любящим меня, тот пусть найдет тайные кумиры — у себя ли в дому или у своего соседа и где бы то ни было, пусть принесет их в народное собрание и уничтожит своими руками, — кто сделает это, того я пред всеми объявлю моим другом, возблагодарю и одарю". (Елифаный Премудрый.

"Житие св. Стефана Пермского", Изд. Археографической Комиссии, 1897, с. 75).

Св. Стефан заботился и о внешнем благосостоянии паствы — привозил хлеб из Вологды и Устюга и раздавал во время голода, ездил к великому князю в Москву с ходатайством о нуждах и льготах зырян, заступался за притесняемых от тиунов и бояр, жаловался новгородскому вечу на опустошительные набеги новгородской вольницы, из архиерейской казны выдавал милостыню беднякам и т. д. Так прошли 13 лет его епископства. Умер "отец пермян" в 1396 г., крестив и укрепив в вере почти всю старую (малую) Пермь по рекам Вычегде и Выми.

"Немногие из проповедников христианства на Руси столь мудро знали свое дело и прочно закладывали его основание". (2, с. 53). "Как бы то ни было, во всяком случае, апостольское дело св. Стефана, состоявшее в крещении целого народа, представляет собою истинно замечательное дело . . . он достиг того, что заставил их [зырян] отказаться от язычества и принять христианство единственно силою убеждения, без всякого и без малейшего участия принуждения". (7, с. 292).

На полтора столетия позже подобную же деятельность, только может быть в меньших масштабах, развил среди лопарей преп. Феодорит (ок. 1480—ок. 1577). Он также изучил их язык, учил грамоте и переводил христианские молитвы. Оглашал и оглашаемых крестил сам. Будучи изгнан за строгость иноками своего миссионерского монастыря Св. Троицы (в устье реки Колы), он все же еще два раза приезжал для укрепления лопарей в вере и новых крещений. (см. 10, с. 136).

Однако картина развития русского миссионерства во втором периоде будет принципиально неполная, если мы не коснемся основного корня, питавшего в то время все лучшее во внешней миссии, т. е. если мы не обратим внимания на миссию внутреннюю.

"В рассматриваемый период важное значение в истории апостольского служения Церкви сыграла Лавра преподобного аввы Сергия, игумена Радонежского . . . В XIV—XV веках

Лавра стала центром книжности и учености, а ее ученики уходили в необжитые края Северо-Восточной Руси, чтобы устроить новые обители, нести свет Христов и проповедовать слово спасения". (2, с. 53). Правда, важно еще заметить, что ученики преп. Сергия не только уходили на Северо-Восток, создав там "северную русскую Фиваиду" и проповедав слово Божие в тех местах. Они покрыли густой сетью монастырей и территории, ближайшие к новому духовному, культурному и политическому центру — Москве, а также в большой степени определяли саму духовную и прочую жизнь Москвы. При этом необходимо вспомнить и одного из величайших московских святителей — митр. Алексия, также лично связанного с преп. Сергием. Он был одним из тех немногих, кто мог решиться на новый перевод (справу) священного писания (хотя и части), он тоже был основателем монастырей и чудотворцем-целителем. Все это не могло не иметь миссионерского значения само по себе. Другой вопрос — дали ли различные обстоятельства долго этим делам святых плодоносить?

Но вернемся к центральной фигуре преп. Сергия (1320–1392) и его делу. Он ввел в монастырях общежительный устав, с ним же связан переход всей нашей Церкви на Иерусалимский [Палестинский] устав. Он, борясь всю жизнь, как мы уже упоминали, против "ненавистной розни мира сего", благословил могучий подъем духовного творчества, еще небывалый на Руси. Его имя почтительно произносилось в Константинополе, его ученики составили целую духовную традицию, имеющую общехристианское значение.

И все же главным делом преп. Сергия и его учеников было основание монастырей. Вот как оценивает это явление в подходящем для нас миссионерском ключе о. Александр Шмеман: «"Социологи" и "экономисты" настаивают на *колонизаторском* и *просветительном* значении огромной сети монастырей, основанных его [преп. Сергия] учениками и продолжателями. Но, конечно, не это главное в нем, а тот "абсолютизм" христианства, тот образ совершенного преображения человека Духом Святым, устремление к горнему, к высшему, "жизнь в Боге". Это сделало преп. Сергия

средоточием русского православия . . . За полтора века в ней [Северной России] было создано до 180 обителей, явлено великое множество святых. Монастырь становится — в эпоху тьмы и варварства — центром духовного влияния *на все общество* . . . Изучая религиозную жизнь того времени, видишь, прежде всего, именно поляризацию, психологическое противостояние — грешного мира и монастыря. Наблюдаешь поляризацию самой религиозной жизни . . . И вот среди всего этого мрака и уадка — чистый воздух монастыря, свидетельство о несомненной возможности раскаяния, обновления, очищения. Монастырь — не увенчание христианского мира, а, напротив, его внутренний суд и обличение, свет, светящий во мраке». (23, с. 354–356). Чем это не внутренняя миссия? Чем не противостояние "миру сему" в поисках новых поклонников Богу "в Духе и Истине"?..

Заканчивая обзор второго периода, надо упомянуть и о деятельности архиепископа новгородского Геннадия, сумевшего впервые на Руси собрать воедино книги Библии. Он также устраивал школу, обучал грамоте. Некоторые (может быть, несколько преувеличенно) даже назвали его школу русским миссионерским библейским обществом, "так как из этого общества образованные миссионеры шли на Север и на Восток, имея великое богатство всего собрания священных книг Ветхого и Нового Заветов". (2, с. 52).

В третий период.

Миссионерство в это время достигло своей вершины. Как и в прежние рассмотренные нами периоды, и во внешней, и во внутренней миссии зачастую надо было начинать "с нуля". Но в это время лучше, чем раньше знали, что и как надо делать. Прекрасный пример тому во внешней миссии — Алтайская миссия во главе с архим. Макарием Глухаревым, миссии во главе со св. Иннокентием Вениаминовым, отчасти деятельность Миссионерского общества и Японская миссия во главе со св. равноап. Николаем Касаткиным. Их деятельность получила живой отклик в самой России, влияя даже на формирование общерусского самосознания в плане осмысления призвания русского народа, т. е. "русской идеи", получившей в к. XIX–н. XX в. прямо миссионерско-мессианскую окраску. Это говорит и о признании заслуг русской

миссии. Не случайно видные миссионеры подчас оказывались во главе даже ведущих российских епархий и в Синоде, что чуть не стало своеобразной традицией в русской Церкви 2-ой пол. XIX – нач. XX в. Несмотря на то, что в свое время о них (как и вообще о ходе миссионерских дел) много писали, их лучшие достижения теперь почти неизвестны нашей Церкви. Постараемся же выбрать и изложить самое характерное и интересное.

Архим.

Архим. Макарий Глухарев (>1848) был старшим современником св. Иннокентия. Его опыт уникален. С его миссии позже старались брать пример (Киргизская, Иркутская, Забайкальская миссии), ее называют "первой правильной организованной миссией" (13, с. 374), "замечательной своей продуманной организацией и глубоким влиянием на жизнь народа" (2, с. 54). Однако, судя с внешней стороны, часто и видели одно только внешнее: устройство миссионерских станов с храмами, часовнями и школами, водворение новокрещенных около станов, разъезды, основание монастырей, переводы книг и молитв на местный язык и т. п. (см. 12, с. 40). Так в чем же состоит уникальность опыта, если отставить на второй план то, что связано с уникальностью самого духовного лица архим. Макария и его ближайших сотрудников? Во-первых, действовали очень осторожно: крестили после долгого научения вере (оглашения), старались утвердить новокрещенных в вере и воспитывать в нравственной жизни, для чего вели беседы, устраивали школы и проч. Так, архим. Макарий сам, быстро ознакомившись с алтайским наречием татарского языка, составил его словарь и сделал много необходимых для подготовки к крещению и утверждения в вере переводов — молитвы Господней, десяти заповедей, краткой священной истории, исповеди, вопросов при крещении, нескольких псалмов, евангелия от Матфея и т. д. (см. 13, с. 374). Во-вторых, заботились о материальном благосостоянии новокрещенных: призывали к оседлой жизни, помогали устроить домашнее хозяйство, лечили больных и устроили больницу. Архим. Макарий же в своей квартире содержал сирот-мальчиков, а во время голода на Алтае в 1839-40 гг.

ездил в Москву за помощью новокрещенным (как это напоминает св. Стефана Пермского!). В-третьих, решили один из самых сложных вопросов церковной жизни, касающийся христианского служения каждого — дали посильное, полезное и интересное дело всем желающим. Особенно важно и трудно это было сделать для женщин, обычно определяемых в своей жизни лишь околоцерковными, а то и совсем нецерковными делами и обстоятельствами. В 1840 г. была учреждена при миссии женская община из вдов и девиц (тут уже вспоминается столь далекое первохристианство!), которые, подобно древним диакониссам, готовили женщин к крещению, учили их вере и жизни, помогали как акушерки, воспитывали девочек и др. В том же году из Москвы приехала француженка Софи Вальмон, которая также оглашала женщин, учила христианству, лечила, вела беседы по домам и в собственной квартире (!), читала им (чем не салон?), устроила для девочек небольшую школу. Как и все подобного рода люди, архим. Макарий привлекал к делу дополнительные материальные средства и "даже свой магистерский оклад употреблял на вспомоществование новым христианам" (13, с. 374).

Таким образом, миссия служила христианской проповеди, но так, что, не насилуя местных обычаев, сразу прививала достижения русской и мировой культуры (вот бы в то время все это и нам, русским!).

Архим. Макарий сознательно отдавал миссии всю свою жизнь. "Прочно и разумно поставив дело на Алтае, архим. Макарий заботился об улучшении миссионерского дела вообще и с этой целью написал "Мысли о способах к успешнейшему распространению христианской веры между магометанами, евреями и язычниками в Российской державе" (12, с. 31).

В 1843 г. он оставил миссию по состоянию здоровья и удалился на покой в связанный со старчеством Болховский монастырь. За 13 лет деятельности миссия, которую он возглавлял, крестила "всего" 645 человек, "но зато эти обращенные были как возрождены вновь" (см. там же). Это ли не идеальный плод всякой подлинно-христианской миссии?

Традиция архим. Макария была поддержана и продолжена, результаты с каждым годом становились все ощутимее. С 1874 г. получена своя типография, в 1876 г. в Улале (где разместился центр миссии) открылись центральное миссионерское училище, детский приют и центральная миссионерская больница, в 1879 г. в новом центре — г. Бийске учреждено катехизаторское училище. К 1890 г. (т. е. за 60 лет) крещено (можно надеяться, в основном — не формально) более трети "инородцев" (см. там же, с. 32).

Конечно, было много и трудностей. Чтобы нам хотя немного представить себе живой контекст миссионерской работы во 2-й пол. XIX в., приведем несколько отрывков из наугад взятого документа того времени — "Записок миссионера Черно-Ануйского отделения свящ. Филарета Синьковского за 1878 г."

Из "Записок" мы узнаем, что главные препятствия миссии среди многонационального местного населения чинят мусульмане-киргизы и... русские (21, с. 271). Не имея сил бороться против влияния некрещенных киргизов на новокрещенных, о. Филарет вспоминает про внешнюю силу и пишет: "Может быть выдворение некрещенных киргиз (генерал-губернатором из всего Бийского округа) отзовется уменьшением прозелитов из киргиз, но зато (?) прекратится и ренегатство". (21, с. 268). "В селениях, в которых большинство составляют новокрещенные инородцы, духовная жизнь кипит. Один нерадивый новокрещенный инородец из другого селения ворчит, попав туда: "Там все наставники!" (21, с. 270). Далее приводится интересное описание работы миссионера в одном из таких же благоуспешных селений — Ильинском: "В течение настоящего года 14 раз посетивши ильинцев, кроме богослужений и поучений в церкви, я с некоторыми ильинцами вел и домашние беседы с целью уяснения им правильного понятия о христианских добродетелях, выраженных в евангельских учениях, в противовес тем предрассудкам и суевериям, которые являются как бы непременными спутниками при развитии религиозной жизни и которыми так богато местное русское (!) население". (21, с. 277). И еще: "На другой день после освящения места для церкви, . . . я открыл в Ильинском школу, в

которую не замедлили поступить 31 человек обоего пола . . . В послеобеденное время воскресных дней, по моему совету, учитель Каншин (о, если бы все учителя того времени трудились в этом направлении! — прим. автора) собирает ильинцев для слушания духовно-нравственных чтений, которые мною предварительно указываются". (21, с. 280). Но вот мы вновь и вновь встречаемся с проблемой внутренней миссии, вернее, с фактом ее крайнего отставания от внешней: ". . . Миссионеру приходится не только трудиться над обращением язычников ко Христу, но и прирожденных христиан знакомить с неведомым им учением Христа, если не исцеляя, то, по крайней мере, ослабляя те нравственные недуги, которыми легко может заразиться общество при своем обрусении". (21, с. 275). Кроме того, что в духовном отношении традиционно православное русское население совершенно невежественно, оно еще и расколото. "Нужда для здешнего населения в противораскольническом миссионере здесь очевидная. Необходимо, однако, чтобы миссионер не был в материальной зависимости от своей паствы", — сразу же предупреждает опытный миссионер. (21, с. 277). Так многообразно продолжали сказываться болезни исторического пути русской Церкви. Их плод в настоящую историческую эпоху известен...

Миссионерская деятельность другого великого миссионера сер. XIX в., свт. Иннокентия Московского, с внешней стороны также как будто ничем особо не привлекает. Как будто все то же, уже нам знакомое и даже профессиональное, официальное (ср. 12, с. 6): миссионерские путешествия, станы, постройка храмов, школы, переводы молитв и некоторых текстов на местные языки и наречия, попутная, в связи с этим, ученая деятельность. Его ревностное служение в течение 10 лет на о. Уналашка Алеутского архипелага (1824–1834), 5 лет на о. Ситка (1834–1839), а потом 28 лет в качестве первого камчатского епископа (1840–1868) привели свт. Иннокентия на московскую кафедру (1869–1879), и этот факт уже заставляет нас задуматься. К нему надо добавить хорошие численные результаты крещений. Но этого самого по себе, как известно, тоже еще недостаточно. Душа и дело свт. Иннокентия

раскрываются в его произведениях. Он составил для благочинного северо-американских приходов "Инструкцию", для священников-миссионеров — "Наставление", а для новообращенных среди своей алеутской паствы — книжечку: "Указание пути в Царство Небесное", пользовавшуюся большой популярностью среди малых народов Севера и представляющую из себя небольшой, но удивительно живой катехизический текст для самого простого люда.

Для нас особый интерес представляет "Наставление", полное название которого в его отдельном издании (М., 1881) было таково: "Наставление священнику, назначаемому для обращения иноверных и руководства обращенных в христианскую веру, составленное в Бозе почившим Высокопреосвященным Московским митрополитом Иннокентием пред вступлением его на Камчатскую кафедру", т. е. ок. 1840 г. Кроме собственно содержания, ценность этого документа заключается в том, что он имеет не только историческое, но и каноническое, руководственное значение в нашей Церкви, поскольку, во-первых, принадлежит одному из ее святых, а во-вторых, был утвержден митрополитом Санкт-Петербургским Серафимом, митрополитом Московским Филаретом Дроздовым и Св. Синодом (Указ Св. Синода об открытии Камчатской епархии от 10 января 1841 г. за № 42).

Первое же, что бросается в глаза при чтении "Наставления", это отношение к самому делу миссионерства как к особому благодатному, почти харизматическому служению: "Блажен, кого изберет Господь и поставит на такое служение", — говорит святитель (4, с. 69). Далее, это смелый взгляд на самое крещение, что выражается в следующей его цитате из синодального Указа 1777 г., требующего, "чтобы он [проповедник] не считал исполненным звание и долг свой в торопливом сподоблении крещения [обращаемых им], а старался бы внушить им силу христианского учения и руководствовать ко всякому благонравию, без чего крещение, дикарям преподаваемое, едва не может назваться злоупотреблением одного из величайших таинств христианской веры". (4, с. 70). Очень искренно и убедительно звучит в устах свт. Иннокентия

напоминание о той молитве, которая необходима перед началом всякой борьбы с неверием, а также о любви как к своему делу, так и к тем, кому проповедуешь, ибо только любовь созидает. (См. 4, с. 71). Интересен и еще один его совет из разряда приговорительных к веропроевяданию, чтобы "во время посещения отдаленных мест (таких, где уже положено начало христианства) не начинать богослужений и треб доколе, пока не предложишь посещаемым тобою прихожанам хотя краткого поучения". (4, с. 71–72).

Далее, говоря о самом порядке веропроевядания, свт. Иннокентий вновь указывает на необходимость для этого быть исполненным и преизбыточествовать верою и любовью, чтобы иметь уста и премудрость, которая "указует как, где и что говорить. Итак, — продолжает святитель, — примечай и лови минуту сердечного расположения слушающих тебя. Сие время всегда благоприятно для сеяния слова Божия". (4, с. 73). Отмечая там же возможность применения различных способов проповедания в зависимости от внутреннего состояния души поучаемого, от его возраста и умственных способностей, великий миссионер дает и свою, пусть и требующую, с нашей точки зрения, некоторого еще уточнения, программу оглашения: "Когда увидишь, что слушатели твои тебя поняли и изъявят желание сопричислиться Христову стаду, тогда предлагать им: а) об условиях для желающих вступить в число верующих; б) о святом крещении как таинственном возрождении от воды и Духа, вводящем в новую жизнь христианскую, и о прочих таинствах, как средствах к получению благодати Иисуса Христа, и в) о том, как должен вести жизнь свою тот, кто хочет быть истинным христианином и, следовательно, воспитываться всеми плодами искупления". (4, с. 77).

Потом идут наставления святителя относительно учения, богослужения и обхождения с "инородцами". Здесь говорится, что если во всем, что относится к догматам веры и сущности деятельного учения, нельзя отступать ни на шаг, даже в случае угрозы смерти, то в вопросах формы, традиций и обрядов необходимо оказывать обращающимсянисхождение "частью по местным обстоятельствам, частью в ожидании утверждения их в вере и жизни". (4, с. 79).

Поскольку речь шла в основном о холодных районах, то о посте, например, говорится следующее: ". . . Пост их удобнее может состоять не в качестве, но в количестве и времени употребления пищи, (т. е. можно) . . . смотря по обстоятельствам, уменьшать количество приемлемой пищи и не принимать оной в ранние часы дня. Что касается до дней страстной седмицы и особенно дней перед Св. Пасхою, то убеждать всех проводить их в возможном посте — и телесном и душевном, в память спасительных страданий Иисуса Христа". (4, с. 79–80). Относительно общественной молитвы подобным же образом рекомендуется, чтобы "слушание обыкновенных богослужений, кроме литургии, не поставлять непременно для новообращающихся обязанностью". (4, с. 80). И еще: "Когда обыкновенно все посещаемые тобою должны исповедоваться и причащаться Св. Таин, — не считать непременно то, чтобы они ходили в церковь целую неделю, как делается у нас обыкновенно, но столько, сколько позволят обстоятельства, и только советовать и напоминать им, чтобы они в то время как можно чаще в сердце своем молились Богу о прощении грехов своих, а также соблюдали бы, как возможно, строгий пост. Поучение слову Божию для них всегда есть лучшее приготовление к принятию таинств, нежели чтение обыкновенных псалмов и молитв, потому что никто из них долгое время не будет понимать того, что читается в церкви". (там же).

Также допускается облегчение строгости церковных правил при заключении браков, "впрочем, запрещения, положенные по сему предмету в книге Левит, должно иметь в виду неупустительно". (4, с. 81). То же и в вопросе присутствия в храме некрещенных. Рекомендуется "никаких заключенных до крещения браков, выключая самых кровных . . . не расторгать и в разбирательство их не входить". (там же). На каждом антиминсе разрешается "отправлять божественную литургию на всяком месте". (4, с. 82).

Говоря о месте постоянного пребывания проповедника там, где это более полезно и нужно, свт. Иннокентий замечает: "Сугубо счастлив тот проповедник, пребывание которого у себя инородцы считают своим счастьем". (там же). Далее дается еще целый ряд интереснейших советов:

"В преподавании учения . . . наблюдай, чтобы к изъяснению предметов последующих приступать не прежде, разве когда слушающие тебя все, или по крайней мере большая часть из них, поймут предыдущее, несмотря на то, хотя бы от сего могло замедлиться самое крещение многих. Чем тверже будет положено основание, тем прочнее будет здание и легче созидать его . . . Касательно учения веры и закона христианского никаких доказательств, Св. Писанием не подтвержденных, не употреблять . . . Но если где Господь видимо явит силу Свою или в чудесном исцелении кого, или необыкновенном откровении и проч., то таковых дел Божиих не скрывать...

Для того, чтобы умножить число принимающих св. крещение, отнюдь не употреблять каких-либо мер и средств, несвойственных евангельскому духу и неприличных проповеднику, как то: ни принуждений, ни угроз, ни подарков, ни обещаний (льгот и проч.), ни каких-либо суетных обольщений, но всегда действовать с апостольской искренностью. К сподоблению св. крещения инородцев приступать не ранее, как они будут научены тобою вышеизложенным предметам веры и закона и когда они сами изъявят на то свое согласие...

По прибытии в . . . место, . . . выдавай себя . . . за простого странника, . . . (сразу) старайся заслужить о себе хорошее мнение и уважение, . . . а кого не уважают, того и не слушают . . . Ничто не может оскорбить и раздражить столько дикарей, как явное презрение к ним и насмешки над ними и всем, что их . . . Будь кроток, ласков, прост и отнюдь не показывай величавого учительного вида . . . Вопрос от инородца касательно духовных предметов есть дело для проповедующего очень важное, ибо он может показать и состояние души вопрошающего, и способности его, и желание просвещения. Но не ответа инородцу один раз или ответа ему с оскорблением его, можно заставить его молчать навсегда . . . Ты, как проповедник Евангелия, не должен оскорблять и не желающих принять проповеди евангельской и обязан обходиться с ними дружелюбно . . .

От новообращающихся и новообращенных ни под каким видом не требовать никаких вкладов или приношений для

церкви или на какие-либо другие богоугодные дела; но не отвергать и добродушно принимать приношения от тех, которые сами и по своей воле будут предлагать что-либо . . . Путешествие предпринимать во время удобное . . . , дабы неблагоприятным путешествием не лишиться выгод инородцев . . .

Ты должен в непродолжительное время узнать язык их . . . Старайся узнавать обстоятельно веру, обряды, обычаи, наклонности, характер и весь быт твоих прихожан . . . В разбирательство мирских дел не входить и никакой власти . . . не ослаблять . . . Решительные и последние меры к защищению себя принимать не иначе, как только в самых крайних случаях. Но стократ блажен будешь, если сподобишься пострадать ради имени Христа". (4, с. 82-88).

Вот воистину "энциклопедия" миссионерской мудрости! Как это дополняет опыт Алтайской миссии архим. Макария и как до сих пор значительно! Но параллельно снова хочется заметить: как хорошо было бы все это обратить вовнутрь — на внутреннюю миссию в России. Интересно, что об этом, видимо, думали и оба великих миссионера. Они, вместе с третьим великим церковным деятелем того времени, митр. Филаретом Дроздовым, стали "духовными отцами" Российского миссионерского общества. Кроме того, каждый из них задумывался и о организации централизованного института для приготовления миссионеров. Об этом свидетельствуют соответствующий "Проект" архим. Макария Глухарева; письма Иннокентия, митр. Московского, к Муравьеву. Приб. к твор. свв. оо., 1889, кн. 3, с. 92-93; Собрание мнений и отзывов митр. Филарета, V, с. 550 (см. 12, с. 6).

Российское миссионерское общество стало объединительным центром всех миссий (кроме Закавказья, где действовала своя организация, координирующая миссионерские усилия), полезным им и в материальном отношении. Общество открылось в С.-Петербурге в 1865 г., но из-за первоначального преобладания в нем светских людей вскоре потребовалась его реорганизация. В 1869 г. был принят новый Устав, а Совет общества был переведен в

Москву, под председательство свт. Иннокентия. Своей целью Миссионерское общество поставило "содействовать миссиям в деле обращения в православную веру нехристиан и утверждения в ней обращенных". Оно заботилось о подготовке миссионеров, оказывало материальное пособие миссиям книгами, вещами и деньгами, которые расходовались на содержание миссионеров, миссионерских церквей, больниц, школ, на издание новых нужных книг и т. д. В епархиях местными организациями общества являлись епархиальные комитеты под председательством правящего или викарного епископа.

В результате деятельности общества все миссии интенсифицировали свою деятельность, и "сворачиваний в старую веру, так обычных среди инородцев в прежнее время, становилось меньше с каждым годом". (12, с. 8). По данным Общества, к концу XIX в. наибольший успех наблюдался среди язычников, меньший — среди магометан и иудеев, что и понятно, ибо эти религии были более развиты, а их последователи более сплочены и преданы своей вере, к тому же уже включавшей в себя традиционный элемент негативного и дискредитирующего отношения к христианству и вообще всему "русскому". Хотя были препятствия и в среде язычников, проистекающие от их религиозных властей и от их собственной мало-развитости и кочевого образа жизни. Со времени начала бурного развития в России протестантских и мистических сект миссионеры, стимулируемые Обществом, направили свои усилия и против их пропаганды. Но внутренняя миссия во многом еще оставалась отстающей и формальной.

Со 2-й же половины XIX в. стали быстро развиваться иностранные миссии русской православной Церкви. Мы по ряду причин не будем здесь затрагивать весьма успешной их деятельности, за исключением Японской миссии, основанной в 1870-1871 гг. св. равноап. Николаем Касаткиным (>1912). Это была как бы первая попытка воплощения общих заветов архим. Макария и свт. Иннокентия. Ее плод — образование новой поместной православной Церкви.

Святитель Николай начал свою деятельность в Японии с 1861 г. в качестве иеромонаха русского консульства в

Хакодате. Ко времени открытия миссии, примерно за 10 лет, он уже накопил большой опыт: он усердно изучал японский язык и культуру, историю верований и нравов японцев, перевел Евангелие и начал переводить другие духовные (священные и богослужебные) книги. С самого начала он обратился с проповедью к местному населению и, во-первых, обратил одного жреца Сваабе, которого в тайном крещении назвал Павлом и который быстро сделался пламенным проповедником и катехизатором. К 1870 г. были крещены уже 12 человек и подготовлены еще 25. Это и дало повод для открытия миссии. Тогда же были разработаны "Положение для Российской духовной миссии в Японии" и "Инструкция для Начальника Российской духовной миссии в Японии", которые и были утверждены по определению Св. Синода 14-22 мая 1871 г., став действующими документами нашей Церкви. (См. Г. Барсов. Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских постановлений по ведомству православного исповедания. Т. 1, Приложения, стр. CVII-CX, СПб, 1885).

Для нас, конечно, бóльший интерес представляет "Инструкция", где была сделана попытка объединить русский и японский миссионерский опыт. "Инструкция" требовала от миссионеров не только устной проповеди, но и создания основ православной христианской литературы, начиная со св. Писания и богослужебных книг до составления детских учебников закона Божия. Миссионеры должны были строго соблюдать правила благоприятного, кроткого и осторожного поведения.

Обращалось внимание на первоочередное приготовление и крещение тех, которые потом, сами став катехизаторами, смогут и других научить. В условиях открытой несвободы проповеди "достаточно наученный вере и, для большей свободы в употреблении сил своих на дело служения вере, обеспеченный дневным пропитанием катехизатор, под руководством миссионера, может делать у себя веро-проповеднические собрания для своих знакомых, входить в другие дома с проповедью, и даже, по мере возможности, отправляться для проповеди в другие города и селения". (4, с. 57). Конечно, и сам миссионер должен "всегда держать

свои двери открытыми для всех" и "равно идти всюду, где будет видеть надежду на успех проповеди". (там же).

Крестить рекомендовалось только после тщательного испытания, убедившись в твердости и искренности христианских убеждений. При этом отмечалось, что степень знания христианской науки не может быть у всех одна. Для старика-простолюдина достаточно ясно усвоить общее катехизическое учение, важнейшие события из священной истории и выучить наизусть главнейшие христианские молитвы. Для молодого человека из ученого класса еще требуется разобрать возражения против христианской веры, поставленные как "туземцами", так и "европейскими неверными", истолковать более трудные места священного писания, дать понятие об инославных христианских исповеданиях в сопоставлении с православием и проч. (см. 4, с. 57-58). После крещения также требовалось ревностное попечение о новопросвещенных, непрерывное руководство ими, чтобы укрепиться им в новой жизни по духу Христову, в связи с чем "миссионеры обязаны поучать их, внушая им неуклонное исполнение принятых ими заповедей и уставов Церкви". (4, с. 58).

Дети японских христиан должны были быть воспитываемы в христианском духе. Их "учителями должны быть катехизаторы под тщательным наблюдением миссионеров. Когда же дана будет свобода вероисповедания, тогда при Миссии должны быть заведены открытые школы для детей". (там же). Заботой миссионеров должна была быть и подготовка равносильных себе проповедников. Для этого рекомендовалось избирать молодых людей (до 20 лет, "но с литературным японским образованием"), обучать их русскому языку и посылать в Россию в духовные семинарии и академии. "Лучшие из них по нравственности и уму могут быть удостоиваемы священнослужительских степеней; прочие же будут вполне надежными катехизаторами, наставниками в школах и переводчиками религиозных книг". (4, с. 59).

Ну а как же после такой "Инструкции" пошли дела в жизни (подробнее об этом см. 13, с. 380-381; 12, с. 55-57)? В 1871 г. в Хакодате и в 1872 г. в Токио были устроены миссионерские школы, давшие новых японских

проповедников-катехизаторов. Но в 1872 г. в Хакодате и Сендае началось преследование православных христиан (особенно пострадал Сваабе). В 1872-1873 гг. в г. Иеддо организован миссионерский стан с переводческой и катехизаторской школами. В Хакодате функционировали школы для мальчиков (1871 г.) и для девочек (1873 г.). С 1873 г. началось богослужение на японском языке. С 1875 г. миссия находится под покровительством Миссионерского общества и в том же году рукополагается первый священник-японец — Павел Сваабе. С 1880 г. архим. Николай становится первым японским православным епископом. К концу столетия в Японии было уже более 250 общин и до 26 тысяч человек христиан с 36 священнослужителями. В Токио была семинария, катехизаторская, причетническая и женская школы. Первый выпуск Токийской семинарии произошел в 1882 г., а в 1889 г. два студента были отправлены в Россию для обучения в духовной академии. Миссия создала значительную переводную литературу и издавала три духовных журнала. В том же году в Японии была провозглашена полная свобода веры, что еще более расширило возможности миссии. Ежегодно собирались соборы, был благочинный. Приходы сами содержали катехизаторов и часто священников, нередко сами строили для себя храмы. Из России шли добровольные пожертвования. Миссия становилась весьма известной. При приходах укреплялись женские дружеские общества для религиозно-нравственного воспитания прихожан. Они проводили ежемесячные собрания с чтением житий святых, толкований на молитвы и свящ. Писание, истории пророков. Выбирали женщин и для оглашения язычников, помощи бедным, для заботы о воспитании детей прихожан, для возбуждения веры в охладевших к ней и т. п.

Плоды не замедлили явиться. В период русско-японской войны 1904-1905 гг. духовная мудрость и такт свт. Николая позволили сохранить Церковь от разрушения. Верный принципу "не ослаблять никакой власти", он благословил в военное время православным японцам молиться за успех японской стороны, а сам, как русский гражданин, отстранился и временно ушел "в затвор". А в 1912 г., когда

свт. Николай блаженно почил от трудов своих на земле, за его гробом протянулся кортеж длиной в несколько километров. Сам японский император удостоил его своим вниманием, несмотря на то, что он был "иностранцем". Это было впервые за всю многовековую историю страны Восходящего Солнца. Когда после канонизации св. равноап. Николая Японская автономная православная Церковь хотела перенести останки святого с городского кладбища в собор "Николай-до", ей отказали, сказав: "Он принадлежит всей Японии"...

А Россия? Что же в эти годы происходило в России? Там все еще звучали не менее сильные, но только весьма мрачные слова сомнения, одним из первых произнесенные Лесковым в "Соборьях": "Да было ли проповедано христианство на Руси?"

Нам и сейчас нечего на это ответить, кроме одного: оно проповедовалось... но и проповедуетеся!

ЦЕРКОВНО-ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ОПЫТ

В дополнение ко всему сказанному нам очень интересно было бы проследить некоторые исторические аспекты, связанные с собственно крещением, т. е. церковно-литургические требования, предъявлявшиеся к таинственно входящим в русскую православную Церковь. Они многое определяли на практическом уровне.

Как известно, весь этот комплекс в идеале развивается в определенном русле: от предложения через две стадии оглашения к крещению, миропомазанию и далее к таинству и прочим формам утверждения в христианской вере и жизни.

Целью предложения является то, чтобы через воззрение крестов Церкви привести человека от полного незнания (или неверного в принципе знания) о Боге и Иисусе Христе к Их познанию верой, что должно выразиться в желании начать новую жизнь и, следовательно, в той или иной форме отрицания своих старых суеверий и предрассудков. О цели оглашения мы уже говорили выше.

Цель крещения и миропомазания общеизвестна: это таинственное воцерковление и приобщение Отцу во Христе через дар Святого Духа. Целью тайноводства является укрепление в вере и христианской жизни через объяснение смысла таинств и догматов Церкви на основе их личного опытного познания во все время "младенчества во Христе".

Нам, воспитанным на "Катехизисе" митр. Филарета, относящемся к разряду катехизисов, предназначенных для первоначального обучения уже крещенных людей, может показаться странным, что раскрытие смысла основных догматов и таинств Церкви отнесено к периоду тайноводства. Однако это именно так, что доказывается, наряду с традицией Церкви, и здравым смыслом, следующим, правда несколько сдержанным, выражением одного из крупнейших православных знатоков этого вопроса, проф. КЗДА Александра Алмазова. Он пишет, что и в древности катехизаторы "не касались некоторых догматических истин, как например, о воплощении Иисуса Христа, о таинственном соединении Его с Церковью. В особенности же это нужно сказать относительно таинств Церкви". (1, с. 41).

Как же и когда крестили на Руси в первый период? Мы располагаем очень скудными данными. О крещении взрослых мы узнаем из переписки новгородского иеродиакона Кирика со своим владыкой св. Нифонтом (1140–1156), бывшим иноком Киево-Печерского монастыря, мощи которого там впоследствии и покоились. Новгородский епископ советует огласительные молитвы для половца и чухонца начинать за 40 дней, а для славянина — за 8 дней (Вопросы Кирика, "Русская историческая библиотека", т. VI, ч. I, с. 33, 1880, отв. 40). Восемь же дней полагались для оглашения обращавшегося латинянина (там же, отв. 10, с. 20). Как верно замечает А. Алмазов, неизвестно только, что именно преподавалось в древней русской Церкви готовящимся к крещению. Сообразно со сроком, который тогда для этого назначался, можно только предположить, что наставления по возможности ограничивались существенными пунктами вероучения. При этом, однако, требовалось более или менее твердое знание преподаваемых истин веры (см. Вопросы Кирика, вопр. 40; а также 1, с. 39). Кроме того, надо еще

предположить, что, во-первых, этой подготовки было все же недостаточно и, во-вторых, даже она была доступна только при правильной церковно-приходской организации крещения, которую, конечно, далеко не каждый крещаемый мог найти в жизни.

Тот факт, что для славянина назначался срок оглашения в пять раз меньший, объясняют по-разному. Проф. П. Знаменский — тем, что язычник-славянин, как обращающийся между славянами-христианами, лучше и раньше был подготовлен к принятию веры, чем представитель других, нехристианских народов (см. 13, с. 53). А. Алмазов — желанием возможно скорее распространить христианство между всеми славянами (см. 1, с. 61). Акад. Е. Е. Голубинский — тем соображением, "чтобы слишком большою продолжительностью приуготовления не оттолкнуть русских, еще оставшихся в язычестве, от принятия христианства". (7, с. 508). Ясно, что все объяснения предполагают хотя немного оправдать потерю "качества" за счет "количества".

Что же касается крещения детей, то у нас есть два свидетельства. Первым из них является правило Киевского митр. Иоанна II (1077–1080), данное в ответ на вопрос черноризца Иакова, "можно ли крестить новорожденное дитя, если оно больно до того, что не может сосать матери?" Митрополит отвечает: "Относительно здорового отцы повелели ожидать трех и более лет. Но для внезапных случаев смерти срок находим короче, — если совсем больно, пусть будет и восемь дней; крестить даже повелеваем и того меньше, чтобы не умерло некрещенным: таких младенцев крестить в какой бы день и час не настала опасность смерти". (Правила митр. Иоанна. Русская ист. библ. т. VI, СПб, 1880, с. 1–2, пр.1). Параллельно с этой практикой, а может быть несколько позже ее, на Руси, как и в других православных странах, установилась практика крещения младенцев на 40-й день. Этот срок впервые был назван прп. Нестором (>1114) в его житийном рассказе о крещении преп. Феодосия (1 пол. XI — 1074, Нестор. Житие прп. Феодосия, Рус. истор. сборник, т. IV, М., 1840, с. 447). Эта практика крещения здоровых детей на 40-й день господствовала вплоть до XVI века.

Посмотрим теперь для сравнения, как обстояло дело с крещением в Константинополе того времени. Обратимся для этого к прекрасному исследованию о. Михаила Арранца. Он пишет: "Еще в X в. в Константинополе детей не крестили очень рано. Они подходили к крещению постепенно: в восьмой день по рождении они получали имя пред дверьми храма. В сороковой день они воцерковлялись, "становились христианами", как говорят источники, еще перед самым крещением (первое оглашение). Они получали право входить в храм и слушать чтения. Они становились оглашенными "уже по просвещению" (второе оглашение) на 4-й неделе Великого поста, вероятно, несколько лет спустя. Они отрекались от дьявола и сочтались Христу в Великую пятницу чином, совершаемым патриархом перед Вечерней с Литургией Преждеосвященных Даров. И наконец, на вечерне Великой субботы они крестились и миропомазывались от рук патриарха в баптистерии, пока в храме читались паримии. Они входили торжественно в собор, вместе с патриархом, при пении "Елицы во Христа" и причащались впервые в ту же самую ночь на Литургии Василия Великого. В X в. современная пасхальная заутреня не служилась в соборах.

В X в. патриарх совершал крещение пять раз в году: на день Пасхи, как указано выше, между Вечерней и Литургией, и после утрени следующих дней: Богоявления, Субботы Лазаревой, Великой субботы (утром) и воскресения Пятидесятницы. В Великую субботу вечером и, кажется, в Богоявление патриарх крестил в Большом Баптистерии, который имел κολυμβήθρα, или бассейн; в другие же дни он крестил в Малом Баптистерии, в котором была только φιάλη, или ваза. Можно предположить, что в Малом Баптистерии крестились маленькие дети..." (З, с. 17-18).

Из всего видно, что в Константинополе в X в. "кандидатами к крещению были дети не очень большие, поскольку их приводили родные, но достаточно взрослые, чтобы они могли получить оглашение". (З, с. 36). Еще интересная особенность того времени — распространяются особые чины принятия в Церковь язычников. Первому оглашению здесь соответствовало то, что язычник преклонял колена перед дверьми храма, его знаменовали трижды и

читали соответствующую молитву, а второму оглашению то, что его снова знаменовали и записывали в списки оглашаемых, после чего также шла молитва. Далее они оглашались по тому же чину, как и дети. (см. З, с. 29). Как нам не вспомнить здесь о крещении кн. Ольги, а отчасти, может быть, и кн. Владимира? Отсюда, между прочим, становится ясным и то, почему на Руси народ не мог креститься "по всем правилам".

И еще один важный нюанс, относящийся к сути и форме оглашения. Как нам известно из источников до VII в., все оглашаемые активно участвовали в доступном им богослужении, проходили покаяние, пост и сами молились. Есть предположение (см. 1, с. 102-103), что то же требовалось от них еще и в VIII-XI вв., но увы, это остается только предположением.

Во второй период в отношении крещения, оглашения и утверждения в вере почти ничего не изменилось. Только окончательно вошло в правило здоровых детей крестить в 40-й день или когда позволят родители и обстоятельства, а больных — сразу (см. 18, с. 142; 8, с. 346-47; 9, с. 264-65). Как проводилось оглашение взрослых, когда оно вообще практиковалось, мы видели на примере служения св. Стефана Пермского.

Здесь можно только добавить то, какие правила существовали для новокрещенных после их крещения. Пусть они уже относятся к памятникам XV-XVI вв., но наверняка нечто подобное было и в XIV-XV вв. "Новокрещенный взрослый обязан был в течение восьми дней, следующих за совершением таинства крещения, присутствовать за богослужением утром, вечером и за литургией и всегда стоять непременно с зажженной свечой. В одном из памятников не освобождается от этой обязанности даже и младенец, которого приносит на богослужение бабка или кум". (9, с. 305-306). А у авторитетного греческого св. отца того времени можно найти еще такое указание: "Возрастной должен получить от иерея и наставление касательно хранения себя, молитвы и хождения в храмы, очищения себя и постоянного причащения Таин: в этом-то существенно и состоит жизнь. Если же крещаемый младенец, то должна быть

предостережена об этом мать . . . , чтобы одежды, в которые одет был младенец в продолжение семи дней, она мыла приличным образом; младенца же постоянно приносила ко причащению Таин, ибо таким образом лучше он будет сохранять и возвращаем от Христа". (Symeon Thessal. *De Sacrament.* P.G.r.t. 155, p. 233, 236, цит. по 9, с. 306).

Что же мы находим в *третий* период? По А. Алмазову (см. 1, с. 40, 63), в середине-2-ой пол. XIX в. действовали следующие положения. Взрослый, желающий креститься, "должен быть научен в первоначальных истинах веры и именно должен знать: символ веры, десять заповедей, молитву Господню, богородичную и другие, а также ответы на те вопросы, которые ему будут предложены при крещении". (Указ Св. Синода 1840 г., февр. 20 день). "Иностранцы" моложе 21 года пред крещением наставлялись в вере Христовой шесть месяцев. Но этот шестимесячный для несовершеннолетних "иностранцев" срок не должен был быть понимаем в смысле срока непреложного. При этом должны были быть принимаемы в соображение как понятия, так и степень убеждения обращающегося. Достигшие же означенного возраста оглашались сорок дней, каковой срок и еще сокращался в случае успехов наставляемого. Больных, ищущих крещения, следовало крестить без промедления, наблюдая при этом, чтобы они были в здравом уме и полном сознании (!), и уведомлять епархиальное начальство о выздоровлении таких лиц, чтобы оно могло поручить духовному лицу для оглашения в вере выздоровевшего новокрещенного. (См. Указ Св. Синода от 13 марта 1862 г.) "А что касается до откладывания дня крещения на долгое и вместе с тем неопределенное время, то священник должен всеми мерами искоренять этот зловредный и во многих отношениях опасный обычай". (1, с. 604; Маврицкий. Свод узаконений и заметок по вопросам пастырской практики. V., 1875, с. 54).

Удивительно, какой канцелярский язык и какие канцелярские требования! Внешне как будто и неплохие, но совершенно лишённые соли и Духа, как и понимания смысла христианской огласительной традиции! Воистину, Церковь стала воспринимать себя лишь как ведомство, в которое

вступают при таких-то и таких-то условиях и где нужно себя вести так-то и так-то. Конечно, покуда общество брало на себя ответственность за хоть какое-то христианское воспитание и образование своих членов, т. е. и за внутреннюю миссию, как-то можно было и терпеть такое положение, да и то, уже тогда, взирая на все плоды, как мы видели, трудно было не усомниться относительно христианского просвещения Руси. Так что же говорить нам теперь? Не начинать же новый период развития русской миссии с Крещения Руси?!

1982

БИБЛИОГРАФИЯ

61

1. Алмазов А. *История чиновослуживцев Крещения и Миропомощания*. Казань, 1884.
2. Митр. Антоний. *Миссия Русской Православной Церкви в прошлом и настоящем*. ЖМП, 1982, № 5, с. 49-59.
3. Арранц М. иером. *Исторические заметки о чиновослуживцах таинства* (по рукописям греческого Евхология), Рим, 1979.
4. Беленцев Иоанн проф.-прот. *Материалы по истории русской православной миссии*. Сборник. 1967 (ркл).
5. Голубинский Е.Е. акад. *История Русской Церкви*. 1-я пол. 1 том., 2 изд., М., 1901.
6. *То же*. 2-я пол. 1 т., 2 изд. М., 1904.
7. *То же*. 1-я пол. 2 т., М., 1900.
8. Дмитриевский А. *Богослужение в русской Церкви в первые 5 веков*. "Православный собеседник", 1883, июль-авг.
9. Дмитриевский А. *Богослужение в русской Церкви в XVI веке*, ч. 1, Казань, 1884.
10. Доброклонский А. *Руководство по истории русской Церкви*. Вып. 1-2, 2 изд., Рязань, 1889.
11. *То же*, вып. 3, М., 1889.

12. То же, вып. 4, М., 1893.
13. Знаменский П. *Учебное руководство по истории русской Церкви*. 2-е изд., СПб, 1904.
14. Карташев А. *Очерки по истории русской Церкви*. Т. 1., Париж, 1959.
15. Кудрявцев А. *Краткий очерк русской миссионерской деятельности вообще и православного миссионерского общества в особенности*. Одесса, 1885.
16. Можаровский А. *Изложение хода миссионерского дела по просвещению казанских инородцев с 1552 по 1867 гг.*, М., 1880.
17. *Насаждение православной христианской веры в России. 988-1200 гг.* 2 изд., Спб, 1900.
18. Н. Одинцов. *Порядок общественного и частного богослужения в древней России до XVI в.* СПб., 1881.
19. Одинцов Н. *Последование таинств в Церкви русской в XVI ст., по рукописям Новгородско-Софийской и Московско-Синодальной библиотек*. Странник, т. 1. СПб, 1880.
20. Ранне И. прот. *Вопрос о крещении кн. Владимира и крещения им Руси в русской исторической литературе*. 1967 (ркл).
21. Синьковский Ф. свящ. *Записки алтайского миссионера Черно-Ануйского отделения за 1878 г.* Странник, 1880, т. 2, СПб, с. 263-288.
22. *Устав православного миссионерского общества*. СПб, 1869.
23. Шмеман А. прот. *Исторический путь Православия*, Нью-Йорк, 1953.

Прот. Иоанн МЕЙЕНДОРФ

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ВИЗАНТИИ, ЮЖНЫХ СЛАВЯН И РОССИИ *

Империя Палеологов, восстановленная после пребывания Константинополя в руках крестоносцев, в XIII и XIV вв. была очень маленькой политической и экономической величиной, но ее интеллектуальный и культурный престиж оставался по-прежнему исключительно высоким. Историки часто подчеркивали роль византийского влияния на начало итальянского Ренессанса, но последние исследования склонны ограничивать значение греческого влияния в Италии. В любом случае, византийская цивилизация действительно играла решающую роль в культурной истории тех стран, которые были ее традиционной сферой влияния — в славянских землях.

Именно в Византии находился источник так называемого "второго южно-славянского" (сербского и болгарского) влияния на русскую культуру, имевшего место в XIV и XV вв. Это влияние широко затронуло культурное, религиозное, литературное и художественное развитие северной Руси. Благодаря соседству и тесным связям с Константинополем южные славяне преуспели в создании изощренного и пышного литературного стиля ("плетение словес"), в выработке более регулярных и эллинизированных принципов правописания, в обогащении и усложнении словарного запаса. Это проявилось не только в переводах с греческого языка, которые осуществляли в основном двуязычные болгарские и сербские монахи, но и в оригинальных славянских сочинениях, появившихся в Болгарии, Сербии и России. Славяне не были пассивными подражателями византийским образцам: во многих областях, например, в живописи, агиографии и проповеди, они были

* Глава 6-я из книги "Византия и Московская Русь (Очерк по истории церковных и культурных связей в XIV в.)", Cambridge University Press, 1981. Перевод с английского осуществлен в самиздате. Книга выйдет на русском языке в изд. УМСА—Press в 1990 г.

исключительно плодовиты, а в иконописи славянские художники нимало не уступали грекам. Более того, универсалистская идеология, насаждавшаяся Византийской Церковью, требовала от византийцев совершенно беспрецедентного уважения и внимания к славянам. Славяне были благодарны за эту дружбу. Например, русский паломник, посетивший Святую Софию, отметил доброту и приветливость патриарха Исидора (1347–1350) и записал, что патриарх "вельми любит Русь". С другой стороны, патриарх Каллист написал житие болгарского святого Феодосия Тырновского; у него были личные дружеские связи в Болгарии, где нашел убежище его духовный наставник Григорий Синайский. В 1362 г. вожди болгарского исихазма — Феодосий и Евфимий Тырновские — были тепло встречены в Константинополе. Эти и многие другие примеры иллюстрируют растущее чувство солидарности греков и славян, но они также показывают, что культурное первенство Византии оставалось и утверждалось, особенно в монашеских кругах. Переводческая работа, заимствование литургических и дисциплинарных реформ, паломничества в Константинополь, путешествия иконописцев, дипломатов и церковных деятелей в Византию и из нее, — все это были различные каналы проникновения на Русь идей и настроений византийской цивилизации, причем использовались эти каналы намного активнее, чем в предыдущие два столетия.

1. Сущность и пределы литературных связей Руси и Византии: Возрождение или пред-возрождение?

Историки охотно признают сам факт культурного сближения Руси, Византии и южных славян в четырнадцатом веке, однако специфику этих связей определяют очень различно. В чем, прежде всего, состояла суть византийского "палеологовского возрождения", и целиком ли восприняли его славяне?

В Византии эпоха Палеологов повлекла за собой возрождение интереса к греческой античности и в литературе, и в искусстве: это главная и наиболее общепризнанная черта

"палеологовского возрождения". Однако сегодня большинство специалистов добавляют к этому, что "литературная и научная культура античности всегда была присуща Византии", что "то, что мы называем византийским ренессансом, было лишь усилением связи элиты с античностью, — связи, которая никогда не порывалась, — а не открытием древней культуры", и что "ренессанс начала эпохи Палеологов был именно таким усилением непрерывной традиции". В предыдущих главах мы могли убедиться, что идеология таких "гуманистов" — узкой и аристократической литературной элиты — не обладала тем динамизмом и вдохновением, благодаря которым стал возможен ренессанс в Италии. В Византии не было основы для настоящего "ренессанса", а была традиция мирного, часто непоследовательного и подчас причудливо-плодотворного сосуществования культурных черт греческой античности с христианской верой и духовностью. Мы видели из предыдущей главы, что в XIII в., когда центр империи находился в Никее, усиление интереса к античности было связано с новым, более обостренным национальным и этническим самосознанием. Социальная и интеллектуальная элита Византии, которой угрожали крестоносцы, возвращалась к своему "эллинству", которое она выражала на привычном для себя языке в соответствии с культурным наследием античности.

Если мы обратимся к общей проблеме передачи славянам византийской культуры, мы сразу же поразимся двум обстоятельствам, сопровождавшим этот процесс: а) в восточном христианстве издавна был принят принцип перевода Писания и богослужения на национальные языки, из-за чего Церковь не могла играть той роли, которую она играла на Западе — обучения "варваров" средствами научения классической античности; Византийская Церковь не учила "варваров" греческому, как Западная Церковь учила их латыни. б) Хотя новообразующееся "греческое" самосознание византийцев было связано с возрождением мирской эллинистической культуры, как раз этот культурный аспект, по вероисповедным условиям, и не мог быть передан славянам. Напротив, греческое самосознание, как и всякий вид национализма, заключал в себе партикуляризм, который

способствовал ослаблению византийского универсализма, а позднее — развитию антагонизма между греками и славянами.

Эти два фактора, наряду с преимущественно элитарным характером византийского эллинистического "гуманизма", совершенно исключали сколько-нибудь существенную передачу светской греческой культуры славянам вообще и русским в частности. Выше мы видели (см. главу I), что подавляющее большинство византийских текстов, переведенных на славянский язык после крещения Руси, носило религиозный и церковный характер. Тем не менее, в XIV в. был произведен еще более строгий отбор, и переводились исключительно литургические тексты и произведения монашеской духовности, в том числе агиографические, патристические (в частности, исихастские) сочинения об "умной молитве".

В XIV в. на Руси главным фактором литургической жизни было заимствование из Константинополя Иерусалимского Типикона, или, точнее, типикона монастыря св. Саввы в Палестине. До сих пор ни один ученый не дал исчерпывающего объяснения того замечательного факта, что в XII в. Константинопольская Церковь, находившаяся на вершине своего влияния и могущества, незаметно производит замену действовавших литургических уставов (типикон Великой Церкви, типикон св. Иоанна Студита) уставом монастыря св. Саввы в Палестине. Завоевание арабами всего Среднего Востока, конечно, не подорвало авторитета Святой Земли и древнего палестинского монашества, его обычаев и традиций. Изменения произошли лишь постепенно и не были отмечены специальными постановлениями. Они не повлекли за собой видимого изменения богослужения и затронули лишь структуру ежедневных и праздничных служб, а также монастырскую дисциплину. Основные черты служб остались такими, как они сложились после синтеза "соборного" и "монастырского" уставов. Этот синтез произошел в X и XI вв. Тем не менее, очень существенно, что образцом реформы стал не Константинополь, а Иерусалим: символическое, эсхатологическое и духовное влияние его было усилено падением Константинополя под ударами крестоносцев в 1204 г. и последующим преобладанием монашества в Церкви.

В эпоху Палеологов не прекращались монашеские паломничества в Святую Землю, в них принимали участие такие вожди Церкви, как патриарх Афанасий I и св. Савва Ватопедский.

Среди славян палестинский Типикон распространялся по крайней мере с того времени, когда св. Савва Сербский ввел его на Афоне, а его преемник — архиепископ Никодим — перевел его на славянский в 1319 г. Популяризации палестинской литургической и канонической традиции способствовали также широко известные в славянском переводе "Пандекты" и "Тактикон" Никона Черногорца, писателя XI столетия.

В официальных пастырских наставлениях, адресованных на Русь патриархом Константинопольским, элементы иерусалимского "Типикона" появляются в конце XIII в.: они встречаются, к примеру, в "Ответях" патриаршего синода епископу Сарайскому Феогносту (1276 г.) и в "Наставлении" митрополита Киевского грека Максима (1283–1306). Однако систематическая унификация богослужebной и канонической практики в соответствии с палестинским образцом была проведена в правление Киприана (1390–1406) и Фотия (1408–1431). И в Византии, и в славянских странах эту реформу отличало стремление унифицировать и кодифицировать богослужebную практику: именно в это время в Константинополе создается подробнейший свод предписаний, регулирующий совершение евхаристии и ежедневных служб, который сразу же передается славянам. В рукописях эти предписания соединяются с именем патриарха Филофея (1354–1357, 1364–1376), который, несомненно, способствовал их повсеместному распространению, хотя первоначально они были составлены в Константинополе еще в правление патриарха Афанасия I (1289–1293, 1303–1309). Это стремление добиться богослужebного и канонического единства еще раз показывает, что монашеское возрождение в Византии XIV в. не было чисто эзотерическим мистическим явлением. Монахи, пришедшие к управлению Церковью, заботились об укреплении централизованной власти патриархата и о введении единого богослужebного устава, чтобы создать

прочную основу для не менее активного распространения монашеской духовности.

В XIV в. в неизменном виде сохранялся огромный массив византийской гимнографии, созданный в IX и X вв.: песнопения различных циклов — ежедневного, недельного, годового и пасхального. Но этот массив продолжал пополняться. Особенную популярность, например, завоевали гимны и каноны, написанные патриархом Филофеем. Филофей не только написал специальную службу в честь св. Григория Паламы, которого он канонизировал в 1369 г., но и сочинил несколько других литургических и агиографических текстов. Поскольку у Филофея были постоянные связи со славянскими странами, его гимны и молитвы были переведены на славянский еще при его жизни — либо в Болгарии, либо на Руси.

В XIV в. к славянам и, в частности, на Русь перешла из Византии не только литургическая реформа и новый типикон, но и огромное количество духовной, в основном монашеской и исихастской литературы. В древнейшей монастырской библиотеке северной Руси — Троицкой Лавре, основанной преп. Сергием (ок. 1314–1392), были славянские переводы XIV и XV вв. книг таких классиков исихастской духовности, как св. Иоанн Лествичник, св. Дорофей, св. Исаак Ниневиец, св. Симеон Новый Богослов, св. Григорий Синайский. Их же сочинения находились в XV в. в библиотеке Кирилло-Белозерского монастыря. Если мы сравним содержание этих главных монастырских библиотек Руси с современными им византийскими книжными собраниями на Афоне, Патмосе или Синае, мы поразимся их сходству: русские монахи читали тех же святых отцов и те же жития святых, что и их греческие братья. "Второе южно-славянское" или "византийское" влияние на Русь принесло ей достаточно переводов, чтобы русские монастыри практически сравнялись с монастырями греческими. Русские монастыри заметно отличаются от византийских лишь в отношении подбора чисто богословской литературы: в них почти отсутствуют богословские творения каппадокийцев, св. Кирилла Александрийского, св. Максима Исповедника, полемические трактаты, составленные в XIV в. паламитскими богословами. Существенное исключение

составляют творения Псевдо-Дионисия Ареопагита, а также некоторые работы Максима Исповедника, переведенные сербским монахом Исаей на Афоне в 1371 г.: сразу после завершения перевода рукопись его была доставлена в Россию, и здесь ее переписал лично митрополит Киприан (до 1406 г.). К числу исключений относятся также записи прений Паламы и его противников, составленные Давидом Дидипатом, и материалы по антииудаистской и антилатинской полемике, непосредственно имевшие отношение к Руси.

Эти примеры показывают, что литературные связи Руси с Византией осуществлялись в основном по церковным и монастырским каналам. Церковные круги не придавали, как правило, большого значения переводу на славянский язык светских сочинений. Среди проникавших на Русь мирских писаний абсолютно преобладали хроники и другие исторические сочинения; философские или научные работы практически отсутствовали.

Как можно при таких обстоятельствах вообще говорить о влиянии на славян "палеологовского возрождения"? Мы уже отметили, что само понятие "возрождение" вряд ли оправдано, когда мы прилагаем его к Византии XIV в. Еще более неопределенным оно становится в славянском контексте. В Византии литературные и интеллектуальные традиции античности культивировались узкой элитой гуманистов, все более обращавшихся к Западу. Они либо совсем не были связаны со славянами, либо такие контакты были совсем незначительными. Единственное известное исключение составляет интерес Никифора Григоры к делам русской Церкви и его предполагаемые личные контакты с митрополитом Киевским и всея Руси Феогностом (1328–1353), которого он упоминает как "мудрого и боголюбивого человека". Согласно Григору, Феогност, получив сочинения Паламы, увидел, что в них нет ничего, кроме "эллинского многобожия" (Ελληνικὴν πολυθεΐαν), "бросил их на землю и отказался выслушивать их содержание". Далее Григора утверждает, что митрополит составил пространное возражение против паламитского богословия и послал их

патриарху (очевидно, Иоанну Калекасу) и синоду, включив в них соответствующие анафемы паламитам.

Если события, описываемые Григорой, действительно имели место, то перед нами единственный случай, когда деятель византийской Церкви в славянских странах принял сторону антипаламитов в богословских спорах XIV в. Можно предположить, что Григора имел в виду акт официального одобрения Феогностом анафемы, наложенной на Паламу патриархом Иоанном Калекасом в 1344 г.; поскольку анафема была официально утверждена патриархом и синодом, то возможно, что такого одобрения потребовали от всех митрополитов патриархата. Даже если Феогност в 1344 г. поддерживал официальную политику патриархии, нет никаких сведений о его конфликтах с исихастскими патриархами Исидором, Каллистом и Филофеем, занимавшими кафедру до его смерти в 1353 г., или о поддержке им группы антипаламитских епископов во главе с Матвеем Ефесским (его Феогност должен был знать, потому что в 1331–1332 гг. Матвей путешествовал по Руси), которые выступали против паламизма после 1347 г.

Поэтому нет никаких оснований полагать, что кто-либо распространял на Руси интеллектуальные веяния так называемого "палеологовского ренессанса" Византии. В то же время есть ясные свидетельства об огромном наплыве традиционной исихастской литературы, которая принималась сразу и без всяких богословских споров. Прения, если они возникали, велись совсем на другом уровне, нежели ученые диспуты византийских богословов. Так, в новгородской летописи под 1347 годом воспроизводится текст послания архиепископа Новгородского Василия Калки своему брату — епископу Федору Тверскому, в котором Василий пытается доказать существование "земного рая"; текст подразумевает, что в Твери существование такого "рая" в географически точном смысле отрицалось. Обе стороны употребляли аргументы, тесно связанные с распространенной в аскетической литературе идеей духовного рая (παράδεισος ἰοητός), который доступен личному восприятию святых. Обе стороны также верили, что творение Божие — негленно и вечно. Понятно, что попытки сопоставить этот примитивный

спор русских епископов и богословские дебаты паламитов и варламитов ни к чему не ведут. Ни Василий, ни Федор не отрицают реальности земного явления божественного света: они расходятся лишь в вопросе "мистической географии". Можно только отметить более частое употребление мистической терминологии, ссылки в послании Василия Калки на духовный опыт и видение света апостолами при Преображении, — все это показывает атмосферу, созданную на Руси влиянием византийского исихазма. По другим явлениям, например из возрождения монашества, мы видим, что исихазм принес на Русь более личные формы религиозного опыта, которые способствовали не только развитию собственно монашеской духовности, но и идей обожения тела и преображения всего творения.

Если под "возрождением" мы будем подразумевать развитие идей персонализма и творчества, а не традиционное представление о возвращении к греческой античности, то мы поймем значение термина "пред-возрождение", который употребляет Д. С. Лихачев, чтобы обозначить культурное развитие в Византии, Руси и у южных славян в XIV в. Это "пред-возрождение", впрочем, ни в Византии, ни на Руси (конечно, по разным причинам) не стало "Возрождением".

2. Пути общения

Константин Костенец — болгарский монах, живший в Сербии около 1418 г., — критиковал необразованность славянских переписчиков и утверждал, что можно полагаться только на те славянские тексты, которые были переписаны в Тырново или на Афоне, потому что только они правильно передают содержание и стиль греческих оригиналов. Константин указывал, без сомнения, на два главных центра распространения славянских рукописей в XIV в.

Со времени первооткрывательских работ К. Ф. Радченко и П. Сырку, болгарская империя царя Иоанна Александра (1331–1371) и ее столица Тырново справедливо считаются главным центром распространения в славянском мире византийских идей, текстов и деятелей. Распространялись,

как мы видели, в основном литургические тексты и монашеская литература (в том числе агиография). Начало исихастского возрождения в Болгарии обычно связывают с именем св. Григория Синайского, житие которого написал Константинопольский патриарх Каллист. В 1325–1328 гг. Григорий перебрался с горы Афон в Парорию, около болгарской границы, и основал там монастырь. Отсюда исихастская духовность распространялась по Балканам, в том числе и в румынских землях. Один из болгарских учеников Каллиста — Феодосий — основал монастырь в Килифарево, где к нему присоединился Евфимий, который стал сначала его преемником на посту игумена, а впоследствии — патриархом Тырновским (1375–1393). Эти вожди болгарского монашества одной из своих главных задач ставили перевод греческих сочинений на славянский язык. На Руси за 1350–1450 годы количество византийских сочинений, доступных в переводах, удвоилось, и в огромной степени это произошло благодаря болгарским переводам, привезенным на Русь. Более чем кто-либо такому заимствованию переводов способствовал митрополит Киприан — о его жизни в России мы будем говорить позднее, — он был болгарин по происхождению, сам потратил много труда на перевод греческих текстов, переписку рукописей и распространение византийских идей и традиций. В 1379 году он торжественно посетил Тырново, где его тепло встретил патриарх Евфимий. Во время патриаршества Евфимия столица Болгарии Тырново стала главным связывающим звеном между византийскими традициями и славянскими странами. Теперь понятно, почему Константин Костенец назвал Тырново одним из двух главных центров изготовления славянских рукописей.

Второй центр, о котором говорит Константин, был более древним и традиционным. Афон с десятого века был не только местом молитвы и созерцания, но и точкой, где происходила встреча различных культур в лице греческих, славянских, грузинских, сирийских и даже латинских монахов. В XIV в. история Афона отмечена возрождением исихазма, а также увеличением числа монахов из славян, что было связано, в основном, с господствующим положением Сербии на

Балканском полуострове. Тесная связь между Афоном и Сербией установилась еще со времен св. Саввы, основателя Сербской Церкви, который начинал свой путь на Афоне. Сербский Хилендарский монастырь на Афоне превосходил Зографский монастырь — своего болгарского соперника — и по интенсивности византийско-славянских сношений, и по количеству переписываемых славянских рукописей. Мы должны, впрочем, помнить, что этнические различия между славянскими монахами, тем более на Афоне, редко выходили на первый план, что между ветвями исихастского возрождения в различных странах существовали тесные личные контакты, и что Афон входил в состав многонациональной Сербской империи Стефана Душана. В любом случае, идет ли речь о сербах или о болгарях, присутствие монахов из славян на Афоне оказывало решающее влияние на Балканы. "Вся история южно-славянских литератур есть фактически история большего или меньшего влияния идеалов Афона на духовную культуру православного славянства Балканского полуострова". Афонскими монахами были практически все вожди болгарского литературного возрождения, в том числе Феодосий, Евфимий и Киприан Киевский. Действуя в славянских странах, они оставались тесно связанными с другими афонскими исихастами — Каллистом и Филофеем, которые стали патриархами в Константинополе.

Оживленными были и связи Афона с Русью, как благодаря присутствию русских монахов на Святой Горе, так и через посредство южных славян. Впрочем, у русских были прямые контакты с самим Константинополем, причем в XIV в. они были даже прочнее, чем у южных славян. В городе имелся постоянный русский квартал, где изредка селились также сербы и болгары. У нас нет доказательств, что существовала прямая преемственность между этим кварталом и русскими торговыми, дипломатическими и военными поселениями в столице эпохи Киевской Руси, о которых упоминают источники. Однако существование "русского квартала" в городе в эпоху Палеологов достаточно убедительно объясняется нуждами, связанными с административной зависимостью русской митрополии от патриархата и постоянными путешествиями дипломатов и паломников в

Константинополь, — огромным церковным значением этого города.

Когда 28 июня 1389 г. Игнатий, епископ Смоленский, сопровождавший митрополита Пимена в Византию, доехал до Константинополя, его приветствовала "Русь, жившая там". Из того же источника мы узнаем, что посетителя всячески ублажали русские, жившие в Студийском монастыре св. Иоанна Крестителя. Другие документы рассказывают о пребывании в Студийском монастыре будущего Тырновского патриарха Евфимия и Киприана Киевского. После 1401 г. в том же монастыре жил другой русский монах — Афанасий Высоцкий. Мы знаем, кстати, что те же монахи жили в монастырях Богородицы Перивлепты и святого Мамы, которые в XI в. прославил св. Симеон Новый Богослов. До нас дошли рукописи, списанные русскими в Студийском монастыре (где в 1387 г. митрополит Киприан лично переписал "Лествицу" Иоанна Лествичника) и в Перивлепте. Из десяти рукописей, находящихся в России, о которых точно известно, что они были списаны в Константинополе в конце XIV и начале XV веков, две происходят из Студийского монастыря и пять из Перивлепты. Отсюда понятно, почему русский паломник Стефан Новгородец связывал Студийский монастырь с книгами, привозимыми на Русь. Отсюда же можно предположить, что место, где расположены все три монастыря — Студийский, св. Мамы и Перивлепты — то есть юго-западная часть укрепленного центра Константинополя — и было русским (или славянским) кварталом, обиталищем русских монахов и паломников, местом личных и литературных контактов, которые играли важную роль в русско-византийских отношениях XIV в.

Кроме того, как было сказано выше, между Константинополем и северной Русью постоянно ездили многочисленные путешественники. Это были русские митрополиты, которых должен был утверждать и посвящать патриарх, греческие иерархи, назначенные на Киевскую кафедру и время от времени вынужденные возвращаться на родину по личным или официальным делам, епископы — особенно епископы Сарая, которым давались дипломатические

поручения, русские монахи, жаждавшие увидеть монастырскую жизнь Среднего Востока, греческие иконописцы (в их числе великий Феофан), которых вызывали для украшения русских церквей. Пять русских паломников, бывших в Константинополе в конце XIV и начале XV вв., оставили записи о своих путешествиях. В Москве, по-видимому, существовал греческий монастырь св. Николая, с Константинополем были прямо связаны Богоявленский и Симоновский монастыри, так что по крайней мере некоторые русские духовные лица могли научиться греческому языку.

РАСИЗМ И ХРИСТИАНСТВО * VХ

1.

РАСИЗМ В ОТНОШЕНИИ К ХРИСТИАНСТВУ

Все великие и творческие нации в истории имели и имеют и свое особое самосознание, в этом выражается их "национализм". Современный "расизм" есть одна из его разновидностей, имеющая свои особые характерные черты, которые в своем контексте слагаются в целое мировоззрение, действенную идеологию. Его главным идеологом является в настоящее время А. Розенберг, книга которого "Миф XX века" имеет распространение уже в 900.000 экз. и выражает собой, очевидно, господствующее в настоящее время мировоззрение и самочувствие немцев. Помимо своего литературного блеска и остроты, она заслуживает внимания именно как симптом духовного состояния, определяющего волю германства к гегемонии в мире. Именно в этом качестве она заслуживает самого серьезного внимания.

Розенберговский расизм есть философия истории, но, прежде всего, это есть религиозное мироощущение, которое должно быть понято в отношении к христианству. К существующим христианским исповеданиям — католицизму и протестантству (восточное православие здесь вообще игнорируется, словно исторически как бы не существующее) — Розенберг относится с резкой критикой, которая, впрочем, применима и вообще к христианству. Прежде всего, в связи с крайним антисемитизмом, свойственным всему современному германизму, здесь утверждается полный разрыв

Ветхого и Нового Завета, иудеохристианское происхождение нашей веры. Раз навсегда должен быть отменен Ветхий Завет как религиозная книга". Чрез это отпадает неудавшаяся "попытка последнего полуторатысячелетия сделать нас евреями". (603). Соответственная расправа производится не только над книгами Ветхого Завета, но и с апостолом Павлом, который объявляется "Verfälscher des Evangeliums". (605). Поэтому "наши павловские (paulinische) церкви суть по существу не христианские, но порождение иудейско-сирийских стремлений апостолов" (605). Вместе с ветхозаветными корнями христианства упраздняется, конечно, и вся новозаветная догматика, "магия" таинств, как и иерархия (благодаря которой "церковь стоит выше Христа" (161) в палестине). "Иисус" есть один из религиозных вождей наряду с предшественниками Его в других религиях, как, очевидно, и последующими. Его учение подвергается критике и исправлению, будучи проверяемо с точки зрения его соответствия германскому духу, как высшему критерию, именно — "любовь в смысле смирения, милосердия, покорности и аскезы". Всем этим учением любви наносится ошутительный удар душе северной Европы. (155). "Не жертвенный агнец иудейских пророчеств, не распятый есть теперь действительный идеал, который светит нам из Евангелий. А если он не может светить, то и Евангелия умерли". (604). "Старая сирийско-иудейско-восточная церковность сама себя развенчивает" (215); начиная с догматики, она вся должна быть пересмотрена и переменена в смысле германского христианства. "Идеал любви к ближнему должен быть безусловно подчинен идее национальной чести", и "никакое деяние немецкой церкви не может быть одобрено, если оно в первой линии не ведет к обеспечению народности". (608). Отвергается вообще абсолютный масштаб ценностей жизни, в частности отдельных человеческих личностей. (21). Соответственно этой общей переоценке христианства иначе воспринимается в расизме и самая личность Иисуса. "Можно из Его изображений избирать различные черты. Его личность часто выступает мягкой и сострадательной, а потом снова резкой и суровой, всегда движимая внутренним огнем. В интересах властолюбивой римской церкви было выставлять подчиняющееся смирение как сущность Христа, чтобы получить себе

* Неизданная рукопись 1942 г. Войдет в состав сборника статей о. Сергея Булгакова, посвященных еврейскому вопросу. (Изд-во YMCA-Press намечает выпустить сборник в начале 1990 г.).

возможно больше слуг, воспитываемых согласно этому "идеалу". Исправить это изображение есть дальнейшее неотложное требование немецкого движения к обновлению. Иисус является нам теперь как самосознающий господин (selbstbewußter Herr) в лучшем и высшем смысле слова. Его ж и з н ь имеет значение для германцев, а не Его мучительное умирание... Могучий проповедник и гневающийся в храме, человек, который влек за собой и которому "все они" следовали, не жертвенный агнец еврейских пророчеств, не распятый есть для нас "das bildende ideal, светящий нам из Евангелий". (604). "Любовь Иисуса Христа была любовью сознающего свое душевное благородство и свою сильную личность человека". Иисус жертвовал Собой "как господин, а не как раб". (622).

Неоднократно и по-разному повторяется утверждение, что "церковный Ягве (Иегова) теперь мертв, как и Вотан 1500 лет тому назад". (134).¹ Происходит победная борьба нового мировоззрения со старым, и знаком нашей эпохи является "отвращение от безграничного абсолютного" (21), трансцендентных ценностей... "Таковой конечной целью является христианизация мира" и его спасение через новое пришествие Христа (подобной же целью является и мечта о "гуманизировании человечества"). (ibid.). Оба идеала погребены в кровавом хаосе и новом порождении переживаний мировой войны (т. е. еще предыдущей). Историческое христианство, в Европу введенное римской церковью, имеет многие корни. В частности, "великая личность Иисуса вскоре после Его смерти была нагружена и срастворена со всяческим избытком переднеазиатских, еврейских и африканских переживаний" (74) и образ Иисуса слился с легендой. А это вдобавок еще соединилось с влиянием необузданного фанатизма Павла, проповедавшего международную всемирную революцию против Римской империи. Против такого Verbastardierung, Verorientalisierung und Verjudung христианство оказалось бессильно, даже духовное Евангелие

¹ Это, впрочем, не мешает видеть в Одина "вечное отражение душевных первосил северного человека, живущее ныне, как и 5000 лет назад. Он соединяет в себе честь и геройство, творчество, песни, т. е. искусство, защиту права и вечное искание истины". (679).

Иоанна. Такова философия христианской истории Розенберга. Отсюда для него естественно заключить, что религия Иисуса должна быть исправлена и освобождена от проповеди смирения и любви к слабому. "Идея чести — национальной — является для нас началом и концом всего нашего мышления и действия. Она не терпит наряду с собой равноценного центра, какого бы то ни было рода" (514), в частности и христианской любви, которая истолковывается также лишь в смысле любви к чести. Такое учение приписывается и самому "Иисусу", чем оно освобождается от извращений и предстает в подлинном виде. "Все существо Иисуса было в противлении (Sich-Widersetzen), и за это Он должен был и умереть" (607), Его проповедь любви означает не исходящую из порабощения масс, эту "расслабляющую идею гуманитарной любви римской церкви". (621). "Мы должны сознательно поставить идею любви н и ж е идеи чести, последней ее подчинить, как любви к чести". (621). Она же приписывается и Христу. Поэтому является устарелым и символ креста, как распятия, и заменяется новым: das Hakenkreuz — свастика. Она знаменует уже не любовь Божию к творению, но "те, которые его созерцают, думают о народной чести, о жизненном пространстве, о национальной свободе и социальной справедливости и жизнеобновляющем плодородии". (688).²

Христианством, исправленным и дополненным, освобожденным от груза всей христианской догматики, тайнодействия и иерархии, Розенберг готов наделить и "германскую" церковь нового типа, создание которой соответствует исканию северной расовой души (614–15) обрести "германскую религию будущего", "eine echte deutsche Kirche und eine einheitliche deutsche Volkskultur". (621). Это будет "новая религия

² Розенберг готов признать в "Иисусе, в о п р е к и всем христианским церквам, узловой пункт нашей истории", в своем особом истолковании достоинства личности в христианстве, "хотя и до сей поры нередко в отталкивающем извращении". Однако, "предпосылкой к этому является преодоление до сих пор существующих суждений "христианских церквей". (391). Однако, в Иисусе, даже и в исправленном образе, отрицается "typenschaffende Kraft" (621), "auch Jesus ist kein Typenbild, sondern Seelenbereicherer gewesen". (621). Будучи включен в систему римской иерархии, Он стал слугою своих "рабов", для цели противоположной тому, что Он сам хотел (как Франциск Ассизский)". (ibid.)

народной чести", с "почитанием борющегося за честь народа солдата", это есть новое чувство жизни нового времени. Его пророком для Розенберга является Майстер Экхарт (наиболее пантеистический из всех немецких мистиков, однако здесь по-своему еще стилизованный) вместе с "закаленным в боях героем в стальном шлеме".³ Можно спросить себя, что же означает эта "честь", которая становится высшим критерием жизни, даже выше любви, ибо последняя допускается лишь в одной своей разновидности, как любовь к чести. Это трудно определенное понятие, которое почему-то соединяется с идеей свободы (очевидно, лишь для носителей этой чести), может быть понято как сознание своей единственности и превосходства, присущих "северной" расе. "Честь есть духовный центр северного германского запада". (152). "Честь и свобода суть в последнем счете не внешние свойства, но сверхвременные и сверх-пространственные сущности" (218), некие духовные идеалы. Очевидно, здесь разумеется национальная гордость, расовое человекобожие, раса и кровь как высшая ценность. "Теперь пробуждается *новая* вера: миф крови, вера вместе с кровью вообще защищает и божественное существо человека. Вера, воплощенная в яснейшее знание, что северная кровь представляет собою то таинство (Mysterium), которое заменило и преодолело древние таинства (Sakramente). (114). "Германская Европа одарила мир светоносным идеалом человечности, Menschenthums, учением о ценности х а р а к т е р а как основы всех нравов, высшей песнью о ценностях; о высших ценностях северной сущности (des nordischen Wesens), идеей свободы совести и ч е с т и". (115). "Это знание есть основа нового мировоззрения . . . миф нового чувства жизни . . ." (115). "Старая вера церквей: какова вера, таков и человек; северно-европейское же сознание: каков человек, такова и вера". (145).

³ "Почитание солдата, борющегося за честь своего народа, есть новое, только что родившееся чувство жизни нового времени. Во имя этой новой религии народной чести может пробудиться это северо-европейское сознание". (620-1). "К этой [церкви], с в о б о д н о построенной на идее чести национальной, а также и личности, самочинно присоединятся лишь те люди — к какой бы церкви они ни принадлежали, — которые и внешне определяются преимущественно как nordisch". (ibid.).

Человекобожие в расизме прежде всего отличается радикальным религиозным имманентизмом, соединяемым с отрицанием трансцендентных ценностей и оценок (для этого и оказывается пригодным, конечно, с особой еще стилизацией, Майстер Экхарт). Раса есть истинная реальность, помещающаяся между универсализмом и индивидуализмом, но их превосходящая собой. Оба они больны одной болезнью — интеллектуализмом. "Бог, которого мы чтим, не существовал бы, если бы не было нашей души и нашей крови" (701) — суждение, вполне достойное воинствующего человекобожия Фейербаха. Этому соответствует своеобразный расовый биологизм. "Каждая раса имеет свою душу" и осуществляет свой собственный идеал. (116). Поэтому "законом каждой подлинной культуры является: она есть сознательное выражение растительной витальности расы". (140). В связи с этим появляется новое и наиболее характерное для культурной философии расизма понятие м и ф а. "Ценности характера, линии духовной жизни, красочность символов совокупаются, взаимопоглощаются и дают в общем о д н о г о человека. Но только тогда лишь в цветущей полноте, когда о н и сами суть последствия, порожденные из о д н о г о центра, который лежит по ту сторону доступного эмпирическому восприятию. Это неуловимая совокупность всех направлений я, народа, вообще общества, образует его миф". (459). "Он есть в этом смысле некая трансцендентальная реальность, биологический центр жизни и творчества, который ищет и находит для себя и обратное выражение. Он есть одновременно сущее и искомое, творимое и творящее, но этому биологическому субстрату чужда спиритуальность, напротив, реальность его бытия есть к р о в ь. Он есть миф о крови, которая и образует существо расы. Миф о расе есть высшая реальность жизни: миф души, расы и я народа и личности, крови и чести, он один и только один, без компромиссов должен проникать всю жизнь, нести и определять". (699). "Миф есть новое пробуждение образующего клетки душевного центра". (ibid.). "Вера, миф только тогда подлинны, когда он охватит всего человека" (521), поэтому в центре ордена должна быть абсолютная прямолинейность" (ibid.), такова идея Führerthums. Реальность расы есть кровь, которая соединяет ее

многоединство: "здоровые в отношении к крови народы не знают в качестве масштаба индивидуализма, так же, как и универсализма" (539), они принадлежат расе. Душа означает расу, видимую изнутри, и наоборот: раса есть внешняя сторона души". (2). Реальность расы есть ее миф, а этот последний отлагается в т и п. "Тип не есть схема, но есть исторически обусловленная пластическая форма вечности / . . . / расово-душевного содержания, область жизни". (539). Переживание тела есть рождение познания мифа всей нашей истории: рождение северной расовой души и внутреннее признание высших ее ценностей, как руководящей звезды всего нашего существования". (531). Как мы уже помним, "Jesus ist kein Typenbilder, sondern ein Seelenbereicher gewesen". (515). Все проявления культуры расовой обусловлены как волевые ценности. Даже и "наука есть последствие крови" (120), так же, как и искусство. "Откровение" может быть только в пределах северного чувствования, как возвышение, увенчание становления, а не уничтожение естественного закона. "Последнего хочет лишь иудейское, а также и римское учение о Боге". (134). Вообще для этого расового монизма или имманентизма не существуют какие-либо иные критерии, кроме расы. Ему является присущим натурализм, чисто языческое отношение к миру. "Эта расовая душа живет и развивается в природе, которая будит одни качества и задерживает другие. Эти силы расы, души, природы суть вечные . . . предпосылки, бытие, жизнь, из которой получают в качестве определенного образа бытия (Sosein) нравы, верование, искусство и проч. Таков последний, внутренний круговорот (Umkehr), вновь пробуждающийся миф нашей жизни". (251). "После 1918 г. древняя северная расовая душа пробудилась к новому, высшему сознанию. Она понимает, что равнопризнанное (gleichberechtigtes) сосуществование разных взаимно с необходимостью исключаящих высших ценностей не может иметь места, как она великодушно мнила возможным его допустить на свою теперешнюю гибель... Она понимает, что расово и душевно сродное может соединяться, но чуждое безошибочно устраняется, а если нужно, то и уничтожается. Не потому, чтобы это было "ложно" или "плохо" само по себе, но потому что

чуждо (artfremd), разрушает внутреннее строение нашего существа. Мы чувствуем теперь обязанность отдать себе отчет о нас самих с последней ясностью или познать высшую ценность и руководящие идеи германского запада, или же себя духовно и телесно извергнуть. Никогда." (119). Это маниакальное самосознание, родившееся из чувства национального унижения, на наших глазах превращается в не менее маниакальное стремление к мировой гегемонии. Во всяком случае, вместо Распятого и Его искупительной Крови, провозглашен также культ крови, но уже расовой, и знамением его является нехристианская свастика. "Органическое мировоззрение" с его имманентизмом неожиданно противопоставляется болезни нашего времени — "Relativität von Allem", индивидуализм познается столь же относительным, как и безграничный универсализм. Новое мировоззрение, соответствующее "северному" бытию, по существу этого волевого устремления, не представляет "логической системы, но поток" (ein Fluten) души. "Ныне это поистине органическое мировоззрение среди рушащейся атомистической эпохи более, чем раньше, стремится осуществить свое право, право господствования (Herrenrecht): из центра чести, как высшей ценности северо-западного мира, ему надлежит с возрастающей быстротой пережить свое средоточие и неустранимо заново преобразовать жизнь". (695). К кому же и к чему относится это призвание. Часто на этот вопрос дается прямой ответ: немецкому народу и его судьбам. "Миф крови и миф души, расы и я, народа и личности, один, он один бескомпромиссно должен проникать и определять всю жизнь". (699). Велик Аллах и Магомет пророк его. Призвание это в перспективе мировой истории, — публицистическая прогулка, которая совершается в первой части "мифа XX века", относится ко всему "арийству"⁴ в широком смысле, которое,

⁴ Даже протестантский богослов Зауер, еще один новый мифолог германства, снабдивший его мифом Михаила, умеющий непонятным образом соединять в себе столь третируемый Розенбергом протестантизм с его доктриной, испытывает затруднение в том, что Розенберг заходит, в конце концов, в тупик. Ибо мысль об арийской расе оказывается предельно растягиваема. Всюду он в результате дома. Всюду раса, как таковая, вступила в связь с изначальными культурами. Его принцип расы в его применении становится принципом высшей интеллектуальности, вместо

однако, сужается до понятия одного избранного народа, составляющего соль земли. Хотя алгебраическая формула расизма оставляет место (даже как будто постулирует) возможности и других "мифов крови", кроме германского, но, конечно, практический расизм означает собою воинствующий германизм, "Deutschland über alles" — истина, которая не нуждается в подтверждении в наши дни. Духовная ясность требует определенной религиозной квалификации этого нового воинствующего национального человекобожия, которое само себя так исповедует: "Бог, которого мы почитаем, не существовал бы, если бы не существовала наша душа и наша кровь, так звучит для наших дней исповедание Майстера Экхарта. Поэтому является делом нашей религии, нашего права, нашего государства все, что защищает, укрепляет, пронизывает честь и свободу этой души" (761), — таковы заключительные слова исповедания расизма. Задача для миллионов людей нашего времени есть "einen Mythos zu erleben und einen Typus zu schaffen und aus diesem Typus heraus Staat und Leben zu bauen". (481). Рассуждения по женскому вопросу (в которых найдется немало и здравого, как, впрочем, и во многих других частных вопросах) приводятся к следующему заключению: "мужчина ищет творить бытие" через создание идей и произведений, женщина же есть вечная носительница бессознательного. В руках и в характере женщины лежит сохранение нашей расы" (510), "в проповеди о сохранении в чистоте нашей расы лежит священнейшая и величайшая задача женщины". (511). Подобная цель устанавливается и для "германской" (т. е. расистской) церкви: "стремление северной расовой души дать ей под знаком народного мифа свою форму, как немецкой крови, есть величайшая задача нашего века" (614–615), "миф крови" явится

того, чтобы быть ферментом к обеспечению западной культуры. Она простирается от Индии до Испании и угрожает стать скорее содействующей чужим влияниям (Ueberfremdung), нежели им препятствующей". (Sauer. Abendländische Entscheidung. Arischer mythos und christliche Wirklichkeit). (625–626).

магнитом для всех личностей и религиозных обществ, невзирая на все их различия. (ib.)⁵

Таким образом, нация есть высший критерий и ценность: "ist das Erste und das Letzte, dem sich alles andere zu unterwerfen hat". (526). Таков духовный идол расизма, которому, как богу, приносятся жертвы и совершается поклонение. Идол этот древнего, языческого происхождения, о котором можно найти немало и в Ветхом Завете, особенно в ветхозаветном апокалипсисе — книге пророка Даниила (а также, конечно, и в новозаветном, в образе Зверя, выходящего из бездны и всех покоряющего: "кто подобен зверю сему"). Излишне даже доказывать, что этот бог крови и эта религия являются и не — христианскими. Да этого не отрицает и сам автор, который неоднократно выражает убеждение, что христианство устарело и умерло. Он не шадит слов, чтобы выразить такое же отношение не только к "римской" религии, т. е. католичеству, но и к протестантизму. Его поправки и дополнения к образу "Иисуса" также, конечно, не мирятся с сокровищем нашей веры и упования и не заслуживают опровержения. При резко выраженном языческом характере новой религии, которая, впрочем, давно и широко известна языческому миру (хотя бы миродержавному Риму, да, в сущности, и большинству языческих народов с их национальными богами), в расизме отсутствует та до- и вне-христианская наивность неведения, которая их в известной мере и оправдывает на путях их природного богоискания. После-христианское воинствующее язычество неизбежно является и антихристианским, т. е. в этом отталкивании от христианства получает особую религиозную квалификацию актуального антихристианства. Мир не может забыть его или просто отречься, сделав как бы несуществующим. Таково и европейское неязычество гуманизма, как и марксизм с экономическим материализмом (после

⁵ В соответствии с проектируемым исправлением проповеди христианской об Агнице Божиим и прочей догматики христианства должна быть произведена и замена крестов (Kruzifixe) с изображением мучительного распятия в церквях и на дорогах. (616).

большевистского погрома на веру не приходится это доказывать). У Розенберга и то, и другое излагается в одной линии в качестве порождений христианства, именно явлений его упадка и перерождения. На самом же деле он и сам, не менее, а даже более, относится к этой линии, поскольку он не просто а-религиозен, но ищет создать суррогат религии, в прямом и сознательном отвержении всего христианского духа и учения. Разумеется, при отсутствии особой умственной одаренности, которая свойственна его предшественникам на путях человекобожия, как то: Фейербаху и К. Марксу, Ницше и *dei minores*, Розенберг не является значительным как мыслитель, но в пользу его говорит исторический контекст, та стихия, которую он несет в себе, именно немецкой национальной гордости и мощи. Таковая осознана как в состоянии униженности, так и в победном нашествии на всю Европу. Однако, идеологически в доктрине расизма мы имеем, при отсутствии настоящего антихристианского героя, "антихриста", приходящего "во имя свое" (Ио. V, 43), антихристианство более законченное и действенное, нежели даже экзотика Ницше и варварское гонение большевиков (поскольку за ним стоит духовное прельщение великого народа). Во всяком случае, здесь наличествуют все основные элементы антихристианства: безбожие, вытекающее из натурализма, мифа расы и крови с полной посяторонностью религиозного сознания, демонизм национальной гордости ("чести"), отвержение христианской любви с подменой ее, и — первое и последнее — отрицание Библии, как Ветхого (особенно), так и Нового Завета и всего церковного христианства — не только в его исторических повреждениях, но и в его мистической, тайнодейственной силе, с отвержением образа Спасителя нашего и Его учения. Да расизм и не прибегает к какому бы то ни было гриму под христианство и даже вообще под веру в личного, сверхмирного Бога, на место Его он ставит биологически-психический факт расы и крови. Этим Розенберг договаривает последнее слово человекобожия и натурализма в марксизме и гуманизме: не отвлеченное человечество, как сумма атомов, и не класс, как сумма социально-экономически объединенных индивидов, но

кровно-биологический комплекс расы является новым богом религии расизма. Роскошь воинствующего безбожия позволяет себе только сам его идеолог. Практические его деятели в речах и выступлениях (например, у Гитлера) прибегают даже к выражениям, которые звучат религиозным признанием Бога, Творца и Промыслителя. Однако, если в них внимательно вслушиваться, становится ясно, что они сознательно избегают какой-либо христианской определенности. Разумеется, этот характер нельзя распространять на весь народ, имеющий в своей среде значительное количество верующих христиан, католиков и протестантов, но "душа народа" в этот исторический час не с ними, она носит знамение не христианского распятия, но не-христианской свастики. Таков исторический факт, вес и значение которого, конечно, можно по-разному расценивать. Поэтому расизм в религиозном своем самоопределении представляет собой острейшую форму антихристианства, злее которой вообще не бывало в истории христианского мира (ветхозаветная эпоха знает только прообразы ее и предварения, см., главным образом, в книге пророка Даниила). Она злее прямого воинствующего безбожия французских энциклопедистов, ненависти к святыне марксистов и варварства большевизма, потому что все они противопоставляют христианской вере неверие, пустоту отрицания и насилие гонения, не имея собственного положительного содержания. Между тем, "настоящий сын погибельный", по ап. Павлу, приходит "во имя свое", он с е б я противопоставляет Христу и церкви Его. Это есть не столько гонение — и даже менее всего прямое гонение, сколько соперничающее антихристианство, "лжецерковь" (получающая кличку "немецкой национальной церкви"). Религия расизма победно заняла место христианского универсализма.⁶

Для понимания религиозной природы расизма в высшей степени существенно считаться с одной его чертой, которая

⁶ Соответственно подменяется и христианское понимание личности и ее ценности: см. характерные, хотя и туманные рассуждения у Розенберга, *op. cit.*, стр. 390-396 и далее.

отражает не только характер его происхождения, но и обличает его внутреннюю тайну: это его а н т и с е м и т и з м. Должно сказать, что он не только включает в себя антисемитизм, как сознательное или бессознательное соперничество с избранным народом в желании его с о б о ю заменить, но сам он е с т ь этот антисемитизм по своему религиозному коэффициенту, из него рождается и слагается, в него непрестанно, никогда о том не забывая, как в духовное зеркало, смотрится, ему рабствует, о нем забыть не может. Антисемитизм в современной Германии, духовно порабащивший себе и отравляющий этим весь европейский мир, имеет разные черты: бытовые и социальные, расовые и националистические. Инстинкт и воля здесь соединяются, и надо правду сказать, что этот инстинктивный антисемитизм таится в душе каждого "арийца", какова бы ни была чистота его собственной крови, так что это присутствие его требует особой самогигиены. Искушения антисемитизма, проистекающие из некоего как бы нового узрения всего значения, силы, характера международного еврейства, становятся неодолимы для соперничающего с ним в мировом значении германства, и это ведет к антисемитизму практическому, которого историческими свидетелями мы имеем несчастье теперь быть и постольку нести за него христианскую и историческую ответственность. Это чувство соперничества, соединяющееся с чувством национальной тревоги и унижения, стихийно пробуждается и растет у начальных основоположников расизма, находя для себя обильное питание и в исторической действительности. Германский антисемитизм в этой стадии имеет черты бытового явления, которое в разных образах наблюдается во всей истории христианских народов, он слагается из потребности самозащиты и национальной тревоги и гнева. Таков он в книге Гитлера "Mein Kampf", в которой ему дается еще непривычное по своей резкости, но в известной степени даже обывательски простодушное выражение (во всяком случае, эти страницы принадлежат к характернейшим и, может быть, важнейшим страницам в этом историческом документе). В книге Гитлера десятки интереснейших страниц посвящены как фактическому обоснованию, так и истории

философии антисемитизма, причем здесь несколько не скрывается указанное выше чувство расового соперничества германства с иудаизмом. "Германская нация не может снова возвыситься, если не будет энергично поставлена проблема расы и, следовательно, еврейский вопрос",⁷ а в то же время она нуждается в "силе, рождающейся из самовнушения, которое дается уверенностью в себе". Последнее же дается системой воспитания и культуры. Она "должна дать убеждение, что они абсолютно выше всех народов" духовно и телесно. (373).

Исходным догматом историософии Гитлера является мысль о единственности значения арийцев в истории человечества, от которых мы имеем "человеческую цивилизацию, произведения искусства, науки и техники", все это "почти исключительно есть плод творческой деятельности арийцев". (200). Здесь молчаливо отрицается всякое участие и значение в истории человечества Ветхого Завета (что уже открыто и воинствующе утверждается в антисемитизме позднейшем). этому характеру арийства противопоставляется "еврей, представляющий собою наиболее поразительный контраст арийству" (270), что и прослеживается, можно сказать, по всей линии.

Автор Mein Kampf останавливается перед фактом сохраняемости еврейского народа в истории, который он связывает с его особым инстинктом самосохранения, причем интеллектуальные способности его все усиливались в течение тысячелетий (270), хотя он и не имел собственной цивилизации. Но ему не свойствен идеализм и воля к жертвенности. Он руководится чистым эгоизмом. Поэтому иудейское государство не имеет природных границ, как не имеет и собственной цивилизации. Он усваивает чужие цивилизации, как копиист, их деформируя при этом при содействии еврейской прессы. Весь прогресс человечества совершается не через него, но вопреки ему. Живя в чужих государствах, он составлял в них свое собственное, под

⁷ Mon combat, 304-305. Все цитаты по французскому изданию Mein Kampf.

маской "религиозного общества", как паразит других на-
дов. Евреям свойственен их расовый, но отнюдь
религиозный характер, последний чужд им как лишени
идеализма. (275). Эти черты иудейства Гитлер прос-
живает и старается подтвердить на его истории (277-29)
кончая большевистской тиранией. Все эти антисемитск
соображения имеют целью отрицательно привести к создани
гранитной базы, к образованию "Германского государст
немецкой нации". (296). Эти общие соображен
практического политика получают у Розенберга бол
антирелигиозный и зловещий характер. Здесь антисемити
доводится до конца, именно до полного отрицания Ве
хого Завета и его религиозной ценности, к чему, в сво
очередь, присоединяется и ряд экскурсов (по-своему даж
убедительных) относительно морального вырождени
конечно, частичного, иудаизма в Талмуде. Центральн
здесь является своеобразное истолкование самой "рас
избранного народа, а в связи с этим его судеб в истори
Розенберг применяет к еврейству выражение *Gegenrass*
(462), как противоположность германской расе. Это
паразитической переоценке творческой жизни соответс
вует, что паразит также имеет свой "миф", ми
избранничества. Это звучит насмешкой, что Бог именн
эту нацию избрал в качестве Своей любимой. Но так ка
образ Божий сотворен человеком, то становится понятным
что этот "Бог" среди всех других избрал именно этот наро
(452). Для евреев даже благоприятно, что отсутствие
них изобразительных способностей воспрепятствовало и
изобразить телесно этого "Бога". (462). "Еврейски
паразитизм, как сложная величина, выводится здесь также и
иудейского мифа об обещанном Богом Ягве праведно
мировом господстве". (463 и т. д. и т. д.). Здесь антисемитиз
принимает уже характер религиозного кощунства проти
Ветхого Завета, а постольку и Нового.

2.

УЧЕНИЕ О НАРОДНОСТИ И РАСИЗМ В СВЕТЕ СОФИОЛОГИИ

В современном расизме нация, как некая
душевно-мистическая реальность, своим "мифом" определяет
свой тип, — извне и изнутри, — и она есть высшая
единственная ценность и критерий истины и добра. Это учение
утверждается в общем контексте н а т у р а л и з м а,
каковым, несомненно, является философия расизма. Последний
с одинаковой энергией протестует против универсализма
не только христианского, но и гуманистического, как и
против индивидуализма: между отдельной личностью и
человечеством, как их совокупностью, стоит р а с а, она
есть реальность, как определяющая душевно-телесная
организация. В этом ее определении выключается начало
духовности, для которой и вообще не находится места в
расистской антропологии. Место духа здесь занимает
к р о в ь, во всей многосмысленности понятия: "миф кро-
ви". Эта черта заставляет отнести расизм к типу языческого
натурализма, предоставляющего действовать инстинктам, и
его фоном является своеобразный демонизм, который питается
чувством гордости, или "чести", и в свою очередь питает их.
В этом смысле расизм есть психологизм, как порождение
исторических настроений в известной их фактической
напряженности. Если еще недавно он питался чувством
национального унижения после поражения, то теперь он,
конечно, вдохновляется военными успехами, их упоением,
однако не имея для себя иного, более глубокого содержания.
Волна эта, сейчас подымающаяся до небывалой высоты, способна
и снова опуститься при других, изменившихся условиях и
даже на это заранее обречена. Расизм есть пафос завоевания
мира, философия насильничества и солдатчины. Это
кощунственно пародируется иногда через применение сим-
вола Михаила Архангела⁸ и увенчивается нехристианской

⁸ Для расизма, как антисемитизма, характерно, что Михаил Архангел,
согласно кн. пророка Даниила, есть вождь и хранитель еврейского народа,
из соперничества с которым духовно и рождается расизм. Он не
останавливается перед таким мистическим плагиатом.

свастикой вскрывается некое противоречие и непоследовательность, присущие расизму: хотя принципиально существование расы допускается не только в единственном, но и во множественном числе, однако фактически существует лишь одна раса, достойная бытия, именно германская. Душевно-телесный характер расы является не столько человеческим, сколько животнo-биологическим, хотя и человекообразным. Определение расы в доктрине расизма поэтому удивительно соответствует тем образам, в которых сменяющиеся расы и царства изображаются в ветхозаветном апокалипсисе прор. Даниила и новозаветном св. Иоанна.⁹

Субстратом расы, как многоединства, для расизма является к р о в ь. Основное учение именно Ветхого Завета о том, что в крови душа животных (почему и возбраняется ее вкушение), в известном смысле созвучно идее расизма. Раса мыслится не просто как коллектив, но как некая биологическая сущность, имманентная роду. "Человечество, вселенская церковь и отрешенное от святой крови, самогосподствующее я для нас более не суть собственно ценности, но порождения абстракции". (Р. 22). "Новая, обильная взаимными связями, красочная картина истории земли и человечества ныне должна быть раскрыта, если только мы благоговейно признали, что взаимоотношение между кровью и окружающим миром, между кровью и кровью представляет для нас последнее доступное нам явление, за которым нам уже далее не дано искать и исследовать". (23). Если кровь есть в этом смысле абсолют, как последняя основа расы, за которую уже нечего искать, то "душа означает расу, видимую изнутри, а раса внешнюю сторону души". (2). "Жизнь расы, народа не есть логически развивающаяся

⁹ "И четыре большие зверя вышли из моря, непохожие один на другого. Первый, как лев, но у него крылья орлиные... и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя... вот еще зверь, как барс". (Дан. VII, 4-6). "И вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный... и десять рогов были у него... и вот вышел между ними еще небольшой рог, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно". (7-9). Подобная же символика борющихся между собою зверей (овна и козла) применима к гл. VIII. Тому же посвящена XIII и отчасти XVII главы О т к р о в е н и я Иоанна.

философия, и не развивающийся закономерно факт, но образование мистического синтеза". (117). "Каждая раса имеет свою душу, каждая душа свою расу, с ее собственной внутренней и внешней архитектурой". (116). Этим определяется и национальная культура: "она есть сознательное выявление вегетативно-витального (начала) в расе". (140). Постольку и "самая сильная личность уже не ищет ныне личности, но типа... Изживание же типа есть рождение познания мифа всей нашей истории: рождение северной расы и внутреннее опознание ее высших ценностей, как руководящей звезды всего нашего бытия". (531). Логика расизма постулирует расовый "плюрализм", но его биология и психология, вместе с практической политикой, зовет и ведет его к гегемонии одной лишь, именно "северо-европейской", т. е. немецкой расы, пангерманизму, становящемуся поэтому уже мировой опасностью. Однако, мы рассматриваем здесь вопрос не в плоскости практической политики, но идеологии. В расизме, как доктрине определенно не-христианской и даже антихристианской, естественно отсутствует целый ряд черт и проблем, которые связаны именно с христианской религией, и, наоборот, наличествуют черты, с нею несовместимые. Попытаемся сначала выяснить христианское учение о нации и затем с ним сопоставить доктрину расизма. Знает ли христианство начало расы, нации или крови, и если да, то в каких пределах. Ветхий Завет считается с фактом существования наций как самоутверждающихся многоединств. В этом отношении он не отличается от общечеловеческого самосознания, даже и языческого: человечество дает место внутри себя разным и многим языкам или нациям, таков непосредственный самоочевидный факт, который раскрывается в национальной жизни: в религии, поскольку народы имеют своих богов и свою веру, в культурном творчестве, в социальной и политической жизни. Подлинно существует некий мистический субстрат национального многоединства, не только как внешний факт наследственности, преемственности и связи, но и как внутренняя его первооснова и сила. Нации различаются количественно и качественно, по силе и своим судьбам. При этом они отнюдь не представляют собой замкнутого единства, напротив, между ними все время

происходит эндосмос и экзосмос, смешение кровей и культур. Самосознание изначального единства человеческого рода, предшествующее, так сказать, "вавилонскому смешению языков", выражается скорее недостаточно, хотя и все время ищет себя. Но в самом язычестве и нет надлежащего духовного основания для идеи единого всечеловечества, поверх многонародности, в себе его включающего и обобщающего. Его постулат и искание появляется в более позднем самосознании язычества, в его философии, каковою в данном случае является стоицизм с его разновидностями в истории античного гуманизма.

Особое место занимает здесь ветхозаветное откровение, данное избранному народу Божию. Он был взят под особое промыслительное блюение Божие, поскольку он являлся единственным носителем чистоты веры и откровений истины. К тому же он был призван и в жизни своей, чтобы в себе самом осуществить человеческий путь боговоплощения, генеалогию Христа, род Пресвятой Богородицы. Отсюда проистекает совершенно особый, исключительный "национализм" Израиля: он не есть один из многих народов, но единственный — народ Божий, народ Авраама, Исаака, Иакова, Давида, хотя, разумеется, для воинствующего антихристианского антисемитизма ныне ничего этого не существует. Однако, и другие народы отнюдь не являются оттого как бы несуществующими. Напротив, и они ждут их спасения, которое Бог "уготовал пред лицом всех народов", и своего времени для принятия "Света и откровения языков и славы людей Твоих Израиля" (Лк. 11, 31—32). Своим избранничеством народ Божий не исключается, но включается во все человечество, как самая его сердцевина и средоточие. Однако, эта единственность Израиля среди всех народов¹⁰ мимоидет вместе с исполнением этого призвания, с

¹⁰ В ветхозаветном пророчестве мы встречаем следующее его выражение: "все народы ходят каждый во имя Бога своего, а мы будем ходить во Имя Господа Бога нашего во веки веков". (Мих. IV, 5).

пришествием Мессии. Хотя особое избранничество Израиля¹¹ проявляется в самом Богоявлении, на протяжении всей евангельской истории, однако проповедь Евангелия, сначала направленная к овцам дома Израилева, постепенно обращается в сторону языков, хотя и через посредство апостолов и вообще избранных от Израиля служителей спасения. Христос Сам посылает апостолов: "шедше научите в с е языки, крестя их", и во Христе уже теряет значение различие "эллина и иудея, варвара и скифа", все становится единым во Христе. Ветхозаветный религиозный национализм единственного избранничества истаевает в лучах солнца Христова: хотя и остается место для много- и разноплеменности, но вся она, по крайней мере потенциально, является равноценной перед лицом Христова вочеловечения. И во всяком случае, вопрос о народах и народности хотя не упраздняется, но получает новое значение и в него должно быть вложено совсем новое содержание. Как можно христиански принять и осмыслить нацию, не только как факт, но и ценность. Допустим ли и в какой мере национализм в христианстве. Что есть народность.

По слову Lagarde'a, "нации суть мысли Божии". Это, конечно, самоочевидно, однако выражено слишком отвлеченно и интеллектуалистично: мысли Божии суть и дела Божии; предвечным идеям, раскрывающимся в истории, присуще и бытие, и притом каждый особый образ этого бытия во всей его конкретности, в различении не только его ч т о, но и к а к. Этому многообразию человечества отведено много внимания в Библии и в истории ветхозаветной. Эта множественность есть не только количественная, но и органическая, она включает в себя полноту, универсальную вселенскость, которая выражена в библейском новозаветном понятии "все народы", причем это относится как к исходному началу христианской истории: "шедше научите все народы,

¹¹ "Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле". (Второз. XIV, 1).

крестя их" (Мф. XXVIII, 18) ср.: (Мр. XIII, 10; Лк. XXIV, 47), так и к ее концу: на судище Христове предстанут "все народы" (XXV, 32), а также и к их историческим путям в прошедших родах: "попустил всем народам ходить своими путями" (Д. Ап. XIV, 16). Всем им возведена тайна "по повелению вечного Бога всем народам для покорения их вере" (Римл. XIV, 25). И "все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои" (Откр. XV, 4). Библейской антропологии, как ветхо- так и новозаветной неустранимо свойственна эта идея многообразия человечества, не только как факт, но и как принцип. Не скудость, но богатство, не схематическое однообразие, но многокрасочность свойственны всему творению Божию, также и человечеству. Однако, это не только не представляет противоположности единству человеческого рода, но его раскрытие и подтверждение: не множественность кровей и их "мифа", как это следует согласно доктрине расизма, раздробляющей человечество на многие части и тем упраздняющей самую его идею, но именно обратное: единство человеческого рода, как единство человеческой крови. Это прямо выражено в одном из самых торжественных апостольских свидетельств, — в речи ап. Павла в афинском Ареопаге, этом духовном центре язычества: "от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию" (Д. Ап. XVII, 26), и в этом смысле особо еще подтверждается: "мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из стихотворцев ваших говорили: "мы Его род". Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать" и т. д. (28). И это многоединство человечества косвенно и отрицательно подтверждается как, с одной стороны, смешением языков при вавилонском столпотворении (Быт. XI), так и обратным его преодолением в Пятидесятнице (Д. Ап. II, 7-9). Этому единству всечеловеческой крови первого Адама соответствует и единство искупительной крови, изливаемой Адамом Новым, Господом Иисусом Христом. Итак, душа в человеке, седалище которой в крови, согласно общему принципу библейской биологии: "в крови душа животных" — едина для всего человеческого рода, но многообразно

окачествована в человеческих племенах или народностях, причем, конечно, в единственности и некоторой биологической абсолютности существует в народе избранном, предках Спасителя и сродниках Его по крови, в роде Богоматери. Это есть кровь и душа всего целокупного человечества в его многоединстве.

Началу крови (а, следовательно, и "мифу" ее) должно быть отведено соответственное место в учении о человеке и, прежде всего, должна быть отмечена ложная и еретическая идея о том, что кровь есть единственное и всеопределяющее начало в человечестве, которое тем самым в свете такого понимания именно и есть кровь, точнее, некий ассортимент разных кровей, между собой различающихся, но не отождествляющихся (незирая на различие смешанных кровей и рас). Можно ли удовлетвориться такою антропологией, которая является биологией ветхозаветной ("в крови душа животных"), с проистекающей отсюда всей аксиомой расизма. Конечно, нет, ибо она одинаково не соответствует ни библейской антропологии, ни софиологии. Расизм с одинаковым негодованием отмечает как идею духовного персонализма, с признанием самобытного духовного центра в каждом человеке ("дыхание жизни", вднутое в лицо человека, созданного из праха земного, самим Богом: Быт. II, 7), так и единого универсального всечеловечества. В том и другом им усматривается иудаизм, в борьбе и противлении которому и состоит духовное существо расизма. Последовательный в защите своего этнографического "плюрализма", расизм должен прийти вообще к отрицанию единого человечества, или же фактически видеть его лишь в одной из национальностей, именно в "северном германстве", исчерпывающее его выражение. В богословии вообще борются между собою два антропологических воззрения: дихотомическое, признающее в составе человека лишь два начала, душу и тело, и трихотомическое, считающее три начала: дух, душу и тело. Расизм же представляет собой еще третью разновидность: в антропологии он знает лишь единое человеческое начало крови, как душевно-животное, "das Vegetativvitale einer Rasse" (140), чем, по его мнению, преодолевается в пользу

динамики "статика" иудаизма. Но, конечно, христианскому учению соответствует лишь признание самостоятельного духовного начала, которое живет и действует в человеческом теле, одушевляемом душой. Начало крови имеет связующее, посредствующее значение среды, в которой раскрывается воплощенный человеческий дух. Этот же антропологический принцип приложим и к христологии, где дух человеческий замещается ипостасью Сына, которая, вместе с божеским естеством, ипостазирует и человеческое, состоящее из тела и разумной души в их соединении. Крови, собственно, и соответствует это соединение души и тела как таковое. Расизм своим животновитальным началом крови упраздняет духовность человека, его превращая в особый вид животного мира во славу "плюрализма".

Однако, наряду с отрицанием этого грубого посягательства на то, что составляет подлинно человеческое в человеке, т. е. на его дух, надо установить и положительное значение расы, как факта и ценности. Этим вопрос переносится в область софиологии. В чем состоит и как устанавливается е д и н с т в о человеческого рода. Есть ли оно лишь биологическое, кровное, телесное, и в таком случае неизбежно разлагающееся на множественность рас. Или же оно есть духовное, подлинный моноплюрализм, духовное единство перво-Адама. Очевидно, последнее. Однако, как же совместить это единство с множественностью ипостасных человеческих центров. Очевидно, оно может быть понято лишь в свете многоединства в Новом Адаме, во Христе. Христос есть абсолютная ипостась, как "един сый Св. Троицы", однако эта ипостась существует как таковая лишь во Св. Троице, в Божественном триединстве, неслиянно, непоглощаемо, но и нераздельно. Этот образ Божий, отблеск триединства, получает и тварный Адам, множественное человеческое **я** — **мы**, в котором каждая личная ипостась светит и гаснет в онтологическом многоединстве любви. Все человеческие личности сосуществуют в ипостаси Адама, Ветхого и Нового, как многоединство. Однако, это не есть только переливы света многоединого **я** в его **я** и н о с т и, но и личная **окачественность** каждого отдельного **я**, его **к а к** с особой его окраской или голосом, ему свойственным.

Все они соединяются и совмещаются в первоначальном Адаме, как отце и источнике человеческого рода, и в Новом Адаме, во Христе, как "совершенном человеке" в его полноте. Этим утверждается множественно-личный характер человека, всякая человеческая личность есть нерушимая точка и центр человечности. Не раса, не нация, вообще не какой-либо биологический коллектив есть первореальность или слагаемое в человечестве, но именно личность. Эта истина, ненавистная расизму,¹² утверждается как в Ветхом, так и в Новом Завете как первооснова человеческого бытия. Человечество состоит не из рас, но из личностей, которые коренятся, как индивиды, в единой все-личности, в "Новом Адаме", во Христе. Если универсальное человечество может почитаться не только множеством, но и многоединством, вселичностью, то лишь во Христе: как Богочеловек, Он соединяет в Себе не только полноту человеческого естества, но и его все-личную **окачественность**. В "совершенном" человечестве Христовом каждая человеческая личность находит саму себя. Однако, она обретает себя в Адаме лишь индивидуально, т. е. ограниченно и ущербленно (*omnis definitio est negatio*). Эта ограниченность, а позднее и ущербленность, проистекает не только из неполноты самоопределения человеческой личности, но и более всего от силы первородного греха, ослабляющего, ограничивающего и искажающего личность. Однако, это личное начало в человеке восстанавливается в полноте в человечестве Богочеловека. В Нем себя обретут и проявятся при воскресении во плоти все человеческие личности, как лично **окачественные** центры вселенской любви. И в этой вселичной универсальности растворяются все промежуточные определения, национальные или иные. Личность сверхнациональна, она есть начало вселенское, как подлежащее для всех сказуемых, каковыми являются дальнейшие ее **окачественности**. Личность духовна, она исходит от Бога, Который есть дух, и она Его имеет образ.

¹² "Blutmäßig gesunde Völker kennen den Individualismus als Maßstab nicht kennen, ebensowenig wie den Universalismus". (539). Ср. 127 сл. против "статического монизма". Ср. 391 сл.

Поскольку личности присуща сказуемость, она есть, субъект жизни в ее проявлениях. Она живет, — не только, в себе духовно, и в Боге боговдохновенно, но также и душевно и телесно, потому что в этом соединении духовности и душевнотелесности, в воплощенности духа, и состоит человечность. Но эта-то воплощенность духа, усвая определенное личное качество, дает жизни характер многообразия. В нем находят для себя место и семья, и род, и нация, каждое по-своему и в своем особом качестве.

Душа и тело, душевнотелесность, в которой расизм только и видит последнюю субстанцию человечности, есть то тварное начало в человеке, в котором раскрывается сила образа Божия и осуществляется его подобие. Тварности свойственна относительность с возникновением из ничего творческим актом Божиим. Но это происхождение из ничего или в ничто не означает ничтожества того, что происходит. Наоборот, творению, как образу Божию, принадлежит божественная нерушимость бытия, ибо оно божественно в своем первоисточнике. Оно есть образ Первообраза, который в Боге Самом есть София Божественная, в творении же София тварная. Первая в Боге предвечна, вторая же возникает в творении и становится собой, осуществляя свободным самотворчеством твари свой собственный образ, как тему своего бытия. этой теме в человечестве присущи полнота и многообразие: вселенскость, или всеединство, всекачествованность, "кафоличность". Как единство всяческого бытия, она есть душа мира, единящая жизнь в ее потоке. Душа мира не есть духовное начало, хотя и открыта духу для единения с ним в послушности ему и проницаемости его самооткровениям. Она не есть только телесность, поскольку последняя неразрывно соединена с душой, как началом, открытым и для духа. Душа мира не есть личность, а только живое бытие, которое способно принадлежать личности, ею изживаться. Но отличаясь от личного начала, она находится с ним в неразрывном соединении. Она, принимая определение от личного духа, сама дает ему окачественную конкретность, присущую становлению, самооткровению жизни. Здесь находит место вся многоступенность и многообразие бытия сверху донизу.

На этой лестнице бытия получает силу и всяческий национализм. Таковой находит для себя и софийное основание, поскольку софийна душа мира. В тварной Софии поэтому обретает себя и основа национальности. Нация имеет пребывающее начало свое, небесное жилище, если не прямо как данность, то по крайней мере, в задании, которое есть небесный замысел о человеке. Абстрактный гуманизм, не имеющий ее реальности, противится божественному: да б у д е т. Начало народности имеет не только право на существование, но и долг самосохранения, которое и осуществляется в истории, конечно, со всеми отклонениями, преувеличениями и ошибками, свойственными всему человечеству. В связи с этим, однако, возникает ряд опасных уклонов, которые представляют собой духовный бич человечества. И, прежде всего, таковым может оказаться неверная аксиология, ведущая к национальному идолопоклонству или язычеству. Отсутствие здоровой антропологии и софиологии имеет последствием неразличение, а то и прямое смешение, духа и душевнотелесной жизни, — в расизме откровенно и последовательно, в национализме же разных видов менее решительно; народность (со всей неизбежной неточностью в ее определении) объявляется вообще высшим, если не прямо единственным, началом человечности. Вследствие такого потопления начал духовных в душевно-телесности получается натурализм и фактическое безбожие, которое столь явно просвечивает в расистской идеологии, представляющей собой рецидив язычества. Духу здесь не находится места, где приютиться в стихии душевно-телесности, да она в нем и не нуждается, даже более того, его отрицается, за ненужностью. Вообще высшей и, пожалуй, единственной здесь ценностью объявляется национальное бытие с его самораскрытием и самоутверждением, — в войне и культуре. Такова же и проистекающая отсюда философия истории.

Но нации даже и для расизма — по крайней мере, теоретически — существуют не только в единственности, но и в многообразии. Поэтому неизбежно возникает вопрос об их сравнительной относительной ценности. Каждая нация

сознает себя и говорит о себе от первого лица и притом в собственном, единственном числе. Если бы эта единственность соответствовала действительности, не было бы места и особому национальному самосознанию, воинствующему и самоутверждающемуся. Народность в этом единственном ее виде была бы этим образом национальной самоочевидности. Но раз это не так, неизбежно возникает вопрос не только о национальной борьбе и соперничестве, чему свидетелями мы в настоящее время и являемся, но и о сравнительной национальной самооценке и самоутверждении. Раз существует данная нация, для живого ее члена она есть и национальное я, и соответствующая ему высшая и во всяком случае высокая ценность. В этом проявляется некая необратимость личного местоимения первого лица: о себе самом — и только себе одном — я могу думать так, как об единственном или, во всяком случае, первенствующем личном центре мировой истории. Постольку национальное сознание есть самоутверждение, которое откровенно или прикровенно и заявляет о себе, отрицательно — презрением или антипатией к другим нациям, положительно — исканием своего "мифа" и "типа", в которых сначала не приметно, а затем и явно выражается национальная *mania grandiosa*. Все это в наши дни, может быть, с небывалой резкостью проявляется в расизме, как в его положительных, так и отрицательных самоопределениях. На этом пути возможны разные искушения: прежде всего в сторону расширения всемирно-исторических перспектив, свойственных данной нации (пример чему смотри в историософии Розенберга, для которого всемирная история, по крайней мере "арийства", есть история "северного" германства).

Особенностью расизма является его воинственно-оборонительно-завоевательный характер, соединяемый с односторонним утверждением мужского начала. Последнее религиозно утверждается Зауером (*Hermann Sauer. Abendländische Entscheidung. Arischer Mythos und christliche Wirklichkeit. 1939. 3-te Aufl.*), который не устает повторять характеристику национального самосознания как *männliches Grenzgefühl*, осуществляющем себя в воинствовании. Символически это утверждается или в

произвольном и потому кощунственном присвоении германству первоверховного архангела, ангела-хранителя еврейского народа (Дан. X, 13, 21; XII, 1) Михаила, который, очевидно, мыслится как вождь гитлеровских полчищ. Розенберг, по крайней мере, умеет обойтись без этой кощунственной декорации, которую, напротив, Зауер превратил в национальную виньетку, вроде свастики. Эта декорация не заслуживает даже обсуждения, она свидетельствует лишь о затемнении религиозного сознания у этого христиански-расистского (по-своему выдающегося) писателя. Однако, в идеологии этого христианского расизма, носящего притом резко выраженный протестантский характер, следует отметить своеобразное преломление и проявление основной черты, свойственной протестантизму, это именно его нечувствия Богоматеринства как Вечной Женственности и основания Церкви. Стихия мужского начала и мужественности, так подчеркнутая Зауером в пруссачестве и вообще германстве, имеет параллель в общем отсутствии Богоматерного начала в протестантском мировоззрении. Вследствие этого получается лютерански-прусское искажение всего христианства. Последнее принимает насильнические черты под личиной "пограничного воинствования и мужественности". Архангел Михаил и "ангелы его", как вождь воинства небесного в борьбе с драконом, имеет, очевидно, рядом с собой и арх. Гавриила, вестника Благовещения и в этом качестве ангела Богоматери, но он забывается в этом мужском начале. Мирочувствие, имеющее воински-мужское начало в качестве основания, является а-софийным и становится анти-софийным. Стихия творчества, в которой осуществляет себя женственное, рождающее, не насильническое, но органическое начало жизни, здесь упраздняется в пользу мужского насилия, которое в силу того же является не отцовским или сыновним, вообще не органическим, но воинственно-насилующим. То начало психеи, которое составляло душу романтизма и под знаком "das ewig Weibliche" ведомо было также и Гете, упраздняется, раздавленное каблуком немецкого салага. В этом состоит основное извращение национальной души германства в

расизме, как и его творческая пустота и духовное бессилие, прикрываемое воинствующим воодушевлением и... дисциплиной. Но насильничество может внушать только страх, а не любовь, и в таком отношении — как это ни покажется неожиданным — расизм имеет большую аналогию с большевизмом. Оба они способны до времени увлекать и опьянять внешними успехами и государственными достижениями, но это здание, как построенное на песке, может рухнуть от внешнего толчка, как не имеющее в себе внутренней связности. У самих пророков расизма прорывается против их воли это самосознание. Горделивые заявления, что история человечества в нынешнюю войну определяется на 1000 лет вперед, чередуются с допущением возможности, что в случае военной неудачи вся эта храмина рассыплется. Теперешний германизм в своем милитаризме имеет внешние черты сходства с Римом, однако с той основной разницей, что Рим, невзирая на преобладание мужественности и слабо выраженную женственность, имел в себе все-таки органическое начало в своем происхождении из доброго, наивного, до-христианского язычества, и это до известной степени его охраняло, — по крайней мере, до времени — от окончательного идолопоклонства государству и того человекобожия, которое проявилось лишь в императорский период в культе цезарей. Расизм же с этого начинает (или уже кончает). Расизм есть послехристианское и постольку и антихристианское язычество, в котором Христос заменяется нео-Вотаном, а почитание Богородицы — человекобожеским культом крови. Немецкая кровь есть бог расизма, этого нового язычества, а этот культ трудно соединим с почитанием арх. Михаила, хотя бы даже извращенным.¹³ Расизм есть воинствующее безбожие, ставящее на место божества нацию

или

¹³ Разумеется, нельзя ставить вполне знак равенства между германством и расизмом: первое обширнее и, конечно, глубже второго, последнее же есть скорее болезнь — и будем надеяться преходящая — души германства. Оно сохраняет в себе силу церковного христианства в католичестве, даже обедненном до современного протестантизма, и, хотя и подчиняется расистскому засилью, но с ним духовно не отождествляется и тем оставляет надежду на грядущий христианский ренессанс и внутреннюю победу над расизмом.

и призывающее приносить жертвы этому идолу. Этот духовный идол овеществляется в крови, как реальном субстрате национальности. Идея крови и ее почитание содержит в себе дву- или даже многосмысленность, которая и должна быть вскрыта.

Прежде всего, согласно определенному учению Ветхого Завета, которому в данном случае соответствует и Новый Завет, "душа тела в крови" (Лев. XVII, 11), и "кровь есть душа" (Втор. XII, 23). И таков же инстинкт и всего человечества, даже и в язычестве, на чем и основано принесение кровавых жертв. Кровь есть начало душевно-животной жизни, которое как таковое для животных останется и исчерпывающим. Однако, в человеке оно является только посредствующим между телом и духом, в известном смысле вместилищем последнего, началом не только душевно-животным, но и духовно-душевым. В таком качестве уразумевается и кровь Христова, как в евангельском откровении, так и в св. причащении. И эта связь души с духом в крови есть вообще для человека самое важное начало его жизни, которое в этом своеобразии и сложности отсутствует как у бестелесных (а потому и бескровных) ангелов, так и у бездушных животных. Для человека существенным является это одуховление крови, но именно в этой области и оказываются возможны лжеучения и жизненные уклонения в сторону животности человека, причем кровь рассматривается лишь как начало душевно-животное, собою исчерпывающее, определяющее человека. Так именно понимается кровь и в расизме, по крайней мере в руководящем сочинении Розенберга. Это есть ересь антропологическая, которая содержит и безбожие, и материализм, точнее, их подразумевает, хотя это и затушевывается фразеологией. Кровь национальностей имеет определенное качество и, конечно, неравную ценность, "Blut ist ganz besonderer Saft" (говорит Гете, правда, устами Мефистофеля), причем высшая, в своем роде единственная, ценность приписывается, конечно, крови германской.

Здесь, конечно, остается неустранимой основная трудность всего этого учения о примате германской крови, связанного с признанием ее, так сказать, многообразия. Действительно,

было бы гораздо проще, а может быть и последовательнее, просто отвергнуть и различие, и многообразие кровей, признав, по ап. Павлу, что Бог "о т одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания" (Деян. XVII, 26), или же признав, что вообще существует лишь один вид ч е л о в е ч е с к о й крови, именно германская. Однако, так далеко не идут и расисты, принужденные все-таки признать факт многообразия человеческого рода, а следовательно, и его кровей. Но это признание сталкивается как с прямым утверждением Библии обратного содержания, как мы это только что видели у ап. Павла, так и с особой трудностью соединить признание единства крови человеческой с не-равноценностью разных ее видов, утверждаемой расизмом. Из этой трудности остается, может быть, один только выход, именно отказаться от идеи п р и м а т а крови в человеке, признав ее субстратом человечности, но не ее субстанцией, т. е. отведя ей все-таки производное, а не первенствующее место. Нации, действительно, различаются, но прежде всего не кровно, а духовно, постольку же и душевно. Как существует единая душа мира, связующая собой все мироздание в его многообразии и полноте, так существует многообразие душ разных народностей, наряду с индивидуальными душами. Последние, рождаясь от родителей, тем самым им уподобляются, но и разнятся от них, как духовно-душевно, так и кровно... Различие это не упраздняется от единства крови отцов и детей, которое далее распространяется и обобщается для всего единокровного человеческого рода, но оно не устраняет и возможности различных, как индивидуальных, так и национальных духовных качеств, отлагающих свою печать и в крови. Таким образом, многообразие крови может соединяться с ее единством, имея для себя источником духовные, а не душевно-телесные качества. Этим, впрочем, отнюдь не отрицается и не умаляется сила крови, как биологического начала в жизни человека. Кровь есть все-таки общий субстрат всей человеческой жизни, хотя и не первенствующий и не единственный ее определитель.

Если считать кровь материальным субстратом душевности, биологическим ее вместилищем, то, на основании откровения, следует признать и соответствие, существующее для нее в мире духовном, ангельском. Откровение свидетельствует, что существуют ангелы-хранители, присущие каждой человеческой личности, как и целым народностям, — см. особенно в книге пр. Даниила "князь царства Персидского" (X, 13), "князь Греции" (20). Первое же место занимает здесь "Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего" (XII, 1; X, 13; Откр. XII, 7). Это служение князя ангелов соответствует призванию избранного народа в своей единственности. Но является поразительным знаменем наших дней, что это служение архангела самочинно приписывается теперь другому народу, который, конечно, не может соперничать с избранным народом, этой осью мировой истории, от начала ее и до конца. Такая претензия есть притязание исторических выскочек, которых не существовало в историческом вчера, т. е. во всей древней истории, и может прекратиться в историческом завтра. Этим обличается и вся пустота этой притязательности, вместе с ее безмерностью.

Свидетельства библейской ангелологии подтверждают мысль, что, как отдельные личности, так и нации или вообще коллективы имеют для себя не только душевно-телесное основание в крови, но и духовное в ангельском мире, в его соответствии миру человеческому. Иными словами, человеку свойственны не только душа с телом, но и дух, причем душа является началом, посредствующим между духом и плотью. Однако, самобытность духовного начала с его индивидуальным характером молчаливо отвергается в расизме в пользу всеопределяющего начала крови. Здесь перевешивает в нем биологизм, причем волевое начало, как самоопределяющееся и самоутверждающееся, объявляется единственным. Отсюда проистекает и не-органический, а-софийный или даже антисофийный характер расизма, для которого не существует самооткровения Вечной Женственности,¹⁴ души

¹⁴ Как мы уже знаем, в расизме только мужчина творит бытие через *Ideenbildung und Werke*, женщина же есть "ewige Behüterin des Unbewußten" (р. 510), на долю которой остается, как священной задаче, сохранение чистоты расы. (*ib.*)

мира, его "музы" вдохновляющей. Отсюда естественным историческим лозунгом становится всяческое насилие и засилие германства: военно-политическое, культурно-хозяйственное, вообще воинствующий германизм, как "Tyrerbilder", или ассимилирующий то, что поддается и способно к ассимиляции, или порабошающий "Untermenschen", или истребляющий их с лица земли, или же, по крайней мере, провозглашающий такое истребление в качестве единственного последовательного исхода истории (конечно, в применении к еврейству). Взаимный национальный симбиоз, дающий жить себе и другим, здесь или фактически просто исключается, или допускается лишь при условии такой гегемонии, которая не оставляет места для самоопределения. Впрочем, вопрос национального бытия других народностей, как неочередной или, по крайней мере, не первоочередной, оставляется в туманной неопределенности для будущего (ср. Р. кн. III, гл. VI-VIII). Речь идет — п о к а — о судьбах Европы и в ней гегемонии.

Высшим критерием ценностей, отменяющим, конечно, христианские, здесь является идея национальной чести и проистекающая отсюда мания национального величия, как и вообще всяческой гордости воинствующего человекобожия.¹⁵

Личное самосознание включено здесь в национальное,¹⁶ подлинное же христианство, исправленное в сторону освобождения от проповеди любви, обращено также в религию гордости.¹⁷

Национальное *я*, в котором соединяются и тонут все *я* индивидуальные, в отношении к другим нациям есть, конечно, с в е р х — *я*, оно существует только в единственном числе.

¹⁵ Der Gott, den wir verehren, wäre nicht, wenn unsere Seele und unser Blut nicht wären. Deshalb ist Sache unserer Religion, Rechtes und Staates alles, was die Ehre und Freiheit dieser Seele und dieses Blutes schützt, stärkt, läutert, durchsetzt. (701).

¹⁶ Die Sehnsucht nach Persönlichkeit und Typus ist im tiefsten innern dasselbe. (529). В пределах этих только и возможна "echte organische Freiheit". (*ib.*)

¹⁷ "Nicht der Gekreuzigter ist heute das bildende Ideal". (605).

Идея национальной чести, принятая в качестве высшего критерия, есть, конечно, национальный эгоизм, возведенный в верховный принцип бытия, "типообразующий", превращающий человеческое общение в военную казарму, а тип ее — в единообразие. В основе этой зоологической идеологии, таким образом, полагается не принцип, но факт, именно единство крови, Blutmythus, нация. Однако, такое самоопределение вообще мыслимо только в единственном числе, т. е. как беспредельный национальный эгоизм или эгоцентризм, раз в основу суждения о ценности и праве полагается лишь сила факта. От откровенного идеологического признания этого национального эгоцентризма расизм уклоняется недоговариванием до конца. Единственно же последовательный вывод отсюда есть всемирное господство "северной расы", всемирная ее империя. Это есть скорее бредовая идея, нежели политическая программа, которая под-сказывалась бы политическим разумом, а не национальной страстью. Конечно, в последовательном своем осуществлении она ведет к неминуемой катастрофе, может быть даже скорее и неожиданнее, нежели оно сейчас 21-XI-41 кажется. Однако, на путях этого национального максимализма возникают проблемы, с трудом поддающиеся разрешению даже для здорового национального чувства. Где и как можно провести эту границу между национальным самоопределением и национальным эгоизмом и хищничеством. И этот вопрос становится все труднее и ответственнее, когда он ставится религиозно, в свете христианского самосознания.

Расизм в известном смысле смотрится в большевизм, хотя последний и чужд идеологии национальности (кроме как по соображениям политического оппортунизма, как теперь, и, конечно, лицемерия). Большевизм интернационален, и потому ему чуждо как христианское, так и национальное самоопределение. Но он не знает для себя границ в завоевательной своей экспансивности, и этим он сближается с расизмом. Не нужно преувеличивать значение их видимого соперничества и кажущейся противоположности. В этом говорит скорее соперничество, нежели несходство, тем более, что и то, и другое одинаково является чуждо христианским критериям и проповедует культ силы и завоевания. Расизм

есть мировоззрение не-христианское и анти-христианское. Оно отрицает спасительную силу души, признавая лишь голос крови, хотя ее сила и раскрывается в творческой культуре. Он есть также мировоззрение волевое, воинствующее. Человек в нем превращается в творимого волею гомункула. Расизм есть мировая Panzerdivision, танковый отряд, предназначенный для покорения мира. И в этом также получается сближение с большевизмом, который хочет быть подобным же отрядом, только иного назначения, и лишь в силу этого с германством соперничает. Большевизм, как мировоззрение и мирочувствие, есть подобная ему а- или анти-софийная идея механизации мира, овладения человечеством через его стальную деспотическую организацию. Здесь одинаково нет ни духовного, ни органического начала, остается лишь жестокая, неумолимая, прозаическая воля, для которой всяческая механизация является наиболее соответствующим образом устройства жизни. Но так как ничто живое не может быть механизировано до конца, то и в расизме остается в качестве животворящего начала голос крови, национальный фанатизм в степени маниакальной агрессивности, национальный империализм. Однако, подобный же имеется и в фанатизме советском, который жаждет все человечество обратить в колхозное послушное стадо и не останавливается ни перед чем на путях своего агрессивного империализма. Оба, и расизм, и большевизм, с одинаковым безбожием хотят обратить человечество в колхозных гомункулов и различаются, помимо исторического своего возраста да унаследованной от предков мировой культурности, лишь флагом, но не методикой жизни. Поэтому мировое соперничество и военное столкновение расизма с большевизмом заложено в их природе, с аналогичной агрессивностью. Если в отношении к другим нациям оно сопровождается хищничеством, наступательным или оборонительным, то в столкновении между расизмом и большевизмом, помимо того, проявляется их собственная природа и внутреннее сродство. Здесь приложимо евангельское слово: "Если сатана сатану изгоняет, то он разделится сам с собою: как же устоит царство его". (Мф. XII, 26; Мр. III, 24-26; Лк. 11, 18). И не будет ли порождением этого еще небывалого в истории столкновения

неожиданная и недоступная предвидению историческая катастрофа, с преодолением и самого гомункулизма. Обе силы стремятся к покорению мира, хотя и с неизбежным соблюдением времен и сроков, исторических к тому возможностей. Некоторое предварительное между ними даже соглашение в начале теперешней войны, столь многих удивившее, объяснялось лишь необходимостью соблюдения его с обеих сторон, но оно должно было, конечно, разрешиться решительным столкновением на жизнь или на смерть, что мы теперь и наблюдаем. Происходит борьба не только двух сил, но и двух мировоззрений, которые, объединяясь в существе, однако имеют различный исторический коэффициент. Оба они представляют собой разновидности одного и того же апокалиптического "зверя", имеющие сродные "зверства" вместе с одинаковым устремлением к взаимному уничтожению. Впрочем, наряду с главными этими зверями к ним присоединяются еще и мелкие и второстепенные звереныши. Еще так недавно перед войной хор их припевал: "кто подобен зверю сему", воздавая ему почести и признание, теперь они объявляют свое присоединение к "крестовому" походу, как именуется с кошунственным лицемерием этот политический и исторический маскарад. Однако, это есть лишь защитная окраска, приспособление к тем, кому принадлежит здесь руководящая роль. Сам расизм в этом лицемерии уже не нуждается, хотя и тоже его в известных случаях применяет, по мере нужд. Впрочем, ни одно историческое явление в своей сложности не выступает в истории в чистом виде, свободное от известного исторического грима, который имеется и в данном случае.

(Продолжение следует)

Только что
вышел в свет

«Ахматовский сборник»
(вып. 1),
посвященный
100-летию со дня рождения
выдающейся
русской поэтессы.

Составители
С. Дедюлин (Париж)
и
Г. Суперфин (Мюнхен).
Париж,
Институт славяноведения,
1989.

Книга открывается работой
Владимира Топорова (Москва),
посвященной публикации
«Письма
Анне Андреевне Ахматовой
на тот свет»,
написанного Иваном Игнатовым
(проф. Д. Е. Максимовым)
в 1966 году.

В сборнике публикуются
научные статьи
Константина Азадовского
(Ленинград),
Александра Аникина
(Новосибирск),
Генриха Барана (Облани),
Вячеслава Вс. Иванова (Москва),
Льва Лосева (Нью-Гэмпшир),
Юрия Молока (Москва),
Анатолия Наймана (Москва),
Жоржа Нива (Женева),
Мишеля Никё (Нормандия),
Татьяны Никольской (Ленинград),
Валентины Полухиной
(Стаффордшир),
Никиты Струве (Париж),
Татьяны Цивьян (Москва).

АХМАТОВСКИЙ СБОРНИК

1



Париж
1989

В разделе
«Публикации и сообщения»
печатаются тексты
из собрания Бориса Анрепа
(архив Глеба Струве
в Гуверовском институте),
посвященное Ахматовой
неизвестное стихотворение
Марины Цветаевой,
фрагменты из дневников
Л. В. Шапориной,
письма Ахматовой
Мосифу Бродскому в ссылку
и иные материалы,
подготовленные
Лазарем Флейшманом
(Стэнфорд),
Беном Хеллманом (Хельсинки),
Александром Сумеркиным
(Нью-Йорк),
Валерием Сажиным (Ленинград),
Яковом Гординым (Ленинград)
и др. исследователями.

В разделе «Рецензии»
помещены статьи
Наталии Горбаневской (Париж),
Самуила Лурье (Ленинград),
Романа Тимончика (Рига).

Завершается сборник
публикацией полного текста
воспоминаний
Михаила Мейлаха (Ленинград)
«Заметки об Анне Ахматовой».

Заказы на сборник посылать по адресу:

LES EDITEURS REUNIS
11 rue de la Montagne-Ste Genevieve, 75005 Paris

Цена книги: 140 фр. фр.
(без пересылки)

СТОЛЕТИЕ АННЫ АХМАТОВОЙ (1889—1966)



Анна Ахматова в старших классах
Царскосельской гимназии

АНКЕТА "ВЕСТНИКА"

1. *Какое место в вашем поэтическом пантеоне занимает Ахматова?*
2. *Какие стихотворения вы больше всего любите или считаете лучшими?*
3. *Какой период творчества Ахматовой вы предпочитаете и почему?*
4. *Как бы вы выразили в нескольких строчках Ахматовскую поэтику?*
5. *Кто, по-вашему, из критиков лучше всех написал об Ахматовой?*

Дмитрий БОБЫШЕВ

1. Анна Ахматова занимает в моей жизни и литературной судьбе исключительное место уже потому, что мне выпала редкая удача знать ее и быть ею отмеченным. Значительность встреч с нею усиливается тем обстоятельством, что они происходили в последние 5 лет до ее смерти, и потому любой разговор неизбежно несет в моей памяти знак и образ ее литературного завещания. Да и для меня это была особенная пора, когда сам я еще нуждался в окончательной духовной настойке, в полном осознании себя и своих "точек опоры" для будущих житейских и литературных противостояний. Все это (и много больше) я от нее получил, и именно в таком смысле называю себя учеником Ахматовой.

Тем не менее, я не хотел бы превращать Анну Андреевну в предмет неумеренного обожания уже потому, что в Библии сказано: "Не сотвори себе кумира". Слишком долго пришлось нам жить под нависающей бронзой "лучших, талантливейших поэтов эпохи", да и сама Анна Андреевна была против поэтических монополистов, когда одно имя раздувалось до таких величин, что оно выдавливало из коммунального пространства всех остальных. Характерен в этом смысле ее устный рассказ о том, как она лежала с 3-им инфарктом в больнице на Васильевском острове. Какими-то правдами или

неправдами к ней в палату пробрался молодой московский стихотворец с претенциозным псевдонимом и единственной целью узнать, кто же из поэтов "первый" — Пастернак, Мандельштам или Цветаева? (Отметим заодно бестактность этого юноши, который даже не вставил саму А. А. в свой список). Однако, вот что она ответила: "Все они — звезды первой величины, и не надо превращать их в диванные валики, чтобы избивать ими друг друга".

Даже сейчас не могу не аплодировать этой, несмотря на болезнь, находчивости и какой-то очень здравомысленной мудрости.

Действительно, была в ней (и в стихах, и в жизни) глубокая уравновешенность, правота, или даже, вернее, право говорить, "как власть имущая". Я думаю, что это было врожденно свойственное ей чувство достоинства, особо редкое и ценное в век бесконечных унижений, и старался научиться ему. Другие воспринимали то же качество как чисто литературное величие и, насколько я помню, подражали ей с переменным успехом.

Анна Андреевна для меня бесценна еще по многим причинам, одну из которых можно обозначить как общее с нею братство-сестричество в сопротивлении литературному и идеологическому официозу. В этом горьком (и — гордом) братстве, которое она нам щедро раскрыла, мы были равны: она, прославленная (хотя и публично опозоренная), и мы, непризнанные, неизвестные, но с самого начала наших литературных судеб подвергаемые подобному же улюлюканью. Я имею в виду нас: "четверку" тогда юных стихотворцев (Наймана, Рейна, Бродского и меня) и все печатные гнусности о нас в "Известиях", "Комсомольской Правде" и "Вечернем Ленинграде" конца 50-х, начала 60-х годов. В той пронзительно недружелюбной атмосфере похвала и признание Ахматовой не только спасала каждого из нас от отчаяния, но и осталась "патентом на благородство" на годы вперед.

2. Многие стихи Ахматовой существуют, чтобы их повторять в исключительные моменты, — например, "Когда погребают эпоху", или когда в человеческой жизни сталкиваются

одновременно такие крупные категории, как история и судьба, любовь и смерть.

Вот и я в этом году, после 10 лет на Западе вернувшись на побывку в Питер (а ведь уезжал я навсегда), бесконечно повторял ахматовскую строку про "Гранитный город славы и беды", который я все-таки променял на Америку, и который мне с еще большей силой казался "Моим промотанным наследством". Эти строки пронизывали совесть, хотя я и понимал, что мое наследство промотано вовсе не мной, а тем идеологическим жульем, которое травило сначала Ахматову, а потом и меня и моих литературных товарищей.

Подобная инвектива присутствует и в стихотворении "Все расхищено, предано, продано", но она внезапно преображается строкою "Отчего же нам стало светло?" Эти стихи — пример чистой и бесконечно трогательной, христианнейшей духовности. Помню, как я привел их в разговоре в начале 70-х, шагая с одним христианским художником вдоль Лебяжьей канавки (справа — Летний Сад, слева — Марсово Поле). Как ожог вспоминаю духовную слепоту художника, не понимавшего, как же ей могло стать светло, если народу так плохо. Сам Достоевский, слушай он наш разговор, наверное, усмехнулся бы...

3. История поделила своими межами творчество Ахматовой на периоды, но в каждом из них Анна Андреевна, оставаясь частью эпохи, держала перо в стороне от общеэстетического торного пути.

Так, в 10-е годы, в пору жеманных стилизаций, влюбленных пажей, маркиз и прекрасных дам (и какие только громкие имена ни грешили этим!), ее героиня, оставаясь реальной, а не выдуманной женщиной, позволяла себе, например, быть не в духе или даже открыто вертеться перед зеркалом...

Но не только эстетически, а и на уровне жизненной символики Анна Ахматова мыслила иначе: в 17-м кроваво-знаменном году она выпускает сборник "Белая стая", а с наступлением воинственного безбожия 20-х и последующих годов — "Anno Domini".

В 30-е годы она тайно сочиняет "Реквием" и другие вещи, полные скорби, любви и сопротивления коммунистическим злодеяниям, — стихи, которые даже не смеет записать, и лишь позднее частично восстанавливает по памяти.

В 40-е, военные, она пишет не только о горе и мужестве, но и создает свою поэтическую "башню" — "Поэму без героя", с высоты которой судит, воспеваает и правит отходную своей эпохе.

В 47-м идеологический преступник Жданов, облеченный властью казнить и миловать, действуя вместе с аппаратом Союза писателей, предаёт Ахматову публичному позору, но и в те смертельно-опасные годы, и в последующие 50-е ее дар выживает, и она в ответ на гонения пишет, например, такие тишайше-простые строки:

Я все прощение дарую
В день Воскресения Христа.
Меня предавших в лоб целую,
А предавшего — в уста.

Я застал Анну Андреевну в последний период творчества, в 60-е годы, и свидетельствую, что до последних дней она продолжала писать все лучше и мощнее: в ее строчках ошутимо перекатывались могучие ядра поэтической мускулатуры.

Вот когда железная Суоми
Молвила: "Ты все узнаешь, кроме
Радости. А ничего, живи!"

4. Вместе с "бегом времени", естественно, менялась и поэтика Ахматовой. Но я думаю, что навсегда останутся в истории литературы характерные ахматовские новации.

а) Прежде всего, фрагментарность ее ранней поэзии, — по форме это как бы античные черепки, сознательно устанавливающие аллюзию с поэзией Сапфо.

б) Знаменитая ахматовская деталь: уже ставшая пародийной правая перчатка на левой руке; перо на шляпе, задевшее за верх экипажа, — детали, передающие подлинность эпизода — зримую, вкусовую, обоняемую, осязаемую, слышимую... И — всегда присутствующее б-е чувство: интуицию.

в) Принцип "знакомства слов", — прием, изобретенный, по ее словам, Мандельштамом. Ахматова очень эффектно и умело, и очень по-своему им пользовалась. Принцип состоит в создании общего контекста для слов, ранее не сопоставимых. Пары таких слов, "познакомившись", становятся вместе счастливы. Примеры из Ахматовой: "деревья весело-сухие" или "терпкая печаль".

г) Присутствие тайны, как еще одного (по крайней мере) измерения. В ранних стихах это было "потемневшее трюмо", в котором глаза героини "глядят уже сурово", а затем зеркало сменило угол и стало отражать самое себя, небо, тьму и другие, порой весьма устрашающие метафизические прободения (или пропятия) нашей действительности.

5. Сама А. А. высоко ценила статью и доклад Жирмунского "Преодолевшие символизм", — вероятно, как своевременное свидетельство об этапе литературно-наступательных действий акмеизма...

Однако, больше всего она дорожила статьей Недоброво — считала ее пророчеством о себе. Действительно, многое там угадано об А. А. вперед, — если даже предположить, что молодая Ахматова достраивала и доразвивала себя по этому чертежу, созданному ей "на вырост", то и тогда статья поражает своей проницательностью.

Смелую и существенную мысль высказал Чуковский в эссе "Ахматова и Маяковский", где лирический шепот Анны Андреевны объявил более отчетливо слышимым на галерке, чем риторическое громогласие Владимира Владимировича.

Вообще, А. А. не была обойдена вниманием даже в самые тяжелые времена, — особенно, если считать "вниманием" поношение и глумление, — как на Западе, так и в СССР. Вот ее строки об этом:

Запад клеветал, и сам же верил,
И роскошно предавал Восток.

А. А. упрекала западных славистов, когда они повторяли советскую версию о том, что она, будто бы, на целые десятилетия замолкала. Это возмущало ее: "— Я никогда,

повторяю: никогда не прекращала писать. Другое дело, что меня не печатали".

Сразу после ее смерти (как будто этого специально ждали) возникло множество переизданий Ахматовой в СССР, но предисловия к ним грешат все тем же общим пороком: берется уже хорошо отцензурированный текст и еще более натягивается на болванку с образом Ахматовой как "советского писателя"; при этом эксплуатируется патриотизм поэтессы: неизменно приводится все то же "Мужество" и усеченный анти-эмигрантский вариант "Мне голос был..."

Все-таки среди западного ахматоведения выделяется биографическая книга Аманды Хейт "Anna Akhmatova, A Poetic Pilgrimage", внимательное и сочувственное исследование, хотя и источники, используемые в нем, бывают слишком пристрастны, особенно к концу, — например, в описании обстановки последних лет явно угадывается не всегда объективный голос секретаря А. А.

Из мемуарной литературы обещают стать прекрасной книгой объявленные к изданию в этом году "Рассказы о Анне Ахматовой" А. Наймана, где слышны интонации А. А. и приводится изрядное число ее великолепных острот и высказываний.

Но самое главное сказано было о. Александром Шмеманом в его "Слове об Ахматовой" вскоре после ее кончины в 1966 г.: Ахматова — великая христианская поэтесса, чья духовность — не декларированная наружно, а внутренне ей присущая и естественная, — превращала ее строки в кладезь многих читательских утешений.

25 марта 1989
Urbana, Illinois

Иосиф БРОДСКИЙ

1. В пантеоне все места одинаковы, и иерархии там не существует.
2. "Северные элегии".

3. Для меня ее творчество на периоды не делится.

4. Она сделала это сама в "Когда б вы знали из какого сора..." и в "Не должен быть очень несчастным..."

5. Н. В. Недоброво.

12.III.89

New York

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

1. У меня как бы два "поэтических пантеона": один для поэтов XIX столетия, другой — для XX-го. Разумеется, понимаю нерасторжимость, преемственность, и все-таки, они для меня раздельны. Это — как две России. Так вот, во втором "пантеоне" Ахматова занимает место сразу возле Осипа Мандельштама. Если меня спрашивают: "Ваш любимый поэт?" — я отвечаю: "Поздний Мандельштам", но тут же всплывает образ и поэзия Ахматовой. Ахматовский мир дает нашей новейшей литературе ту крепость, является тем связующим — без чего она, быть может, представлялась бы лишь хаосом разнонаправленных устремлений.

2. Из стихотворений — два: "Все расхищено, предано, продано" (1921) и "Все ушли и никто не вернулся" (конец 40-х гг.). В первом — поразительное ощущение религиозного катарсиса: это земля после светопреставления и христианского мученичества, омытая и просветленная им. Как будто уже наступило *после смерти* — воскресение, жизнь вторая...

"Все ушли" — скорее последний плач, причитание. Государственный терроризм и всеобщее одичание потеряли уже новизну искупительной катастрофы, стали будничною рутиной (недаром на "все небо в крови" приходится обернуться), тут катарсису уже, естественно, не находится места: бездонность отчаяния соответствует реальному положению.

3. У Ахматовой трудно выделить периоды, разве что самый ранний. Ее поэтика, в отличие от поэтики

Мандельштама, Пастернака, Заболоцкого, не делала какого-то решительного скачка. Вот "Поэма без героя" — эпос Серебряного века с отточенными характеристиками, формулировками и многоступенчатой магией — и есть сама по себе "период". И это ведь тоже — *реквием*, и, конечно, не по одному Князеву.

Меньшая, чем у других контрастность периодов, общая цельность ахматовской поэтики, творчества — данность, которая была б вне оценочных категорий, если б не распад окружающего мира и его эстетики.

И в контексте такой ситуации эта органическая цельность — выглядит героически, даже если и обусловлена лишь спецификой ахматовского дара, не смогшего перешагнуть за ее границы.

То, что умирающий Пунин писал Ахматовой (14 апреля 1942) о ее жизни, применимо и к ее поэзии: "Нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому совершенна, как Ваша / . . . / В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена в камне и одним приемом очень опытной руки".

Поэтика Ахматовой — не поток, но кристалл, и эта кристалличность с годами лишь возрастала. Элемента расхлябанности, носившего у Пастернака, к примеру, несомненно эстетический характер, у Ахматовой не найти. Наоборот: лишь затвердевшее словосочетание ухудшает порой энергию ее речи.

"И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки" — здесь никак не уместная романсовая банальность обусловлена, быть может, тем, что строфа эта — позднейшая вставка, имевшая характер "задания".

"Мраморноватость" Ахматовой, отсутствие даже элемента непринужденной импровизации — все же никак не мешают нашей любви: красота, тайна, глубинное национальное основание — все это неизменно притягивает к ее поэзии вновь и вновь.

4. В христианской аскетике есть такое понятие "умное делание" — непрестанное творение Иисусовой молитвы, включающее духовную, а тем более сердечную экзальтацию

и требующее особо высокого духовного трезвения. Умным деланием назвал бы я и поэтическую практику А. А. Ахматовой.

5. Тема Ахматовой имеет такое свойство: о ней пишут всегда умно, ее интеллектуальные эманации словно передаются пишущим о ней и ее поэзии.

Хочу отметить недавнее — по-английски — эссе Бродского. Там много метких соображений и положений, но, в целом, оно скорее свидетельствует о сильном движении мысли самого Бродского, чем об Ахматовой.

Пока все, что связано с самой Ахматовой, интереснее статей о ее поэзии. Особенно: "Записки" Л. Чуковской и "Рассказы о Анне Ахматовой" А. Наймана.

10.3.1989

Мюнхен

Семен ЛИПКИН

1. На Олимпе русской поэзии XX века есть боги, полубоги, герои. Можно увидеть и смертных, однажды призванных на пир. Боги: Анненский, Ахматова, Блок, Бунин, Мандельштам, Пастернак, Ходасевич.

2. Одно стихотворение назвать трудно. "Жена Лота", весь "Реквием", "Поэма без героя".

3. Раньше я считал (и написал об этом Анне Андреевне в день ее рождения), что, когда вышли в свет "Вечер" и "Четки", знатоки решили: перед ними женщина-поэт, автор любовной лирики — и только. Трудно было предвидеть знатокам, что Ахматова станет могучим русским поэтом. Теперь я думаю иначе. Уже в молодых стихах Ахматовой чуткий слух мог бы услышать голос великого народного поэта. Все периоды ее творчества суть периоды творчества божества.

4. Волшебная точность; трагическая ясность; тайна; музыка мысли.

5. Недоброво, Жирмунский, К. Чуковский, Л. Чуковская, А. Найман.

28.3.1989

Инна ЛИСНЯНСКАЯ

1. В моем поэтическом Пантеоне XX века Ахматова занимает 3-е место после Блока и Мандельштама.

2. Больше всего люблю "Поэму без героя", может быть, потому, что только что закончила книгу "Музыка поэмы без героя" (моя версия), где я нашла первоисточник этой музыки (не Кузмин!), а, значит, и тайного героя, о котором никогда, никто не подозревал. Вслушивание в музыку этого гениально-сложного Триптиха открыло мне и нечто, относящееся ко времени. Так, "Часть первую" я воспринимаю отнюдь не только как память о 1913 году, но и как 20-40-ые послереволюционные годы.

Из стихотворений *сейчас*, пожалуй, люблю более всего "Лотову жену", ибо оно, основанное на библейском сюжете и написанное в третьем лице, содержит внутри себя жизнь и судьбу Ахматовой, открыто выраженную в народном "Реквиеме".

3. Я люблю все периоды творчества Ахматовой — они неразрывны, и перекликаются между собой, и развитием любого периода последующим образуют цельность огромного таланта Ахматовой.

4. Поэтика Ахматовой — есть синтез психологической прозы, неоднозначной конкретности реалий, целомудренной, народной краткости и музыки.

5. Не знаю. И все же думаю, что лучшее, прочитанное мной о творчестве Ахматовой — это провидческая статья Недоброво и то, что я извлекла из двухтомных "Записок об Анне Ахматовой", принадлежащих перу Лидии Чуковской.

Москва, 29.3.1989

Лев ЛОСЕВ

1. В моем пантеоне, т. е. среди поэтических небожителей, она занимает первое место по алфавиту: Ахматова, Лермонтов, Мандельштам, Некрасов, Пастернак, Пушкин, Фет, Цветаева.

2-3. Не могу назвать ни любимого периода, ни любимого стихотворения. Со смертью поэта его работа превращается в единый текст. В центре, конечно, "Поэма без героя" — живой загадочный словесный организм, то приоткрывающий одну из своих тайн, то вновь непрístupный.

Но есть в едином ахматовском тексте и уязвимые места. "Не с теми я, кто бросил землю..." — и на этом стихотворении есть отпечаток ахматовской гениальности, но именно оно, а не со стиснутыми зубами изготовленные сталинские оды, кажется мне проявлением минутной, редкой для Ахматовой, душевной слабости, попыткой ощутить хоть какую-то почву под ногами. "Мы ни единого удара / Не отклонили от себя..." — странный предмет гордости.

Но история улыбнулась Ахматовой и сыграла прелестную шутку с этой вещью — ее на все лады цитируют, расхваливают как якобы пример ахматовской лояльности по отношению к советской власти именно те, кто в стихотворении назван "врагами". Несколько затушеванный нелогичностью стихотворения в целом, смысл высказанного в начале упрека прост. Видимо, памятуя о разговорах с Ахматовой на эту тему, его в сниженной форме удачно выразил Бродский. Когда некто с пошловатым умилением рассуждал о белогвардейской эмиграции: "Ну, те-то, по

крайней мере, отступали с оружием в руках..." — Бродский сказал: "В том-то и беда, с оружием в руках надо не отступать, а наступать".

4. То, к чему только стремились Блок, Пастернак, Мандельштам, присутствует в ахматовской лирике органически — ощущение истории. Интимное пространство, в котором живет ее лирическая персона, — это христианством творимая история (*Anno Domini!*).

На Ахматову никто не похож, учеников и спутников у нее нет, потому что такого рода "стилеобразующий фактор" нельзя позаимствовать. Как и все великие поэты, она окружена кольцом пустоты, за которым теснятся толпы подражателей.

Все же, школа Ахматовой есть, если говорить не о поэтике-стиле, а о поэтике-философии. Краеугольный камень "Поэмы без героя", как и всей поэзии Ахматовой, — "Как в прошедшем грядущее зреет, / Так в грядущем прошлое тлеет...". Есть пламя от этой свечи в стихах современных поэтов. Например, Бродского и Кублановского. Можно сказать, что у первого это больше "в прошедшем грядущее", а у второго "в грядущем прошлое".

5. Многое у Ахматовой меня научили понимать работы Жирмунского, Эйхенбаума, Топорова, Верхейла (называю лишь несколько имен). Лучший сжатый очерк творчества Ахматовой принадлежит Бродскому. Он входит в книгу "Less than One" ("Меньше самого себя") и называется "The keening Muse" (Шишков, прости, не знаю, как перевести!).

Hanover, 20.3.1989

Шимон МАРКИШ

1. Ахматова стоит в первом ряду моих, т. е. совершенно необходимых мне поэтов, рядом с Мандельштамом и Ходасевичем.

2. Самые любимые стихи (боюсь, не в строго хронологическом порядке): "Рахиль" и "Лотова жена" из библейского цикла, "Новогодняя баллада", "Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь...", "Я знаю: с места не сдвинуться...", "С новым годом. С новым горем...", "Что нам разлука? Лихая забава...", "Всем обещаньям вопреки..." и одно стихотворение из "Реквиема" — "К смерти".

3. Как видно из списка самого любимого, у меня нет предпочтения к какому-то одному периоду.

4. На этот вопрос ответить не могу.

5. С "ахматовианой" знаком недостаточно, но думаю, что лучший (в смысле: самый адекватный) образ не только Ахматовой-личности, но и Ахматовой-поэта возникает из записок Лидии Корнеевны Чуковской.

Женева

Зара МИНЦ

1. Очень важное; такое же, как О. Мандельштам.

2. Одного стихотворения выделить не могу. Из сборников ранних — "Anno Domini" (из стихотворений, пожалуй, "Когда в тоске самоубийства..."). Из позднего — "Поэма без героя", "Реквием" (из стихотворений — "Тихо льется тихий Дон..."). И очень многое другое.

3. Конец 1930–40-е гг. — за поэтическую зрелость, понимание, бескомпромиссную смелость.

4. "Женский язык" ("Я научила женщин говорить"); при том, что понятие "женского" все время расширялось — до языка Матери, всеобщей скорби и совести.

5. Недоброво; Б. М. Эйхенбаум, В. В. Виноградов, В. М. Жирмунский.

ОБЩЕО

13.5.1989. München

Олеся НИКОЛАЕВА

1. По степени значимости и моей личной сердечной привязанности, среди поэтов XX века Ахматова существует после Блока, Мандельштама, Пастернака и Ходасевича. Следом — горячо любимый Анненский и Цветаева.

2. Из стихов Ахматовой мне трудно было бы выделить какое-либо одно, самое любимое: вся их ткань однородна и благородна. Мне легче сказать, какие ее стихи я не люблю — весь библейский цикл. Как ни парадоксально, как раз в нем, мне кажется, погибает то "никому, никому неизвестное, но от века желанное нам", которым овевана Ахматовская муза.

3. Раннюю Ахматову предпочитаю за безупречную чистоту голоса; позднюю Ахматову предпочитаю ранней за образцовое единство дыхания и слова; всю Ахматову люблю за дух аристократизма, которому она, кажется, ни в чем не изменила.

4. Словами Мандельштама из его "Заметок о поэзии" о том, что поэтика Ахматовой — это "паркетное столпничество".

5. Когда имеешь с поэтом свои личные экзистенциальные отношения, начинает казаться, что именно ты-то и написал бы о нем "лучше всех". А так — наверное, М. Кузмин в предисловии к "Вечеру".

Москва

Сергей СТРАТАНОВСКИЙ

1. В слове "пантеон" есть нечто холодное и мертвящее. Поэты — не боги, но собеседники человека, помогающие ему жить. Ахматова мне именно помогает жить, так же как и ее великие современники: Мандельштам, Пастернак, Цветаева. Кто из них "выше" — я не знаю, да мне это и не важно.

2. Я люблю прежде всего те стихи Ахматовой, которые представляются мне как бы сгустками именно трагического опыта: "Я пью за разоренный дом", "Стрелецкая луна, Замоскворечье, ночь", "С новым годом, с новым горем" — таких стихотворений в пореволюционную пору много, всех и не перечислишь. В этих стихах "гармоническая точность" просветляет содержащуюся в них душевную боль, такой эффект я полагаю высшим достижением лирического искусства.

3. Предпочсть какой-либо период мне трудно, тем более, что у Ахматовой границы между ними размыты. Размыты в том смысле, что не было резкого перелома поэтики. Но вместе с тем: "Мне подменили жизнь. В другое русло / Мимо другого потекла она", — это не только о жизни, но и о поэзии тоже, вернее о ее главной теме. Невозможно вообразить, как бы "текло" Ахматовское слово в прежнем "русле", но в новом — так же как и поэзия Мандельштама — в своем трагизме оно значительно и прекрасно вдвойне.

4. В нескольких строчках? Вряд ли это возможно. Скажу только, что **п р е е м с т в е н н о с т ь** Ахматовой от всей прежней русской поэзии всеобъемлюща.

5. В свое время на меня большое впечатление произвела работа Б. М. Эйхенбаума "Анна Ахматова. Опыт анализа" (1923 г.) и статья В. М. Жирмунского "Преодолевшие символизм".

Ленинград, 20.3.1989

Никита СТРУВЕ

1. Первыми идут Мандельштам и Ахматова, следом, но близко, Анненский и Блок, чуть поодаль Цветаева, Ходасевич, Пастернак.

2. Из так называемой "любовной" лирики — "Вечером" (1913), где бессмертны строки

Свежо и остро пахли морем
На блюде устрицы во льду.

"По твердому гребню сугроба" (1917), под конец жизни "Не на листопадном асфальте". Из так называемой историософско-гражданской лирики: "Молитва" (1915), "Все расхищено, предано, продано" (1921), "Приговор" и т. д. и т. д. Особенность Ахматовой — у нее нет — или почти нет — слабых стихов.

3. Пожалуй, "Белая стая", в которой свежесть чувств спорит с голосом отречения; 40-й год, когда Ахматова как бы с башни глядит, и, наконец, предсмертное озарение конца 50-х — начала 60-х годов.

4. Ахматова о себе сказала: "Я говорю сейчас словами теми, что только раз рождаются в душе". Срашенность слова и глубинных слоев души, сочетание душевной бездонности с гармонией и мерой. Самоочевидность поэтического слова, лучшим доказательством чего служит тот факт, что структуралистам у Ахматовой нечем поживиться.

5. Безусловно Недоброво, понявший ее всю. Из "эккерманов" А. Найман, сумевший передать высокий, веселый ахматовский юмор, прекрасно дополняет Л. Чуковскую, необычайно содержательную, но слишком сурово серьезную.

Париж

1. Мне трудно ответить на вопрос — "какое место занимает Ахматова" в моем "поэтическом пантеоне". Во-первых, трудно вообще установить — даже для самого себя — некую литературную табель о рангах: она всегда будет не только весьма условной и зыбкой, но и весьма зависящей от минутного настроения: сегодня выше оценивается одно, а завтра совсем другое. Во-вторых, скажем, в русской поэзии для меня Ахматова с ее сдержанным трагизмом неизмеримо выше многословной и во многом настырной Цветаевой (называю лишь поэтов), а в прозе Цветаева несравненно выше суховато-рассудочной Ахматовой, и до педантизма дотошные пушкинские штудии Ахматовой нельзя даже сравнивать с сочным и плодоносящим "Моим Пушкиным" Цветаевой.. Во-третьих, я в искусстве многолюб, и потому и на первый, и на второй вопросы анкеты отвечать могу лишь более чем субъективно: с точки зрения моего сегодня. А ведь для разных возрастов Ахматова ценна и близка своими стихами разных периодов ее творчества: и для юных Ахматова "Четок" и "Подорожника", может стать, ближе и драгоценнее, чем Ахматова "Поэмы без героя". Во всяком случае, для меня Ахматова — одна из лучших восьми-десяти поэтов нашего века (Сологуб, Анненский, Блок, Мандельштам, Пастернак, Клюев, Ахматова, Заболоцкий "Столбцов" и "Торжества земледелия"; может быть, Цветаева и Максимилиан Волошин коктельского цикла).

2. Опять-таки, мне очень трудно сказать, — какое стихотворение Ахматовой я больше всего ценю и считаю лучшим. Больше всего, если уж выбирать, для меня дороги "Новогодняя баллада" ("И месяц, скучая в облачной мгле"), Первая Северная элегия (Предьстория) и, конечно, "Поэма без героя". Но если — по традиции анкет — назвать одно произведение, то назову первую часть "Поэмы без героя". Не люблю ахматовский "Реквием": мне кажется отдает несколько недостойной сублимацией произведение,

старающееся скорбь матери и жены преодолеть стихотворной патетикой.

3. Какой период творчества Ахматовой я предпочитаю? Творчество Ахматовой, начиная с ее шестой книги — "Ива", или, по позднему названию, "Тростник". Почему? Не только потому, что это — наиболее зрелый и глубокий по предельной насыщенности и мыслью, и страстностью — при предельной при этом лаконичности и внешней сдержанности — период ее творчества. А и потому, конечно, что этот период ахматовского творчества близок и моему нынешнему возрасту.

4. Как в нескольких строчках я определил бы свойства ахматовской поэтики? — Глубина и многообразие — без всяческой зауми. Ум. Страстность — при этом не дающие себе расплескаться в настырной "исповедальности": это мощная пружина, заключенная в стальной футляр. Непосредственность и простота, не как нечто п е р в и ч н о е, а как результат громадной культуры. Отсутствие назойливого поиска во что бы то ни стало "новой формы" выразительности: не в заранее определенную ф о р м у втискивается творчество, а творчество и его содержание определяет форму. Отсюда и то, что традиционность поэтики Ахматовой не делает ее затхлою: она всегда свежа.

5. Думаю, что об Ахматовой лучше всего писали Мандельштам и Артур Лурье, Чалский и Жирмунский.

20.3.1989





Анна Ахматова. Рисунок К. Петрова-Водкина. 1922 г.

Анна АХМАТОВА

ИЗ МАЛОИЗВЕСТНЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ

Справа Днепр, а слева клены,
Высь небес тепла.
В день прохладный и зеленый
Я сюда пришла.

Без котомки, без ребенка,
Даже без клюки,
Был со мной лишь голос звонкий
Ласковой тоски.

Не спеша летали пчелки
По большим цветам,
И дивились богомолки
Синим куполам.

1916¹

¹ Это стихотворение, подаренное П. Лукницкому в виде автографа, впервые напечатано в брошюре: В. Лукницкая, Из двух тысяч встреч, Библиотека Огонек, М. 1987. Не в один из сборников оно так и не вошло. В автографе стоит как вторая часть двухстроччатого цикла, посвященного Н. В. Недоброво: первое стихотворение, "И в Киевском храме Премудрости Бога", начиная с издания "Библиотеки поэта" (1967), печаталось во многих сборниках.

В городе райского ключаря,
В городе мертвого царя
Майские зори красны и желты,
Церкви белы, высоки мосты.
И в темном саду между старых лип
Мачт корабельных слышится скрип.
А за окошком моим река —
Никто не знает, как глубока.
Я вольно выбрала дивный град,
Жаркое сердце зимних отрад,
И все мне казалось, что в раю
Я песню последнюю пою.

1917²

² Из архива П. Лукницкого. Отрывок из недописанной поэмы 1917 г. Напечатано в книге: В. Лукницкая, Перед тобой земля, Л. 1988.

Тому прошло семь лет... Прославленный Октябрь,
Как листья желтые, сметал людские жизни.³
А друга моего последний мчал корабль
От страшных берегов пылающей отчизны.

1923⁴

Я в этой церкви слушала Канон
Андрея Критского в день строгий и печальный.
И с той поры великопостный звон
Все семь недель до полночи пасхальной
Сливался с беспорядочной стрельбой.
Прошались все друг с другом на минуту,
Чтоб никогда не возвратиться...

(1920-е гг.)⁴

³ Вариант: Как свечи на ветру, сметал людские жизни.

⁴ Стихотворения опубликованы впервые М. Кралиным в газете "Ленинградская правда", 29.1.1989, а затем перепечатаны в "Русской мысли" 17.2.1989.

Прокаженный молился...
В. Брюсов

То, что я делаю, способен делать каждый.
Я не тонул во льдах, не изнывал от жажды
И с горстью храбрецов не брал финляндский дот
И в бурю не спасал какой-то пароход.
Ложиться спать, вставать, съесть обед убогий
И даже посидеть на камне у дороги
И даже, повстречав падучую звезду
Иль серых облаков знакомую гряду,
Им улыбнуться вдруг, поди куда как трудно,
Тем более дивлюсь своей судьбине чудной
И, привыкая к ней, привыкнуть не могу,
Как к неотступному и зоркому врагу...
Затем что из двухсот советских миллионов,
Живущих в благодати отеческих законов,
Найдется ль кто-нибудь, кто свой горчайший час
На мой бы променял — я спрашиваю вас?
А не откинул бы с улыбкою сердитой
Мое прозвание, как корень ядовитый.
О, Господи! возри на легкий подвиг мой
И с миром отпусти свершившего домой.

1941 г. Январь.
Фонтанный Дом.

Не в таинственную беседу
Поведет этот пламенный мост:
Одного в золоченую клетку,
А другую на красный помост.

1965

И клялись они Серпом и Молотом
Пред твоим страдальческим концом:
"За предательство мы платим золотом,
А за песни платим мы свинцом".

(1960-е гг.)

АХМАТОВА И ГУМИЛЕВ

Из записей П. Н. Лукницкого

Павел Николаевич Лукницкий (1902-1973) писатель, путешественник, исследователь. С 1924 по 1928 г., в ходе работы над биографией Н. Гумилева, стал первым Эккерманом Ахматовой. Дневниковые записи его 2000 встреч напечатаны в извлечениях в разных изданиях, полнее всего в книге В. Лукницкой о своем муже "Перед тобой земля", Ленинград. Приводимые ниже записи апреля 1925 г. печатаются целиком впервые.

19.4.1925. Воскресенье. 1-й день Пасхи

◆ С поездом 11²⁰ еду в Царское Село к А. Ахматовой. Застаю у А. А. Над. Як. Мандельштам. А.А. лежит, но сегодня, только сегодня (всю эту неделю были сильные боли) болей нет. Температура с утра 36,9.

Вчера А.А. вставала и была в церкви — дважды — на Двенадцать Евангелий ходила, и к заутрени ходила с Над. Як. и Ос. Эм. Мандельштамами.

А. Е. Пунина прописала А.А. лекарство, которое ей помогает и уничтожает боли. Это *valerian 8%*, который она принимает по столовой ложке, через каждые 3 часа. Кроме него, А. А. принимает *codein* (порошок).

(Температура сегодня такая: утром — 36,9, в 3 часа дня 37,1; в 7 ч. — 37,3; в 9 ч. веч. — 37,5). Сегодня к А. А. обещали приехать сестры Данько, А. А. их ждет, но они так и не приехали.

Над. Яковлевна минут через 15 после моего приезда уходит домой (в пансион Карпова) — завтракать, и до 7 часов вечера я у А. А. один.

А. А. сообщает, что у нее был Сологуб.

Я: "Не сердитый был?"

А. А.: "Недобрый был!" — отвечает раздумчиво.

А. А. говорит, что Сологуб ее упрекнул: "Вы все бегаете!" А. А.: "А как я бегаю? Лежу все время!"

Мандельштамы вчера утром переехали из этого пансиона — неожиданно... Теперь поместились в пансионе Карпова. (О. Э. мне рассказал после, когда я был у него, причину переезда: "Нас попросту выгнали"... Хозяину пансиона нужна была комната для новых жильцов, он знал, что Мандельштамы все равно скоро уедут, и пришел к ним требовать денег вперед, тогда как все деньги, до минуты этого разговора, были ему уплачены. Требование было сделано в такой грубой форме, что Мандельштам решил немедленно переехать).

А. А. говорит, что Н. Н. Пунин был очень расстроен тем, что Мандельштамы переехали, так как А. А. в пансионе осталась одна, без глаза, который бы присматривал за ней, и заботился о ней...

Я привез А. А. кулич, пасху и вино. К моему огорчению, А. А. пасхи нельзя — нельзя никаких молочных продуктов — начинаются сильные боли, если она что-нибудь такое съест. А. А. пасхи хочется попробовать, и она жалеет, что ей нельзя.

На ночном столике у А. А. белая, на высоком стебле роза, в цветочном горшке. Ей эту розу подарили — А. А. сказала — дама. Я думаю — Н. Я. Мандельштам, потому что у той тоже роза есть.

Я спрашиваю А. А., что ей можно есть?

А. А. отвечает, что ничего определенно запрещенного нет, но она по опыту знает, что ей нельзя есть.

◆ Я говорю, что был у Лозинского в Публ. библиотеке и что Лозинский сказал мне, будто бы он ничего не знает о болезни А. А.

А. А. улыбнулась: "Скрывает!.. Ему стыдненько немножко... Наташа (Рыкова) не могла не сказать. Я карточку через нее передавала..." (А. А. послала, по просьбе Лозинского, и через него, свою фотографич. карточку — из книжки Эйхенбаума — за границу какой-то девочке).

◇ Я сижу у постели. Спрашиваю:
"Расскажите мне все подробно: что вы делаете, что вы думаете?"

А. А. "Что? — Ничего: лежу и больно".

Ответ был робким и грустным.

А. А. несколько раз в течение сегодняшнего дня повторила: "Очень плохо было все это время!" Я добиваюсь у нее, известна ли доподлинно причина ее болей... А. А. отвечает, что в конце концов неизвестна, но во всяком случае — туберкулезная.

Кто-то высказал А. А. предположение: не туберкулез ли в кишках у нее начинается?

А. А. сообщает мне это, а я спрашиваю: "Что это?"...

А. А.: "Ничего! Бывает туберкулез в легких, в мозгу, так — и в кишках". А. А. тихо добавила: "Только не поправляются от этого..."

◇ А. А. по моей просьбе подписывает мне свою книжку — "У самого моря":

[Павлу Николаевичу

Лукницкому

на Пасху 1925

Ахматова

18 апр. Царское Село]

Когда надписывала, медлила; и почти про себя повторила: "Не знаю, что написать..." Дата ошибочна. На самом деле — было 19.4.

◇ У А. А. челка стала длинной. А. А.: "Надо подстричь — ниже бровей уже". Расчесывает челку...

◇ А. А. — о Н. Я. Мандельштам: "Надежда Яковлевна очень добра ко мне." (Приходит, ухаживает, заботится).

◇ А. А. говорит, что с удовольствием перечитала бы "Книгу Отражений" И. Анненского. Я обещал ей привезти эту книгу.

◇ Все время до 7 часов — говорим о Николае Степановиче, главным образом:

А. А.: "Он Гете совсем не чувствовал и не понимал; оттого что немецкого языка не знал, отчасти, оттого, что германская культура была ему совсем чужая. Я помню, как "Фауста" читал, в 12-м году — совсем без пафоса читал". (В 12-м году — перед отъездом в Италию).

◇ Об отце А. А. и об Николае Степановиче:

А. А.: "Папа трогательно говорил мне: "Анечка, ты скажи, чтоб он переменял эту строчку: "Над пасмурным морем следившие румб". (Он говорил, что это неправильное выражение, что так нельзя сказать: следившие румб.

Отец А. А. хорошо знал мореходство и термины его.

А. А. говорит, что ее папа любил Николая Степановича, когда Николай Степанович уже был мужем А. А., когда они познакомились ближе.

А. А.: "А когда Николай Степанович был гимназистом, папа отрицательно к нему относился" (по тем же причинам, по которым царские селы его не любили и относились к нему с опаской — считали его декадентом...)

◇ Я говорю, вспоминая сообщения Зубовой, что благородство Николая Степановича и тут видно: он сам курил опиум, старался забыться, а Зубову в то же время пытался отучить от курения опиума, доказывая ей, что это может погубить человека.

А. А. по этому поводу сказала, что при ней Николай Степанович никогда, ни разу даже не упоминал ни об опиуме, ни о прочих таких снадобьях и что если б А. А. сделала что-нибудь такое — Николай Степанович немедленно и навсегда рассорился бы с нею. А между тем А. А. уверена, что еще когда Николай Степанович был с нею, он прибегал к этим снадобьям. А. А. уверена, что Таня Адамович нюхала эфир и что "Путешествие в страну эфира" относится к Тане Адамович.

◇ У А. А. вчера очень долго сидел О. Мандельштам, много говорил с ней, вспоминал даже и то, что было 10 лет назад...

Я: "А что было 10 лет назад?"

А. А. — улыбнулась: "Влюблен был..."

А. А. вспоминает, что, между прочим, О. Мандельштам вчера сказал такую фразу о Николае Степановиче: что за 12 лет знакомства и дружбы у него с Николаем Степановичем один только раз был разговор в биографическом плане, когда О. Э. пришел к Николаю Степановичу — (О. М. говорит, что это было 1 января 1921 г.) и сказал: "Мы оба обмануты" (О. Арбениной) — и оба они захохотали...

Эта фраза — доказательство того, как мало Николай Степанович говорил о себе, как не любил открывать себя даже знакомым и друзьям.

Когда я сказал А. А., что залишу это, А. А. ответила: "Это обязательно запишите, чтоб потом, когда какой-нибудь Голлербах будет говорить, что Николай Степанович с ним откровенничал..." (не слишком верить такому Голлербаху).

А. А. перебирает свои листки с записями о Николае Степановиче. После предложения Николая Степановича в 1905 г. и последовавшего за ним отказа А. А., они 1 1/2 года не виделись и не переписывались (А. А. уехала вскоре в Крым, а Николай Степанович в 6-м году — в Париж). Осенью 1906 г. А. А. послала письмо Николаю Степановичу — и с этого письма началась переписка — до 1908 г. В 1908 г. в Севастополе Николай Степанович получил окончательный отказ...

О стихотв. "Сон Адама" А. А. сказала: "Что-то такое от Виньи... Он очень увлекался Виньи. Очень любил "La colère de Samson", — (я считала, что это очень скучно).

У А. А. на руке кольцо, простое, на нем фраза: "Преподобный отец Сергей, моли Бога о нас".

А. А. взяла свои "Жемчуга" и говорила со мной о стихах. Сказала, что "Поединок" по-видимому посвящается Черубине де Габриак.

О биографических чертах в "Отравл. Тунике", в "Гондле", в "Черном Дике", в "Принцессе Зара", в "Романт. Цветах" и в "Пути конквистадоров".

Некоторые из замечаний А. А. по поводу "Жемчугов" и "Романт. Цветов" я, вернувшись домой, отметил на своем экземпляре.

А. А. посвящены, кроме других: "Озеро Чад" ("Сегодня особенно грустен..."), "Ахилл и Одиссей" и "Я счастье разбил с торжеством святотатца".

Я читаю А. А. свои стихи; читаю стихотворение: "Оставь любви веретено..." Ругаю его сам, потому что мне стыдно его читать: оно совершенно не сделано.

А. А. говорит: "Хороший русский язык"... Я начинаю ругать стихотворение. А. А. перебивает меня: "Нет, вы слушайте, что я говорю... Хороший русский язык — это уже очень много... Теперь так мало кто владеет им!.."

В 6 1/2 ч. приехал Пунин, сидим вместе, а через 1/2 часа, в 7 ч., я иду к Мандельштамам.

О. Э. сидит за столом, работает. Переводит что-то. Когда я пришел, он отложил работу. Разговариваем. Над. Як. чувствует себя хорошо.

Мандельштам рассказывает причину, почему они переехали. Говорит, что собирается в среду-в четверг уехать в Петербург совсем. Мандельштам грустен и мрачен. Я говорю ему, что у него, вероятно, жар. — "Потому что большие глаза и горит лицо". Советую ему смерить температуру. Температуру он мерит. Оказывается — 36,9.

Когда приехал Пунин, между А. А., мной и Пуниным был разговор о том, что А. А. следует переехать в Петербург, поместиться в клинике Ланге, потому что здесь никакого ухода нет; потому что погода плохая; потому что у А. А. боли; и по всяким другим причинам. Н. Н. Пунин думает даже, что А. А. надо поехать завтра же.

У Мандельштама я говорю об этом. О. Э. тоже с этим согласен, и на эту тему я говорю с Мандельштамами.

Просидев у Мандельштамов минут 15, я спрашиваю, пойдут ли они к А. А.?

О. Э.: "Обязательно..."

Все вместе идем к А. А.

А. А. встает с постели, надевает шубу и садится к столу. Я размалываю кофе, Н. Я. заваривает его, и мы — пьем кофе, с куличами. А. А. пасху нельзя, она немножко досадует на это. До кофе еще я, Мандельштам и Пунин сидели на диване втроем. Царило молчание полное и безутешное. Вдруг О. Э., с самых задворков тишины, громко произнес — про нас: "Как фамильный портрет..." Это было неожиданно и смешно.

О. Э. сказал А. А.: "Нет на вас Николая Николаевича" (Пунина) — когда А. А. делала что-то незаконное: не то слишком долго стояла в церкви, до утомления, не то что-то другое... не знаю...

Пунин произнес строку:

"Горьмя горит душа..."

О. Э. спросил: "Чья"...

Пунин: "Пастернака..."

О. Э.: "Да, пожалуй, Пастернак может так сказать..."

Разговор о том, кто еще мог бы так сказать, и А. А. и О. Э. соглашались, что до Анненского так никто бы не сказал.

О. Э.: "Разве Ал. Григорьев..."

А. А.: "Именно Анненский мог бы так сказать..." А. А. считает, что эта строка могла бы быть у Анненского в стихотворении:

Под яблонькой, под вишнею

Всю ночь горят огни, —

Бывало, выпьешь лишнее,

А только ни-ни-ни...

эту строфу А. А. произносит.

□ Пунин про кого-то сказал дурно.

А. А. упрекнула его: "Да не говорите вы так плохо о людях!..."

□ А. А. решила остаться в пансионе еще на несколько дней.

Пунин собирался ехать вместе со мной, с последним поездом, но в конце концов остался — А. А. сказала.

Я в 9 часов ухожу, вместе с Мандельштамами. Они идут к себе, а я — домой.

С поездом 9³⁷ возвращаюсь в Петербург.

□ В 11 ч. вечера телефонный звонок из Царского Села — разговаривал с Пуниным и с А. А.

Забыл еще записать: в 8 ч. приблизительно А. А. вызвали к телефону. А. А. возвращается, говорит, что ей звонил Замятин, радостный — потому что дело А. Толстого и П. Щеголева с "Заговором Императрицы" выиграно ими. Суд постановил отказать в иске театру; по этому случаю сегодня — пьянство...

А. А. передает слова Замятина: "Вы незримо будете с нами..."

А. А. смеется: "Хорошее представление обо мне: там, где пьют, там я должна быть!..."

□ А. А. много говорит о своих отношениях с Николаем Степановичем. Из этих рассказов записываю: На творчестве Николая Степановича сильно сказались некоторые биографические особенности.

Так, то, что он признавал только девушек и совершенно не мог что-нибудь чувствовать к женщине, — очень определенно сказывается в его творчестве: у него всюду — девушка — чистая девушка. Это его мания. А. А. была очень упорна — Николай Степанович добивался ее 4, даже 5 лет. И при такой его мании к девушкам — эта любовь становилась еще больше, если принять во внимание то, что Николай Степанович добивался А. А. так, зная, что он для нее будет уже не первым мужчиной, что А. А. не невинна. Это было так: в 1905 г. Николай Степанович сделал А. А. предложение и получил отказ. Вскоре после этого они расстались, не виделись и в течение 1 1/2 лет даже не переписывались. (А. А. потом, в 1905 г., уехала на год в Крым, а Николай Степанович уехал в Париж). 1 1/2 года — не переписывались — А. А. как-то высчитала этот срок. Осенью 1906 г. А. А. почему-то решила написать письмо Николаю Степановичу. Написала и отправила. Это письмо не заключало в себе решительно ничего особенного, а Николай Степанович

(так, значит, помнил о ней все время) — ответил на это письмо предложением. С этого момента началась переписка. Николай Степанович писал, посылал книги и т. д.

(А до этого, не переписываясь с А. А., он все-таки знал о ее здоровье и о том, как она живет, потому что переписывался с братом А. А. — Андр. Андр. Так, он прислал ему "Путь Конквистадоров", когда эта книга вышла. (А. А. "Пути Конквистадоров" он не выслал).

Весной 1907 г. Николай Степанович приехал в Киев, а летом 1907 г. на дачу Шмидта. На даче Шмидта были разговоры, из которых Николай Степанович узнал, что А. А. не невинна. Боль от этого довела Николая Степановича до попытки самоубийства в Париже — переписка продолжалась, Николай Степанович продолжал просить руки А. А. Получал несколько раз согласие, но потом А. А. снова отказывалась, это продолжалось до 1908 г., когда Николай Степанович, приехав к А. А. получил окончательный отказ.

Вернули друг другу подарки. Николай Степанович вернул А. А. ее письма... А. А., возвращая все охотно, отказалась вернуть Николаю Степановичу чадру, подаренную ей Николаем Степановичем. Николай Степанович говорил: "Не отдавайте мне браслеты, не отдавайте /остального/, только чадру верните..."

Чадру он хотел получить назад, потому что А. А. ее носила, потому что это было бы самой яркой памятью о ней.

А. А.: "А я сказала, что она изношена, что я не отдам ее... Подумайте, как я была дерзка, — не отдала". (А чадра — м. б. А. А. назвала ее не чадрой, а иначе, я не помню, — была действительно изношена).

В одном из "посмертных" писем Николай Степанович прислал свою фотопластинку, и на ней надписана была строфа из Бодлера (сказала мне ее).

Николай Степанович, ответив на письмо А. А. осенью 1906 г. — предложением (на которое, кажется, А. А. дала в следующем письме согласие), написал Анне Ивановне и Нине Эразмовне, что он хочет жениться на А. А.

А. А.: "Мама отрицает это, но она забыла".

А. А., сообщая все это, и умоляя меня ни в каком случае этого не записывать, сказала, что все это — рассказывает, только чтоб я сам мог уяснить себе кое-что в творчестве.

Откровенность А. А. действительно беспримерна. Я все это записываю — не все, конечно, далеко не все — и совесть меня мучает. Но если бы этого всего я не записал — я бы и не запомнил ничего.

В 1918 г. Николай Степанович вернулся, остановился в меблированных комнатах "Ира". Была там до утра. Ушла к Срезневским. Потом, когда Николай Степанович пришел к Срезневским, А. А. провела его в отдельную комнату и сказала: "Дай мне развод..." Он страшно побледнел и сказал: "Пожалуйста..." Не просил ни остаться, не расспрашивал даже. Спросил только: "Ты выйдешь замуж?", "Ты любишь?" А. А. ответила: "Да". "Кто же он?" — "Шилейко". Николай Степанович не поверил: "Не может быть. Ты скрываешь, я не верю, что это Шилейко".

Пристрастие Николая Степановича к девушкам — не природенная ненормальность (пример — хотя бы Де Орвиц Занетти), это из-за А. А. так стало. Николай Степанович такую цену придает невинности! Эта горечь на всю жизнь осталась в Николае Степановиче. Во всех его произведениях отразилась — конечно, совершенно бессознательно для него самого. "Отравленная Туника". — Фраза в 1-й теме Юстиниана, то, что говорит Николай Степанович об Александрийской блуднице — в "Отравл. Тунике". В "Гондле" — Лера — Лаик — тоже — всюду тема потерянной невесты, и другие темы того же порядка... Характерно: в 18 году, написав "Отравленную Тунику", Николай Степанович принес ее А. А., специально, чтоб она прочла.

Вскоре после этого (после разговора о разводе — В. Л.) А. А. с Николаем Степановичем уехали в Бежецк... В Бежецке, по-видимому, уже догадывались, потому что перед первой ночью А. И. спросила: "Можно вас в одной комнате положить?" Этот вопрос был странным — сколько раз до этого А. А. и Николай Степанович приезжали вместе, спали в одной комнате, и никогда никто их не думал спрашивать...

А. И. получила ответ: "Конечно, можно"...

Я: "А после объяснения у Срезневских, как держался с вами Николай Степанович?"

А. А.: "Все это время он очень выдержан был... Иногда ничего не показывал, иногда сердился, но всегда это было в очень сдержанных формах. Расстроен, конечно, был очень".

А. А. говорит, что только раз он заговорил об этом: когда они сидели в комнате, а Лева разбирал перед ними игрушки, они смотрели на Лева. Николай Степанович внезапно поцеловал руку А. А. и грустно сказал ей: "Зачем ты все это выдумала?" (Эта фраза — точно передана мной).

О том, о первом, кто узнал А. А., Николай Степанович помнил по-видимому всю жизнь, потому что уже после развода с А. А. он спросил ее, "кто был первый и когда это было?!.."

Я: "Вы сказали ему?"

А. А. (тихо): "Сказала..."

А. А. говорит про лето 1918 г.: "Очень тяжелое было лето... Когда я с Шилейко расставалась — так легко и радостно было, как бывает, когда сходишься с человеком, а не расходишься. А когда с Николаем Степановичем расставалась — очень тяжело было. Вероятно потому, что перед Шилейкой я была совершенно права, а перед Николаем Степановичем чувствовала вину.

А. А. говорит, что много горя причинила Николаю Степановичу; считает, что она отчасти виновата в его гибели. (Нет, не гибели, А. А. как-то иначе сказала, и надо другое слово, но сейчас не могу его найти — смысл "нравственной").

А. А. говорит, что Срезневская ей передавала такие слова Николая Степановича про нее: "Она все-таки не разбила мою жизнь". А. А. сомневается в том, что Срезневская это не фантазирует...

Я: "Николай Степанович слишком мужествен был, чтоб говорить Срезневской так..."

А. А.: "Да... Наверное Валя фантазирует!.." — и А. А. приводит в пример того, как мало о себе говорил Николай Степанович, — вчерашние слова Мандельштама...

Я говорю, что все, что говорит А. А., только подтверждает мое мнение — то, что Николай Степанович до конца жизни любил А. А., а на А. Н. Энгельгардт женился исключительно из самолюбия.

А. А. сказала, что во время объяснения у Срезневских Николай Степанович сказал: "Значит я один остаюсь?.. Я не останусь один: Теперь меня женят!"

А. А. составила донжуанский список Николая Степановича. Показывает мне.

До последних лет — у Николая Степановича было много увлечений — но не больше в среднем, чем по одному на год... А в последние годы — женских имен — тома. И Николай Степанович никого не любил в последние годы.

В последние годы — студий, "Звучащих раковин", институтов, — у Николая Степановича целый гарем девушек был... И ни одну из них Николай Степанович не любил. И были только девушки — женщин не было.

Чем это объяснить? Может быть среди других причин было и чувство некоторой безответственности, которым был напоен воздух 20-21 года...

А. А.: "Это мое упорство так подействовало... Подумайте: 4, а если считать с отказа в 5-м году — 5 лет! Кто к нему теперь проявлял упорство? Я не знаю никого... Или, может быть, светские барышни не так упорны?"

А. А. грустит о Николае Степановиче очень, и то, чему невольно была виной, рассказывает как бы в наказание себе.

А. А. рассказывает, что на даче Шмидта у нее была свинка, и лицо ее было до глаз закрыто — чтоб не видно было страшной опухоли... Николай Степанович просил ее открыть лицо, говоря: "Тогда я вас разлюблю!" А. А. открывала лицо, показывала.

А. А.: "Но он не переставал любить!.. Говорил только, что я похожа на Екатерину II".

Телефон:

А. А.: "Павел Николаевич! Николай Николаевич (Пунин) вас обидел очень сегодня, сейчас он будет с Вами говорить, просить у Вас извинений..."

Я — возражаю: "Анна Андреевна, зачем это. Это совсем не нужно!.. Я совершенно не обижен, я вполне понимаю, что Николай Николаевич сказал это, вовсе не желая обидеть меня... Мне просто неприятна такая постановка дела".

А. А., решительно: "Нет, Павел Николаевич! Он вас обидел и будет просить извинений. Я говорила с Мандельштамом по телефону, он также решил, что это нужно сделать... И я прошу Вас извинить и меня, это в моем доме произошло. Я передаю трубку Николаю Николаевичу".

Пунин просит прощения: "Это я по глупости, вы не обижайтесь!.. Я же знаю, что то, что вы делаете, очень нужно и ценно... Простите меня... Мы ведь будем с вами по-дружески..." — и т. д. ...

Этот случай еще раз подчеркнул мне благородство А. А., ее исключительное внимание к человеку, ее высокую тактичность в самых мелочах...

Совершенно откровенно сознаюсь, что на слова Пунина я с первого момента не обратил никакого внимания, ни о какой обиде не могло быть и речи. Какая может быть обида? Человек, поступая нетактично, чернит этим только самого себя. Поэтому я испытал только чувство неловкости за Пунина, и мне было жаль его, потому что я видел, как он искренно огорчился своим неудачным словом...

Я не знаю его, но мне кажется, что за грубоватой его внешностью скрывается хорошая сущность, и он мне как-то симпатичен, несмотря на ту, созданную уже совершенно другими причинами, от него не зависящими, — неприязнь к нему.

□ А. А. упомянула, что у Николая Степановича был роман с дочерью архит. Бенуа, но что это нужно держать в строгой тайне.

Ей посвящено стихотворение "Средневековье".

Для донжуанского списка, А. А. необходимо знать об Иде Наппельбаум. Я думаю, что было. А. А. не знает.

Я: "Когда мне теперь приехать?"

А. А.: "Неужели вам не скучно со мной, такой больной!"

□ Когда я, Мандельштам и Пунин сидели на диване, А. А. села в кресло перед зеркальным шкафом. Взглянув в зеркало, я поймал ее взгляд, обращенный на меня.

21.04.1925

А. А.: "Что мне с тобой теперь делать?"

А. А. говорит о своей "беспримерной откровенности" со мной...

О романе Мандельштама с О. А. Ваксель.

Я укоряю А. А. — зачем она заставила Пунина звонить мне и просить у меня извинений... А. А. очень серьезно, даже строго отвечает — что она в полчаса довела его до полного раскаяния, что при создавшемся положении единственное, что можно было сделать, — это чтоб он мне позвонил по телефону, что он должен был это сделать... А. А. вчера, после моего отъезда, очень разволновалась объяснением с Пуниным и плохо себя чувствовала.

□ О моих стихах — о стихотв. "Оставь любви веретено" — А. А. говорит: "Хорошее стихотворение".

26.04.1925

А. А. получила (перед отъездом в Царское Село) от Рыбакова 300 рублей в долг — на лечение...

□ Пунину предложена работа, за которую он 1500 рублей получит. Но Пунин еще не взялся за нее, и она лежит у него без движения.

□ А. А.: "Зара объясняется тем, что Николай Степанович думал, что ничего не было, а зачем сказала, что было..."

(А. А. в течение 4-х лет беспрестанно говорила Николаю Степановичу то — что "было", а потом — что "не было", все время...)

А. А.: "Это, конечно, самое худшее, что я могла делать!.."

В период, когда Николай Степанович думал, что "не было" — были написаны строки:

Пусть не запятнано ложе царицы,
Грешные к ней
прикасались мечты... (Одиссей).

А. А.: "И в "Гондле" тоже... это такая обида, которой ни один мужчина не может пережить!"

□ А. А., составив донжуанский список Николая Степановича, спрашивает о Нине Шишкиной, чтоб уяснить себе "технику последних лет" Николая Степановича...

А. А. говорит, что про "Четки" думают, что они В. П. Зубову посвящены.

А. А.: "А я с Зубовым даже знакома тогда не была", (т. е. почти не была знакома — м. б. и так сказала А. А.).

Я: "А кому?"

А. А. — серьезно: "Никому... Разным лицам есть, но Зубов тут совершенно ни при чем".

А. А. рассказывает, что увлечение Николая Степановича А. Губер происходило обычно в "Собаке"... А. А. хотела уезжать оттуда с последним поездом, а Николай Степанович решал оставаться до утра — до 7-часового поезда. Оставались обычно 5-6 человек. Сидели за столом...

А. А.: "Я поджимала губы и разливала чай, а Николай Степанович усиленно флиртовал с Губер..."

Когда Николай Степанович узнал, что Анреп увез кольцо А. А., он сказал ей полушутя: "Я тебе отрежу руку, а ты свези ее Анрепу — скажи: если вы кольцо не хотите отдавать, то вот вам рука к этому кольцу..."

Я показываю А. А. открытку, присланную мне Анной Николаевной Энгельгардт. Говорю, что я думал, что мне Нина Шишкина пишет — так похоже.

А. А. говорит: "Невыразительный почерк"...

Я: "Все женские почерки похожи..."

А. А.: "И мужские — литераторские: Брюсов, Блок, Лозинский и т. д. А уж почерк Николая Степановича!.. Ни на чей не похож..."

20.4.1925. Понедельник

Делаю визиты. Между прочим — захожу к Пунину. Он передает мне записку от А. А.:

"Милый Павел Николаевич, сегодня я получила письмо из Бежецка. Анна Ивановна пишет, что собрала целую пачку писем Николая Степановича. Шура просит меня узнать адрес Л. Микучич. Вы кажется этот адрес записали. Пожалуйста сообщите его Шуру.

И сегодня я не встану, температура очень низкая — оттого слабость.

До свидания.

Ахматова
Царское. 20 апр. 1925".

Пунин вернулся из Царского Села сегодня утром.

21.4.1925 Вторник

С поездом 11³⁰ еду в Царское Село. Застаю у А. А. Н. Я. Мандельштам. Привез А. А. лекарство (заходил также к Пунину за рецептом, и взял лекарство в аптеке).

Вчера у А. А. была Галя (А. Е. Пунина).

Вчера у А. А. были сильные боли, хотя температура и не особенно высокая была. Сегодня — болей нет. Температура — утром 36,9; днем — 37,1; в 7 ч. вечера — 37,3.

Сегодняшний день распределяется так: до часу дня у А. А. Н. Я. Мандельштам. От часу до 4-х — кроме меня никого. Часа в 3 А. А. вызывают по телефону — Эльга Каминская, просит разрешить прийти в 5 часов. А. А. не знала, что звонит Каминская, иначе не подошла бы к телефону. А тут ей пришлось дать согласие.

До 4-х я говорю с А. А. о Николае Степановиче — о "Заре", об "Ягуаре" — в стихотворении "Измена" и в IV песне "Открытия Америки", о "Романт. Цветах", о "Пути Конквистадоров" и т. д. ...

В 4 часа приходит Н. Я. Мандельштам и мы придумываем план быстрого избавления от Э. Каминской. План составлен: я с ее приходом уйду, Н. Я., когда Каминская постучит в дверь, выйдет и скажет Каминской, что состояние А. А. таково, что у нее нельзя быть больше 10 минут. Роль А. А. сводится к тому, чтоб лежать возможно смиреннее и быть почти безмолвной.

Эти предосторожности необходимы, потому что присутствие Э. Каминской доставляет А. А. минимум удовольствия, потому что Каминская совершенно ни с чем не считается и способна своими разговорами совершенно удручить.

Э. Каминская уже по телефону сказала А. А., что она едет за границу и придет к А. А. за "новым материалом" для выступлений.

А. А. очень не хочет давать Каминской стихотворений и сказала ей, что со времени "Anno Domini" она ничего не писала. Тем не менее ей пришлось обещать дать Каминской 2-3 стихотворения.

А. А.: "Ну, я ей дам одно..." — А. А. хочет отделаться стихотворением "Клевета", напечатанным в "Фениксе..."

Наконец, Каминская приходит. Все делается, как было решено. Я ухожу.

Иду к Вал. Кривичу, не застаю его дома, тогда иду на Малую БЗ. Управдом дает мне домовую книгу, но о Николае Степановиче нет ничего. Есть только одна запись, касающаяся приезда А. И. Гумилевой. Иду на чердак дома. В мусоре и грязи роюсь часа 1 1/2 - 2. Нахожу одно стихотворение Николая Степановича — "Твоих единственных в подлунном мире губ" (на обороте листка — рисунок) — и собираю целую пачку грязных, оборванных бумаг, не просматривая их внимательно. Грязный и пыльный, торжественно возвращаясь к А. А., предварительно захожу в ванную, моюсь...

Наконец вхожу к А. А. У нее Н. Я. Мандельштам. А. А. удивлена моим долгим отсутствием и называет меня "пропавшей грамотой"... Я торжественно вынимаю всю грязную пачку, завернутую в тоже грязный кусок обоевой бумаги. Говорю: "Это — с чердака..."

А. А. быстро приподнимается на постели, поспешно схватывает пачку, кладет ее на постель и начинает ее рассматривать — перебирает все.

Я прошу ее не пачкаться, говорю, что все это в таком ужасном виде...

А. А.: "Ничего!.. Этот нищий будет богатым..."

К моей печали, в этой пачке нет почти ничего интересного. Почти все эти бумаги — не имеют отношения к Николаю Степановичу и большую часть придется выкинуть.

А. А. находит письмо от ее отца к матери (1911 г.)... Оставляет его себе.

Затем я приношу А. А. воду, ставлю умыв. чашку на стул, и А. А. моет руки.

Рассказывают мне о посещении Каминской.

Каминская была отвратительна. Начала с того, что прочла рецензию о себе — глупо хвалебную, потом говорила, что у нее всюду такой успех! Потом сказала: "Я хочу ваш вечер устроить, потому что мне сказали, что ваши стихи будут иметь успех... Дайте мне материал".

По этому поводу А. А. шутит — что сказал бы Сологуб, если б Каминская ему прочитала рецензию о себе (А. А. говорит медленно, не допускающим возражения тоном, подражая речи Сологуба):

— "Это дурной тон читать о себе... Если б вы были настоящая артистка — вам бы не пришло в голову это сделать. Вы не настоящая артистка... Вы стоите на уровне окончившей среднее учебное заведение... Вот, вы знаете Пифагорову таблицу..." — (и т. д.).

А. А. при Каминской лежала совсем как умирающая, одеяло натянула до подбородка и руки заложила за голову...

Н. Я. смеется: чисто сделано было все...

А. А. тоже смеется, оправдываясь: "По-моему, я лучше, чем Сологуб сделала..."

Каминская говорила А. А., что ее стихи она читает в полутемной комнате, как будто садится в мягкое кресло, кутается в мех — такие интимные у А. А. стихи...

А. А.: "А я ей сказала, что читаю стихи при полном освещении, выпрямившись и не закутываясь в мех!.. (и уже

серьезно): — Так вообще нужно читать стихи...” А. А. говорит, что в сущности, стихи вообще нельзя читать с эстрады, что нет таких стихов, которые можно было бы читать на эстраде...

Затем опять шутки. Н. Я. изображает, как Э. Каминская будет читать стихи А. А. на вечере в Берлине. Скажет: “Я перед отъездом видела Анну Андреевну Ахматову. Она была умирающей и она мне читала стихи — может быть в последний раз читала... Эти стихи я вам сейчас прочту. Очень интимный разговор был... Я, конечно, не могу вам передать его содержания, но очень интимный...”

Затем А. А. рассказывает, что с Каминской она не виделась два года, когда у нее была такая встреча: в здании Р. К. П. (Нахимсона), на углу Фонтанки и Невского, был вечер для пролетарской публики... А. А. выступала. Прочла немного стихов, а потом выступила Э. Каминская, тоже со стихами А. А. Читала их бесконечно много, пока какой-то рыжий, внушительный человек из публики, среди всеобщей тишины, громко не сказал: “Довольно...” — и тут произошло уже совсем неловко... На эстраду вышел один из администраторов и начал укорять публику: “Товарищи! К нам *приехала знаменитая писательница*, а мы даже не можем вести себя прилично!...”

А. А.: “Под этот шум и смятение я, совершенно оплеванная и уничтоженная, ушла...”

Другой случай с Э. Каминской: она сообщила А. А., что она совершенно больна, просит достать ей доктора. А. А. раздобыла доктора и вместе с Чуковским поехала к Каминской. Когда приехали, ожидая увидеть умирающего человека, и увидели Каминскую совершенно здоровой, — было неловко перед доктором. Чуковский сказал А. А.: “Вы слишком легковерны”, — и они поехали назад.

Сегодня Э. Каминская сказала, что она “позволила себе трактовать “Памятник” Пушкина — по-своему, так как это не в серьезном тоне написано, а в шутовском, и так его и надо читать!..”

Каминская была со своим сыном — от неизвестного отца. А. А. за смелость ее, с которой она водит всюду своего сына, уважает ее.

Каминская сидела недолго, в общем. Пришел я к А. А. с Малой 63 в 7¹⁵. Н. Я. до моего прихода переменила А. А. компресс — очень хорошо поставила.

В 8 1/2 приходит Мандельштам (он сегодня уезжал в Петербург). Четверть часа сидят, а в 8⁴⁵ Мандельштамы уходят. Я сижу еще минут 20 и ухожу, чтоб с поездом 9³⁷ ехать в Петербург.

Из разговоров удержалось:

Я: “Это очень трудно — не быть одной все время?..”

А. А. отвечает, что времени, когда она одна, у нее достаточно.

А. А. считает “Гондлу” лучшим произведением Николая Степановича. “Звездный ужас” — любит, считает хорошим произведением.

“Отравленная Туника” Анне Андреевне не нравится.

“Актеон” А. А., считавшая всегда совершенно обособленным произведением, после обдумываний и размышлений над ним в течение этих дней, склонна изменить свое мнение...

Эльге Каминской цензура запретила читать “Заблуд. Трамвай” (на вечере, недавно устроенном где-то). Но публика требовала Гумилева, и она все-таки прочла “Забл. Трамвай”, после чего ей было сказано, что об этом с ней еще поговорят...

Пунин очень обижается, когда А. А. связывают (в биографии) с Николаем Степановичем...

А. А. очень хвалит Н. Я. Мандельштам — что она симпатичная, милая и т. д. ...

Я говорю, что стихотворение Пушкина “О, если правда, что в ночи” — действует на меня особенно, что оно заклинательное...

А. А. соглашается и говорит, что оно гипнотизирует. Я говорю, что очень немногие стихи так действуют. Например: в Фамире — то место: "Эвий, о Эвий, мольбой ты зван" — у Мандельштама и т. д. — "Образ твой мучительный и зыбкий"... А. А. соглашается и говорит, что это прекрасное стихотворение и что она его очень любит.

А. А. говорит о стихотворной памяти Сологуба и называет свое стихотворение, которое он с первого раза запомнил...

А. А. просит, чтобы я в ее книжке поставил даты "Огненного Столпа".

А. А., признавая, что Н. Тихонов способный, все-таки считает его эпигоном.

22.4.1925. Среда

Звонил М. Кузмину, уговорился быть у него в субботу. Звонил Лозинскому — говорил о рукописи "Отравленной Туники" (а перед этим звонил Горелику).

В 11 1/2 вечера звонил Пунину. Он не приехал из Царского Села.

23.4.1925. Четверг

В помещении Союза писателей, на Фонтанке 50, с 6 до 12 1/2 часов ночи было общее годовое собрание Союза поэтов. Отчет правления, выборы нового правления.

Всего в Союзе около 100 человек. В. Рождественский сидит со списком и отмечает тех, кого нечего ждать на собрании — "безнадежных" членов его: Сологуба, Ахматову, Кузмина, Клюева... Мандельштам — даже не состоит членом Союза.

Собрание шумное, более 40 человек. Балаганщины много. И. Садофьев председательствует и делает с собранием все, что хочет (умеет вести собрания). Выбраны в правление: председ. — Садофьев; товарищи председ. — Крайский и Н. Тихонов. Секретари: 1-й — М. Фроман, 2-й — Шкапская. Члены — Е. Полонская, Саянов, Фиш.

Кандидаты: И. Аксенов, Васильев, Соловьев (2 последних — "лаповцы") и еще кто-то.

В приемочной комиссии — Н. Тихонов, Крайский, К. Вагинов (о нем сильно спорили, потому что по "тактическим соображениям" его хотели сделать не членом, а кандидатом) и другие.

За отчетный год — были устроены публичные вечера:

- 6.6.1924 — Союз Поэтов участвовал в праздновании 125-летия со дня рождения Пушкина.
- 12.6.24 — был устроен вечер в Сестрорецком курзале; в котором участвовал приехавший в Петербург С. Есенин и читала стихи гл. обр. московских поэтов Эльга Каминская.
- 28.11.24 — был открытый вечер памяти В. Брюсова в Доме Искусств.
- 26.12.24 — вечер имажинистов в Доме Искусств.
- 30.1.1925 — в Доме Искусств — вечер "Ленин в поэзии" (вступ. слово читал И. Оксенов)
- 25.1.25 — вечер в Капелле (Кубуча)
- 16.3.25 — вечер в "Гладиаторе" (Кубуча) — для учащихся вузов.

24.4.1925. Пятница

В Пушкинском Доме составлял опись находящихся там книг из библиотеки Николая Степановича.

25.4.1925. Суббота

Утром был у Н. Чуковского — записывал его воспоминания о Николае Степановиче. От 3 до 4 1/2 был у М. Кузмина — записывал его сообщения о Николае Степановиче по его дневнику. Кузмин, читая книгу, не подымает веки, а подымает всю голову, оставляя веки опущенными. Сидел в козьем полушубке поверх синего костюма. Очень мил и любезен. Сказал, что ведет ежемесячную запись — все, что за месяц написал, записывает.

26.4.1925 — Воскресенье

В 10 1/2 утра зашел к Пунину — взял у него рецепт, папиросы для А. А. Получил по рецепту в аптеке лекарство (Valerian 8% — через 3 часа по столовой ложке) и с поездом 11³⁰ отправился в Царское Село. В поезде встретился с Над. Павлович, она под села ко мне. Всю дорогу читали стихи, разговаривали. Она пишет книгу стихов "Воскресенье".

Читала из нее 5–6 стихотворений. Я прочел своих 4. Павлович на днях едет в Москву... Стихи Павлович — все с Блоком, хотя в некоторых его меньше, чем в прежних. Я ее уличил в том, что у нее 2 строки совершенно гумилевских:

(“С безрадостной и темной,
С крылатою моей душой”).

Павлович поехала в Павловск, а я вышел в Царском Селе.

А. А. увидел сидящей на диване. Она эти дни чувствовала себя лучше, т. е. температура поднималась, но болей не было. Сегодня болей нет, но чувствует себя плохо. Скоро легла на постель и уже до вечера не вставала.

Температура ее сегодня — в 9 утра — 36,9; в 3 ч. — 37,1; в 7 ч. — 37,7 (такая температура была часа два), а в 9 часов — упала до 37. Вчера А. А. ходила в санаторию лечиться кварцем (первый раз проделывала это). Сегодня болит кожа — ожог от кварцевого света.

Результат — сегодня у А. А. сильная (невралгическая?) боль — болит вся левая сторона головы, опухла железа на шее, распухла десна и общее состояние скверно. Я укоряю А. А., но разве ее можно “доукорить” так, чтоб она не делала таких безрассудств? О себе она совершенно не заботится, а в ответ на упреки беспечно шутит...

За эти дни у А. А. был Ф. Сологуб, был Рыбаков. Рыбаков уговаривает А. А. не уезжать из Царского Села, с тем, чтобы потом прямо из Царского Села отправиться на юг. (А. А. решила уехать из Ц. С. во вторник, 28-го апреля, но убеждения Рыбакова, кажется, на нее немножко подействовали).

Мандельштамы вчера переехали в Петербург, так что теперь А. А. в Царском Селе уже совершенно одна. Вчера же вечером Мандельштам звонил А. А. по телефону (и сообщил, между прочим, что ему в руки попала наконец книжка “К синей Звезде” и что это прекрасная, исключительная книжка. А. А. такое мнение обрадовало). Сообщил, что Надя скучает по А. А. и во вторник приедет ее навестить. Вчера или позавчера А. А. часа 2 каталась с Пуниным на извозчике, видела все дома, на которые хотела взглянуть.

Обсуждали перевод Жарковской стихотворения “Храм Твой, Господи, в небесах” на французский язык, книгу Chuzewille — *Anthologie des poètes russes*, корректуру статьи Николая Степановича — “Теофиль Готье”, воспоминания Н. Чуковского и сообщения (по лит. дневнику) М. Кузмина, письмо Горнунга, и т. д. Все это показывал, читал. А. А. делала свои замечания. Привез А. А. “Книгу отражений” Анненского, которую она просила достать для прочтения. Показывал ей “Заповедь” Киплинга... (А. А. ее уже знает. Соглашается, что хорошее стихотворение). Показывал ей несколько листов моего “Табло времени”. А. А. эти дни читала по-итальянски Данте.

Говорили об А. И. Гумилевой, которую я вчера видел. Я рассказывал, что она очень несчастна и очень плохо ей в материальном отношении, что мне жалко ее, несмотря на всю мою нелюбовь к ней.

А. А. жалела ее тоже. Мы думали и решили, что Анну Николаевну вряд ли можно будет устроить куда-нибудь на службу — ибо она ни к чему не способна.

А. А. вспомнила, что Рыбаков получил письмо О. Судейкиной из Парижа, в котором она пишет, что ждет только приезда Рыбаковых, чтоб вместе с ними вернуться в Россию, что в Париже отвратительно и что она очень соскучилась по “Анке”...

А. А. пугает мысль о том, что будет делать О. Судейкина, если приедет сюда. О. Судейкина совершенно и безнадежно ни к чему (что могло бы дать теперь заработок) не способна... Раньше у нее хоть была квартира, обстановка, а теперь нет ничего, так как для того, чтоб уехать за границу, она все продала.

К 3 1/2 часам А. А., пересмотрев все, что я привез, сильно устает, и ей необходимо отдохнуть. Я поэтому иду к В. Кривичу, но не застаю его и иду на Малую 63, чтоб посмотреть на квартиру Гумилевых. На пути меня захватил дождь, и я зашел в столовую “Дома крестьянина” и пообедал. (А. А. хотела, чтоб я обедал у нее, но я счел за лучшее пообедать там, потому что А. А. живет в пансионе, и совсем ей не следует кормить обедами гостей). На Малую из-за дождя не пошел, а вернулся

в 4 1/2 к А. А. К обеду А. А. встала (обед всегда приносят ей в комнату).

После обеда А. А. легла опять, я сел у постели. А. А. разговаривала со мной много о Николае Степановиче по книгам ("Огн. столп", "К синей Звезде", "Жемчуга", "Колчан", "Ром. цветы"), намечала линии творчества Николая Степановича. Попутно говорила и о другом. Так — до 8 1/2 часов. В 8 1/2 часов А. А. уже очень сильно устала и мы уже ничем не занимались. В начале 10-го я ушел и с последним поездом (9³⁷) уехал в Петербург. В Петербурге звонил Пунину, по просьбе А. А.

А. А. рассказывает, что Николай Степанович был у нее в последний раз в 21 году, приблизительно за 2 дня до вечера Petropolis'a. А. А. жила тогда на Сергиевской, во 2 этаже. В. К. Шилейко был в Царском Селе, в санатории. А. А. сидит у окна и вдруг слышит голос: "Аня!" (Когда к А. А. приходили, всегда звали ее со двора, иначе к ней не попасть было, потому что А. А. должна была, чтоб открыть дверь, пройти внутренним ходом в 3-й этаж и пропустить посетителя через квартиру 3-го этажа). А. А. очень удивилась: она знала, что В. К. Шилейко в Царском Селе, а больше кто ее мог так звать? Никто. Взглянув в окно — увидела Николая Степановича и Георг. Иванова. Впустила их к себе. Николай Степанович (это была первая встреча с А. А. после приезда Николая Степановича из Крыма) рассказал А. А. о встрече с Ин. Эразмовной, с сестрой А. А., о смерти брата А. А. — Андрея Андреевича... И. Э. и сестру Николай Степанович видел в Крыму.

Рассказал, что привез с собой Макридина — о нем рассказал. Звал на вечер в доме Мурузи. А. А. отказалась, сказала, что она вообще не хочет выступать, потому что у нее после смерти брата совсем не такое настроение. Что в вечере Петрополиса она будет участвовать только потому, что обещала это, а зачем ей идти в дом Мурузи, где люди веселиться будут и где ее никто не ждет... Николай Степанович был очень сух и холоден с А. А.... Упрекал ее, что она нигде не хочет выступать... А. А. обиделась на него, что он с Жорой пришел (потом А. А. уже после сообщила, что он, может быть, пришел не один, а с

Г. Ивановым, потому что он не знал об отсутствии Шилейко, о том, что Шилейко в Царском Селе).

А. А. говорила Николаю Степановичу о Гржебине, жаловалась на него (А. А. тогда судилась с Гржебиным). Николай Степанович ответил про Гржебина: "Он прав". Даже Г. Иванов заступился тогда за А. А., сказав: "Он не прав уже потому, что он Гржебин..." О Гржебине говорили уже прощаясь. А. А. повела Николая Степановича и Г. Иванова не через 3-й этаж, а к темной (потайной прежде) винтовой лестнице, по которой можно было прямо из квартиры выйти на улицу. Лестница была совсем темная, и когда Николай Степанович стал спускаться по ней, А. А. сказала: "По такой лестнице только на казнь ходить..."

Георгий Иванов в эту встречу опять льстил А. А. (А. А.: "Он вообще очень фальшивый человек, вы знаете...")

Позже А. А. узнала, что Николай Степанович в Крыму говорил Инне Эразмовне.

А. А.: "Маме он так рассказал там, в Крыму, что я вышла замуж за замечательного ученого и такого же замечательного человека, и что вообще все чудно..."

А. А. рассказывает, что Мандельштам ей сказал, что все поэты всегда пишут о своей смерти... Это навело А. А. на мысль о теме смерти у Николая Степановича. По этому поводу у нас завязывается долгий разговор, с примерами на стихах Николая Степановича о теме смерти у Николая Степановича.

А. А. считает, что эта тема развивается у Николая Степановича в планах. 1-й план — (Жемчуга, Романти. Цветы) — узел завязан: смерть (самоубийство) — любовь. Что такое положение в последнее время не существует нигде и повторяется только в книжке "К Синей Звезде".

А. А. говорит, и сейчас же пугается, что это "mots", которое я запишу — что в этих сборниках смерть — "рабочая гипотеза"... И что Николай Степанович "заведует смертью..."

2-й план — смерть становится все реальнее ("... И душу ту / Белоснежные кони ринут" — это стихотворение привела

в пример) и она делается из средства — целью, освобождается от всего привходящего, и кульминационная точка — "Память" и в "Душе и теле"...

Затем вообще разговоры о творчестве Николая Степановича. Из них: А. А.: "Николай Степанович не исходил из темы (в своем творчестве) — как Тихонов, например: это — о гражданской войне, это — о том-то и т. д. ... У Николая Степановича не темы, а линии творчества, которые нужно разыскивать."

А. А.: "В стихотворении "Товарищ" была еще одна строфа, о женщине..."

О стихотворении "Картонажный Мастер":

А. А.: "Это, конечно, с "Моими читателями" переключается... Дико переключается!.. Страшно!.."

А. А. говорит про строки:

Я носитель мысли великой
Не могу, не могу умереть...

— что их можно было бы взять эпиграфом к "Колчану".

А. А.: "С Николаем Степановичем отношения всегда были очень торжественные, несмотря на "детские голоса" и на шутки..."

Еще о последнем приходе Николая Степановича к А. А.:

А. А. говорит, что Николай Степанович очень обижался на нее, что она нигде не выступает, бранил ее... Он не верил, что Шилейко не позволяет — не мог себе представить, что А. А. может кто-нибудь "не позволить", потому что всегда было наоборот... От того, что он не верил в эти слова А. А., у него являлось и общее недоверие к ней... Поэтому он был с ней сух и холоден...

О друзьях Николая Степановича:

А. А. говорит, что друзей, близких, которым бы Николай Степанович сообщал о своей личной жизни все, не было.

Зноско, Кузмин и др. — типичные литературные приятели. С Городецким было немного другое, чем с ними. Потому что у Николая Степановича с Городецким были общие цели, добились одного, были такой "боевой группой"...

Настоящими друзьями считались двое: Лозинский и Шилейко. Но если Лозинскому Николай Степанович что-нибудь и рассказывал, то это как в могиле... Лозинский никому ничего не скажет.

Был только один случай, когда Лозинский выдал Николая Степановича (вероятно невольно, не будучи посвящен в обстоятельства дела — и тогда это только подтверждает то, как мало Николай Степанович посвящал в свою личную жизнь даже самых близких друзей).

А. А. пришла в ("Брод. Собаку"? в "Аполлон"? Кажется, в "Аполлон"...) и спросила Лозинского — где Николай Степанович. Лозинский ответил: "Он с Ларисой Рейснер уехал"...

Потом, когда Николай Степанович вернулся домой и стал объяснять, что он был на заседании, оно затянулось, потом еще где-то — по делу. А. А. сказала ему, что это не так. "Ты был с Ларисой Рейснер — мне Лозинский сказал!.."

Николай Степанович очень рассердился тогда на Лозинского.

Когда был вечер в Киеве (Кузмин, Потемкин и т. д.) Николай Степанович не прямо пошел к Экстер, а пошел с А. А. с вечера в Европейскую гостиницу, кофе пить...

Подарки друг другу вернули в Севастополе весной 8-го года. Чадра.

"Товарищ" (Жемчуга). А. А. говорит, что это более взрослое по сравнению с другими стихами этого периода стихотворение. Вероятно потому, что написано по поводу действительной смерти (Сгоржельский застрелился).

А. А. отмечает, как характерное — что стихотворение "Измена" в новом издании (18 года) Николай Степанович называет "Ягуаром", потому что в тот период, когда он

написал это стихотворение, повод к нему ("измена") — был близок Николаю Степановичу, он ясно ощущал его, и думал, что читатели тоже так и понимают стихотворение. А в 18-ом году он уже забыл про этот повод, во всяком случае мысли его были далеки от него, и он уже не ощущал стихотворение так, как прежде, поэтому и название стихотворения показалось ему далеким и он переименовал его.

А. А. говорит — странная судьба Николая Степановича: 8-й и 18-й годы в Париже, и оба раза так любил — до попыток самоубийства. И оба раза потом в Крыму был.

А. А.: "Странная судьба: — кругами, кругами... Как коршун!.."

В 21-м году известие о смерти брата А. А. привез ей Николай Степанович.

В 21-м году было так: А. А. зашла во "Всемирную литературу" и В. А. Сутугина дала ей письмо... Письмо оказалось от матери А. А. А. А. очень удивилась, потому что 3 года от ее родных не было известий, и она уже имела основания думать, что они все умерли...

В письме И. Э. сообщала коротко о смерти Андрея Андреевича, и что Николай Степанович по приезде в Петербург обещал все сам рассказать...

А. А. обратилась к Сутугиной с вопросом: "А он приехал или нет?" Сутугина ответила: "Приехал, но я его еще не видела..."

Тогда А. А. спросила тут же стоявшего Блоха. Блох отвечал: "Прислать вам его?" ("Он считал, что он может всех присылать, посылать, потому что он по 10 фунтов картошки дал за книжки").

А. А. сказала ему: "Да, передайте ему, что я очень хочу его видеть". И уже после этого вскоре Николай Степанович пришел с Георгием Ивановым к А. А. на Сергиевскую...

На Сергиевской тогда был еще такой разговор: А. А. сказала Николаю Степановичу, что надо быть Гумилевым, чтоб в такое время путешествовать (потому что тогда все как в клетках сидели, нельзя было никуда уехать).

Николай Степанович не понял... Г. Иванов принялся ему объяснять.

Крестильный крест А. А. — украли из шкатулки ее матери, еще в ту пору, когда А. А. была маленькая. А обручальное кольцо А. А. дала продать с аукциона — в пользу (войны?) — (Это у меня раньше записано... Автомобиль... Дума...)

А. А. предложила подарить мне автограф Потемкина (Таврического, чтоб не спутать). Я поблагодарил и отказался — потому что собираю только литературные автографы. А А. А. предложила это из внимания к моему плюшкинству.

К А. А. часто присылают письма — просят у нее автограф.



АХМАТОВА И РАНЕВСКАЯ

Ф. РАНЕВСКАЯ: *

... Мы познакомились очень давно. Я тогда еще жила в Таганроге. Прочла ее стихи и поехала в Петербург — знакомиться. Открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала: "Вы мой поэт", — и извинилась за нахальство. Она пригласила меня в комнаты — и дарила меня дружбой до конца своих дней.

... Мы гуляли по Ташкенту всегда без денег... На базаре любовались виноградом, персиками. Для нас это был Nature Morte — Анна Андреевна долго смотрела на груды фруктов, особенно восхищалась гроздьями винограда. Нам обеим и в голову не приходило, что мы могли бы это купить и съесть.

Когда мы возвращались домой, по дороге встретили солдат, они пели солдатские песни. Она остановилась, долго смотрела им вслед и сказала: "Как я была бы счастлива, если бы солдаты пели мою песню..."

НИНА СУРОЦКАЯ:

... А вот об Анне Ахматовой, с которой Фаину Георгиевну связывала многолетняя дружба. Особенно тесной эта дружба стала в эвакуации, в Ташкенте, куда Анну Андреевну привезли совсем больную из блокадного Ленинграда.

Трогательно выхаживала ее Фаина Георгиевна, отдавала что повкуснее из своего скромного пайка и по ночам героически выламывала доски из заборов, чтобы протопить ее печурку.

* Фаина Георгиевна Раневская (1896–1984), знаменитая актриса театра и кино. Обзор составлен по книге *О Раневской*, под ред. Л. Лосева, Москва, 1988.

"Читала однажды Ахматовой Бабеля, она восхищалась им, потом сказала: "Гений он, а вы заодно". После ее слов о том, что Гаршин сделал ей предложение стать его женой, как она смеялась, когда я ей сказала: "Давно, давно пора, mon ange, сменить вам нимб на флёрдоранж". Однажды сказала мне: "Вам 11 лет и никогда не будет 12, не надейтесь. А Боренька еще моложе, ему 4 года", — это о Пастернаке... Ее, величественную, гордую, всегда мне было жаль. Когда же появилось постановление, я помчалась к ней. Открыла дверь Анна Андреевна. Я испугалась ее бледности, синих губ. В доме было пусто. Пунинская родня сбежала. Молчали мы обе. Хотела ее напоить чаем — отказалась. В доме не было ничего съестного. Я помчалась в лавку, купила что-то нужное, хотела ее кормить. Она лежала, ее знобило. Есть отказалась. Это день ее и моей муки за нее и страха за нее. А потом стала ее выводить на улицу, и только через много дней она вдруг сказала: "Скажите, зачем великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей его техникой, понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи?" Я запомнила эти точные ее слова... Она так изумительна была во всем, что говорила, что писала. Проклинаю себя за то, что не записывала все, что от нее слышала, что узнала! А какая она была труженица: и корейцев переводила, и Пушкиным занималась..."

К. МИХАЙЛОВ:

... Мы в нечастые свободные часы гуляли по старому Ташкенту, бродили по узким улочкам с арыками и глиняными дувалами. Иногда к нам присоединялась Анна Андреевна Ахматова. Думали и говорили все об одном и том же. Но взгляд Ахматовой был уверенно-спокоен, точно она видела свой далекий и любимый Ленинград, видела скорое его освобождение от блокады, видела Победу... Как и в ее стихотворениях того времени, в ней жило то, всем известное: "Нас покориться никто не заставит". И только изредка глаза ее подергивались грустью и вдруг прорывалось: "Ах, эта Болдинская осень очень затянулась!" Несмотря на частые

болезни, писала она тогда много и плодотворно, так что "Болдинская осень" была не просто фразой. Раневская называла Анну Андреевну провидицей, колдуньей, иногда просто ведьмой... И однажды по секрету призналась мне, что написала, посвятила ей — Ахматовой! — четверостишие. Вот эти строчки:

О, для того ль Всевышний Мэтр
Поцеловал твоё чело,
Чтоб, спрятав нимб под чёрный фетр,
Уселась ты на помело?

Она прочла это смущенно, но с гордостью и обычной иронией. Самоирония — свойство умного человека — всегда была присуща Раневской.

Вячеслав НЕЧАЕВ:

... Очень часто Фаина Георгиевна вспоминала Ахматову. Мне кажется, память об Анне Андреевне помогала ей стойко держаться в жизни. Свои воспоминания об Ахматовой Раневская так и не доверила бумаге. Поэтому рискну привести некоторые ее высказывания. "Ахматова была женщиной больших страстей. Вечно увлекалась и была влюблена. Мы как-то гуляли с нею по Петрограду. Анна Андреевна шла мимо домов и, показывая на окна, говорила: "Вот там я была влюблена... А за тем окном я целовалась..."

"Я знала объект последней любви Ахматовой. Это был внучатый племянник Всеволода Гаршина. Химик, профессор Военно-медицинской академии. Как-то мы были у него в гостях. Он предложил Ахматовой брак. Она отказалась".

"Во время войны Ахматова дала мне на хранение папку. Такую толстую. Я была менее "культурной", чем молодежь сейчас, и не догадалась заглянуть в нее. Потом, когда арестовали сына второй раз, Ахматова сожгла эту папку. Это были, как теперь принято называть, "сожженные стихи". Видимо, надо было заглянуть и переписать все, но я была, по теперешним понятиям, необразованной".

"Ахматова не любила двух женщин. Когда о них заходил разговор, она негодовала. Это Наталья Николаевна Пушкина и Любовь Дмитриевна Блок. Про Пушкину она даже говорила, что та — агент Дантеса".

"О Николае Недоброво (авторе первой большой статьи о творчестве поэтессы, который принадлежал к группе поэтов — "царскоселов" и оказал влияние на развитие поэтического вкуса Ахматовой. — В. Н.) Анна Андреевна говорила: "После него все мужчины кажутся конюхами".

"Анна Андреевна была бездомной, как собака".

"Об Ахматовой надо писать все или ничего, а то получается фальшь..."

Однажды Фаина Георгиевна прочитала неизвестные мне строки Ахматовой. Ни в одном из сборников я их не нашел, а посему позволю себе привести их.

Это те, кто кричали: "Варраву!
Отпусти нам для праздника...", те,
Что велели Сократу отраву
Пить в тюремной глухой тесноте.

Им бы этот же вылить напиток
В их невинно клеветущий рот,
Этим милым любителям пыток,
Знатокам в производстве сирот.

Елена ЮНГЕР:

... Конец 45-го или начало 46-го года. Театр наш только что вернули в Ленинград из Москвы, где задержался после эвакуации. Мы еще не успели получить квартиры, временно живем в гостинице "Астория".

Не помню, по какому поводу у нас собрались друзья. На столе скромное угощение — рис с соленым укропом, еще что-то в этом роде. Для праздничности зажжены свечи.

Ждем Танечку Вечеслову. С несвойственным ей опозданием является взволнованная: "Извините, пожалуйста.

Встретила в холле Анну Андреевну Ахматову, она пришла навестить Раневскую. Фаина Георгиевна приехала на съемки, остановилась тут же, в "Астории", этажом ниже. Пригласим их сюда, может быть, они не откажутся разделить нашу компанию".

Срываюсь с места, бежим с Татьяной по ступенькам, по коридору, стучим в дверь.

В небольшом номере, за столом, покрытым потертой бархатной скатертью, перед двумя стаканами с остывшим бледным чаем, — две великие старухи нашего века.

Нет, тогда старухами они еще не были, — две прекрасные, удивительные женщины.

С Анной Андреевной я была знакома раньше. Фаину Георгиевну встретила впервые. Восхищалась ею в кино, но ни на сцене, ни в жизни никогда не видела. Меня поразила ее особая, я бы сказала, какая-то внутренняя элегантность, несмотря на легкую сутулость и очень простой, "незаметный" костюм... Небрежно взвитая белоснежная прядь надо лбом и ярчайшие, все знающие, темные, острые глаза.

Мы поднялись наверх. Свечи еще не погасли. Наши гости им очень обрадовались. И тут началось... Тесноватый гостиничный номер вдруг расширился, как будто мощный поток свежего воздуха ворвался в накуренную духоту, невзирая на дым нагоревших свечей... Важное, таинственное чтение Анны Ахматовой завораживало, хриловатый басок Фаины Раневской выдавал сверкающую россыпь блестящих острот. Забыты были стаканы с недопитым чаем, старательно сваренный рис с соленым укропом, все как бы вознеслось в совсем иную, высокую сферу.

Через несколько дней Вечеслова пригласила на "Дон Кихота". Она танцевала Китри. С Фаиной Георгиевной и Анной Андреевной мы отправились в театр.

Татьяна Вечеслова в этот вечер превзошла самое себя. Сорок лет прошло, а я вижу, как сейчас, этот волшебный, искрометный волчок — он звенит, кружится, взлетает... Стремительный каскад лихих, отточенных движений, лукавых улыбок, освещенных ослепительным сиянием загадочных фиалковых глаз.

Мои необыкновенные спутницы, находясь вместе, создавали какую-то особую атмосферу. Все попавшие в их магическое поле вдруг незаметно для себя становились интереснее, живее, свободнее... Обе как зачарованные, не отрываясь, следили за сверкавшим на сцене фейерверком — они умели ценить и воспринимать прекрасное. Казалось, что идущие от них на сцену токи невидимыми бумерангами возвращаются к ним и снова летят обратно: прием — посыл, посыл — прием. Казалось, они втроем создают чудо. Никогда, нигде я больше не наблюдала такого. После этого вечера появились знаменитые стихи Ахматовой — "Роковая девочка-плясунья". *

А. АДОСКИН:

Мы говорили на разные темы — Фаина Георгиевна была удивительным собеседником, — но ни один разговор не мог обойти Пушкина. Ход такой беседы был непредсказуем. Начиналось всегда с вопроса: "Ну как там, в заведении?" — это значило: "Что в театре?" Потом следовали образные и точные определения общих знакомых. Здесь преимущественно доставалось администрации и режиссерам. Вдруг разговор переходил на жизнь животных и обсуждение фауны и флоры, затем касался политического строя Америки и в конце концов каким-то образом выходил на высокую поэзию и, следовательно, в нем возникал Пушкин. Никогда не забуду рассказа о том, как она однажды увидела его во сне и тут же по телефону сообщила об этом Ахматовой. "Немедленно еду!" — без паузы ответила ей Анна Андреевна.

* Дымное исчадие полнолуны,
Белый мрамор в сумраке аллеи,
Роковая девочка, плясунья,
Лучшая из всех камней.
От таких и погибали люди,
За такой Чингиз послал посла,
И такая на кровавом блюде
Голову Крестителя несла.

М. НЕЕЛОВА:

Сидим, говорим про Цветаеву (вернее, я задаю вопросы, а говорит Фаина Георгиевна), про Ахматову, про то, что, долго читая Цветаеву, устают, а потом "отдыхают" на Ахматовой, что Анна Андреевна — человечнее и понятнее, что Марина Цветаева — гений и всегда не здесь, даже слушая, смотрит "насквозь", куда-то "в свое", что невероятно умна, своеобразна, одна такая и не как все.



Юзеф ЧАПСКИЙ

ОБЛАКА И ГОЛУБИ

Встречи с Ахматовой в Ташкенте (1942 г.) *

... Наиболее интересный вечер, проведенный мной у Толстого, был посвящен замыслу перевода польских стихов на русский язык. Соколовского где-то неожиданно задержали, и на этот раз я мог остаться в доме писателя до поздней ночи без присмотра.

У Толстого собрались переводчики, несколько русских писателей, среди них Ахматова, с которой я тогда познакомился. Присутствовал также Тихонов, старый друг Горького, известный издатель и на вид скромный человек. Пришла также невестка Горького. К десяти часам вечера мы собрались в большой гостиной вокруг стола с вином и великолепным "кишмишем", а также другими сладостями. Жара спала. Было свежо и прохладно.

Мы договорились, что Тихонов возьмет на себя издание сборника польских стихов, что сборник этот будет разбит на три части: стихи из оккупированной Польши (они дошли до нас через Лондон), стихи польских поэтов из Лондона, а также стихи, написанные в формирующейся в Советском Союзе польской армии. Так же, как на вечере в Юнги-Юль, я читал лондонские стихи.

То, как приняли эти стихи русские, далеко выходило за пределы самых смелых моих ожиданий. Я до сих пор вижу слезы в огромных глазах молчаливой Ахматовой, когда я неловко переводил последнюю строку "Варшавской колядки":

А если ты хочешь родить Его в тени
Варшавских пепелищ,
То лучше сразу после рожденья
Брось его на распятье.

* Глава из книги *На бесчеловечной земле*. (Перевод с польского).

"Баллада о двух свечах", "Отчизна Шопена" Балинского, а также "Воздушная тревога в городе Варшаве" Слонимского произвели на всех потрясающее впечатление. Мне пришлось прочитать все стихи, мне не позволили пропустить ни одного. Уже много раз в жизни я пытался увлечь иностранцев польской поэзией, в частности, французов, всегда со скудным результатом; я впервые встретился с такой восприимчивостью слушателей, впервые ощутил такой живой, подлинный трепет именно в тот вечер среди горсточки русской интеллигенции.

Ахматова согласилась взять на себя перевод "Варшавской колядки", хотя, по ее словам, стихов она никогда не переводила. Толстой рычал: почему никто в Советах так не пишет о России, почему стихи о родине "пишут у нас застенчиво и неестественно".

В тот вечер мне пришло на ум: какой вакуум возник в России за более чем двадцать лет так называемого официального искусства. Я подумал о жажде, настоящей поэтической жажде, которую испытывают русские. Мне показалось, что великая литературная традиция, от Державина и Пушкина до Блока, Маяковского и Есенина, оборвана, если не считать горстки поэтов, как Ахматова и Пастернак. Какими возможными казались мне тогда бескорыстные, глубокие польско-русские связи, ведь обе культуры легко переплетаются, зачаровывают звуком стихов — до малейшего вздоха.

Толстой посмеивался над тем, что в России никто ничего не знает о польской поэзии и вообще о польской литературе: все Пшибышевский да Пшибышевский. Он с юмором рассказывал, что именно благодаря Пшибышевскому научился пить, что даже трудно себе представить, каким литературным событием был в России Пшибышевский в его молодые годы. Тихонов это подтверждал, рассказывая, что в молодости видел Пшибышевского в Петербурге прекрасно исполняющим Шопена в кабинете огромного ресторана и, несмотря на то, что он был совершенно пьян, бормотавшего: "Шопен... Библия... Ницше..." "Для молодых, — вторил Толстой, — пить и спорить о Пшибышевском было наивысшим наслаждением".

В тот вечер мы все время говорили о литературе, то есть скорее всего говорил я, пытаюсь доказать, что в польской литературе есть не только один Пшибышевский. Я говорил о Словацком и Норвиде. Я стал переводить отрывки из стихотворения "Фатум" Словацкого:

Диким зверем пришло несчастье к человеку
Вонзило в него свои роковые очи
Ждет
Покуда человек не собьется...

Толстой так заинтересовался этими стихами, что помог мне перевести их на русский язык, а потом переписал и спрятал в карман.

У меня были также письма Норvida о патриотизме: "Это творческая сила, а не сила уединения и отверженности"... Толстой восхищался, требовал, чтобы я пришел на вечер, посвященный Норvidу, говорил, что наконец-то ему удалось встретить правильное определение патриотизма.

В тот вечер Толстой показал мне любовно изданный недавно присутствовавшим на вечере Тихоновым русский перевод "Фараона" Пруса. Я спросил, почему именно "Фараон" удостоился такого хорошего издания.

— Я не считаю эту книгу выдающейся, — ответил Тихонов, — Египет в ней довольно искусственный, оперный, но, — добавил он вполголоса и опустив глаза, — эта книга понравилась Сталину.

Что касается Ахматовой, то я читал ее стихи много лет назад, я знал, что она была замужем за Гумилевым, русским поэтом, расстрелянным в 1921 г. Я знал также, что у нее есть сын, студент, которого в 1938 г. арестовали и сослали. Он изучал восточные языки, мечтал поехать в центральную Азию. Никто не знал, за что и куда его сослали. Еще до войны предполагали, что в Норильск, а потом были глухие слухи, что кто-то видел его в Находке, откуда его пересылали на Колыму. Что делала эта женщина в доме самого преданного режиму писателя?

Мне рассказывали, что Сталин будто бы похвалил одно из стихотворений Ахматовой и поэтому она пользовалась

покровительством официальных властей. В 1946 г. на Ахматову обрушился ЦК и Жданов, потому что она "отказывается шагать вместе с народом", и ее запретили печатать. Однако тогда, в 1942 г., она пользовалась "самым высоким покровительством"; по приказу будто бы самого Сталина во время блокады Ленинграда за ней отправили специальный самолет.

В тот вечер Ахматова сидела под лампой, одетая в скромное платье, что-то вроде мешка или светлой рясы; волосы гладко причесаны и повязаны цветным платком. Очевидно в прошлом она была очень красива: правильные черты, классический овал лица, огромные серые глаза. Она пила вино, говорила немного, слегка странным, полушутливым тоном, даже о самом грустном. После чтения стихов польских поэтов мы попросили ее прочитать несколько своих стихотворений. Она сразу же согласилась.

Ахматова прочла несколько фрагментов тогда еще неизданной "Ленинградской поэмы". ("Поэмы без героя"?) Все присутствующие относились к ней с крайним почтением, каждый давал мне понять, что именно она — великая русская поэтесса. В строках, которые Ахматова читала странным, певучим голосом, как когда-то Игорь Северянин, не было ничего ни от оптимистической пропаганды, ни от хвалы Советам и советским героям, воспеваемым Толстым, не было его "суровых, но справедливых советских рыцарей". Поэма Ахматовой — единственное произведение, которое меня взволновало и заставило ощутить, чем на самом деле была оборона раздавленного, изголодавшегося, героического города.

Поэма Ахматовой начиналась воспоминаниями молодости: сложные метафоры, *commedia dell'arte*, павлины, фиалки, любовники, клен с желтыми листьями в окне Шереметевского дворца, а кончалась образом Ленинграда в голоде и холоде, под бомбами, Ленинграда осажденного. Мне запомнились строки о голодном мальчике, который во время бомбежки, ранней весной или поздней осенью, подарил ей травинки, проросшие между камнями мостовой.

Мне очень хотелось ближе познакомиться с поэтессой, глубже проникнуть в ее мир, однако я не решался. Как-то

невинное посещение одной женщины, при котором не присутствовал Соколовский, уже привело к весьма трагическим последствиям. Я помнил, что об Ахматовой говорили как о человеке очень обособленном, трудном для общения из-за некоторой искусственности, может быть просто необычности ее поведения. У меня сложилось впечатление, что она человек глубоко раненый, маскирующий свои раны именно этой искусственностью. Ее стихи ассоциировались в моей памяти с русскими символистами, иногда с Рильке. Ахматова еще до 1914 г. жила в Париже и дружила с Модильяни. Многие его письма и рисунки, хранившиеся ею, пропали во время блокады Ленинграда.

Вечер у Толстого затянулся до трех или четырех часов ночи. Мы еще долго прощались перед домом писателя под густыми деревьями. Толстой разболтался, рассказывал о минувшем, о русских писателях до революции, рассказывал о Ремизове, которому, по его словам, он многим обязан: благодаря Ремизову он почувствовал русский язык. Толстой вспоминал Розанова, его страстную, как у старого Карамзова, чувственность. "Я люблю, — говорил Розанов молодому Толстому, — когда после бани еду на санях и мороз щиплет лицо, есть сладкие ягоды винограда".

Толстой рассказывал живописно, у него была великолепная память, но что касается Розанова, то он замечал лишь один аспект его творчества, наиболее близкий ему самому, и делал вид, будто бы не было у Розанова никакой трагической раздвоенности.

Прощаясь, мы обещали друг другу встретиться еще не раз. К утру я добрался до дома на окраине Ташкента, где, благодаря приветливому поляку, я нашел ночлег. В комнате несколько человек громко храпели во сне.*

* После встречи в доме Толстого Чапский совершил с Ахматовой длинную прогулку: "В тот вечер, описанный в главе "Облака и голуби", Ахматова пришла к Толстому потому, что отчаянно пыталась узнать, жив ли ее сосланный сын Лева. / . . / От Толстого мы вышли вместе с Ахматовой / . . / Мы долго гуляли, и во время этой прогулки она совершенно преобразилась. Об этом я, конечно, не мог написать в книге, которая вышла при жизни Ахматовой".

Стихи, желание ускорить перевод и издание их на русском языке заставили меня еще сутки пробыть в Ташкенте. Мне разрешили занять в центральной гостинице комнату, закрепленную за командующим армией; у меня было несколько банок мясных консервов, настоящий чай и даже сахар — все необходимое, чтобы в тогдашних условиях устроить пир.

Я пригласил несколько человек, присутствовавших на приеме у Толстого. Они должны были прийти вместе с друзьями, желающими послушать стихи польских поэтов. Однако в последнюю минуту этот план сорвался. Ахматова уведомила меня, что больна, Яхонтов, один из наиболее известных советских чтецов, — он жил в той же гостинице, что и я, — должен был срочно куда-то уехать. Подобные же отказы я получил и от других приглашенных мною гостей, хотя накануне ночью они сами собирались ко мне прийти. Я подозревал "дипломатические болезни", запрет.

Наступил вечер, я был один в комнате, вдруг вошла молодая женщина. Она назвала себя знакомой Толстого — ей тоже сказали, что я буду читать стихи, а закулисный запрет по-видимому до нее не дошел. Высокая, стройная, со светлыми и легкими как пух волосами, с правильными, тонкими чертами лица, она поражала абсолютной естественностью. Узнав, что оказалась у меня одна, она хотела сразу же уйти, однако я остановил ее. Мы устроились на узком каменном балконе, который выходил на улицу, на два старых тополя. На этом балконе мы вдвоем и провели вечер.

И вновь — эта редкая, типично русская мгновенность близости с человеком, которого никогда не видал прежде и никогда, вероятно, не встретишь потом. Я читал стихи для нее одной и переводил их на русский язык, а затем еще раз читал по-польски. Чувство пронзительной близости меня не оставляло. Она не произнесла ни слова и лишь после чтения попросила кое-что уточнить, вслушивалась в звучание слов, требовала точно передать значение по-русски. А затем вдруг сказала:

— Значит, вы уже нашли выражение тому, что пережили..., а мы.. еще ничего... — И умолкла. Глаза ее были опущены, уголки губ дрожали.

— Вы знаете, что произошло с Ленинградом, я оттуда, это мой родной город, а теперь там одни развалины. Знаете ли вы, что представляет собой город, в котором два миллиона погибло от бомбежек, умерло от голода и холода? Мне некуда возвращаться. Нашей молодой советской интеллигенции больше не существует. После финской войны не было семьи, которая не потеряла бы на фронте сына, мужа или отца. Ведь именно Ленинградская область несла на своих плечах бремя финской войны. Теперь на фронте погибли все остальные, вся студенческая молодежь была брошена на фронт в первые, ужасные месяцы немецкого наступления... В Узбекистане я чувствую себя чужой и ничто меня с этой страной не связывает, но мне некуда возвращаться, никого из моего поколения, из самых мне дорогих и близких уже нет в живых.

Мы говорили с ней так, как будто были давно знакомы. Расстались темной ночью на узком, пыльном балконе гостиницы. На другой день я вернулся в штаб.





А. Ахматова, 60-е годы.

ВСТРЕЧИ С АХМАТОВОЙ (1944–1946)

... В лето 1944 известие о ее возвращении в Ленинград меня вдруг и неожиданно потрясло так, словно мне сказали о возвращении близкого человека, друга, родного, своего, с которым была случайная и непонятная разлука.

Знала, что в каком-то Альманахе в Доме Писателя будет участвовать и она. Пошла на этот Альманах, сидела в первом ряду с москвичкой Дружининой, которая, как и всегда, рассказывала мне какие-то юмористические вещи. Потом пришла Ксения.¹ Села рядом. Потом начался Альманах — Прокофьев,² кажется, пригласил в президиум Анну Ахматову, и мимо меня, под гул взволнованных приветственных аплодисментов, к эстраде прошла Ахматова, которую я не видела годы и годы. У нее была та же царственная и гибкая походка, она держалась так же прямо, очень прямо, ровно и горделиво. Челки не было. Перечная седина волос открывала хорошей формы лоб. Она была в черном длинном платье...

... Я давно не знала такого трепета волнения и боли, как в тот вечер. Я плохо слушала — я не помню, что читал Прокофьев и другие. Кажется, говорила что-то Рывина,³ черненькая и кокетничающая, как обычно. За Ахматовой сидела светловолосая Берггольц.⁴ На трибунку поднимался и отвратительный Лихарев.⁵ Я запомнила, что он очень смачно

* Софья Казимировна Островская (1902–1983), дочь погибшего в ГУЛаге обрусевшего поляка, была близка со многими петербургскими писателями, много переводила, писала стихи. Уцелевшая часть ее дневников и воспоминаний еще ждет издателя. В них много ценных подробностей о страшных 30-х и 40-х годах. Полностью страницы, посвященные встречам с Ахматовой, напечатаны по-английски и с комментарием Ж. Дэвис: *Memoirs of Anna Akhmatova's years 1944-1950*.

и хорошо произнес одно слово — "пень". Из всех его стихов я запомнила только это слово: "Пень..."

Потом читала Ахматова. И я почти не помню, что она читала. О мальчишке, приносившем ей травинки, которому ей не пришлось дать хлеба. О воинстве облаков над осажденным Ленинградом. О часах мужества. О какой-то ночи в среднеазиатском городе — какие-то необыкновенные слова о ночи, которые остались в моем сердце и ушли из памяти.

Берггольц говорила свои стихи о погибшем воине, и Ксения, еще не пережившая гибель брата Юрия под Нарвой, расплакалась и убежала. Я осталась одна. Дружинина продолжала сидеть рядом — но я осталась совсем одна.

Когда чтения кончились и распался и президиум и все ряды, занятые публикой, я вдруг решила, что подойду к Ахматовой и что-то ей скажу. Мне казалось необходимым поздороваться с нею, приветствовать ее в моем городе, сказать ей, что выжили здесь те, кто ее любит, что не все умерло, что и тени сохраняют память.

Сойдя с эстрады, она в какой-то миг осталась одна, черная, высокая, царственная женщина, за которой волочилась незримая мантия славы, горя, больших утрат, больших обид. Я подошла к ней, сказала:

— Мы не знакомы с вами, но я решила поблагодарить вас за то, что вы вернулись, за то, что вы существуете, пишете, живете.

Она улыбнулась и протянула руку:

— Ну, так будем знакомы, — ответила она.

Я назвала свою фамилию и коротко, но, конечно, взволнованно, конечно, лорывисто — заговорила с нею: о том, что она была песнью молодости моего поколения, что жила со мною долго и неизменно, что была со мною и с нами во время осады города и распятия его, что теперь, после ее возвращения, петербургский пейзаж города завершил свое воскресение и стал прежним.

— Вы потеряли кого-нибудь из близких? — спросила она.

Я сказала о маме, о брате в далекой армии — о том, что я одна, что кругом призраки.

Подумав, она посмотрела в сторону и согласилась.
— Вы правы. В городе только призраки...

Через некоторое время в Доме Писателя был творческий вечер Ахматовой. Была уйма народу — пришла и Анта, и Ксения, и Гнедич,⁶ и подтянутый, какой-то подкрахмаленный Могиланский,⁷ похожий на переодетого священника, и Хмельницкая⁸ — и кто-то еще.

На эстраде Ахматова, средневековая, черная и прекрасная, мудро и благородно несущая в старость свою женскую прелесть и странное очарование древней статуи и змеи, сидела между Саяновым и Лихаревым:

— Они похожи на урядников! — сказала Ксения. — А женщину эту можно обожать, знаешь, совсем по-институтски!

Глядя на такое окружение, мне пришло в голову, что следовало бы написать картину и назвать ее "Арест государыни".

После чтения был перерыв, все пошло курить до начала второй части вечера: обсуждения писательской общественностью.

На площадке белой лестницы мы стояли с Ксенией и Антой. Гнедич с кем-то разговаривала. Мимо прошел Могиланский, направляясь к спуску.

— Вы остаетесь? — спросил он. — А я уйду! Кошунством будет остаться и слушать, что будут говорить О НЕЙ. Словно кто-то может что-то сказать! Я уйду!

Мы тоже решили уйти, кроме Гнедич. И для Ксении и для Анты имя Ахматовой значит то же, что и для меня.

— Докурим и уйдем, — сказала я, — Могиланский прав. Я не хочу слушать никаких обсуждений, даже триумфальных!

В это время Ксения меня толкнула.

— На тебя смотрит Ахматова, — шепнула она.

Я обернулась. В тени дверного проема стояла Ахматова. Поймав мой взгляд, она чуть улыбнулась и кивнула мне.

— Понравилось? — спросила она, пожимая мне руку.

Мы говорили очень кратко. Она сказала:

— Сейчас меня будут ругать...

На ее лице был легкий смугловатый румянец. Улыбка, как и всегда, казалась горькой, недоброй и презрительной.

— О, у вас такое же платье, как у меня! — вдруг воскликнула она. — Испанский шелк...

— Нет, — ответила я, улыбаясь, — настоящий советский батист.

— Не может быть, — настаивала она, разглядывая синюю ткань в белые горошинки, — у меня совсем такое же из испанского шелка...

Она потрогала мое платье, улыбнулась и быстро, не прощаясь, скользнула мимо, протягивая руку какому-то милому старичку.

— Настоящая женщина! — восторженно сказала Ксения, слышавшая разговор.

Анта добродушно съязвила:

— Вы гипнотизируете ее своим очарованием!..

Мне было очень радостно, что Ахматова меня узнала.

Гнедич как-то к Тотвенам принесла мне давно обещанную поэму Ахматовой. Я начала сразу читать вслух, пораженная и очарованная с первых же строк.

— Подождите... что же это! — иногда говорила я, прерывая чтение и проводя рукою по лбу...

Гнедич торжествовала, видя мою почти мучительную радость...

...О поэме Ахматовой я много думала и немного говорила. С Гнедич и Антой мы искали расшифровок "зеркального письма". Об этом я напишу, пожалуй, особо.

Поэма ударила меня и разбудила. Это поэма гнева и проклятья. В ней нет смирения, ни прощения, ни тишины. Поэма кричит — и, действительно, страшно, как бы не вырвалась тема и не стукнула кулаком в окно... А какая тема — неизвестно. Или, наоборот: каждому известна своя.

Мне, помнится, захотелось написать Ахматовой об ее поэме — о моей концепции, об отражении ее в моей жизни. Не написала, конечно, — как и следовало ожидать. Сочинила письмо в уме, прочла его в уме, отправила в уме. Все.

18 сентября, идя в Дом Писателя на вечер Гнедич о современной английской поэзии, наслаждалась хорошей погодой и блеском чудесного предосеннего неба. Несмотря на близорукость, еще издали узнала силуэт Уинкотта,⁹ беседующего у входа в Дом с какой-то дамой. Решила пройти мимо не поднимая глаз. С этим человеком отношения у меня как-то странно складываются — иногда можно подумать, что мы с ним играем в прятки, но хорошо знаем, где нужно искать друг друга.

Я, проходя к подъезду, знала, что Уинкотт и его дама смотрят на меня и молчат. Глаз я все-таки не подняла — и вдруг услышала:

— Почему вы не хотите меня узнавать?

По голосу я узнала Анну Ахматову.

Она была без шляпы, видимо, в хорошем настроении, выглядела хорошо и немного лукаво. Дружески пожав мне руку, шутливо переспросила:

— Так почему же вы не хотите меня узнавать. Я вас несколько раз видела на улице, а вы проходили мимо.

Я сказала что-то о своей близорукости и задала вопрос о ее здоровье. Она была больна, у нее плохое сердце — и я знала об этом. Потом я сказала что-то о поэме.

— Понравилось? — задала она привычный вопрос.

— Это не то слово, — возразила я, — мне даже хотелось написать вам об этом.

— Так почему же не написали?

— Я ведь полька... и гордая! — пошутила я. — Впрочем, если хотите, напишу.

Подумав мгновение, она быстро положила руку на рукав моего пальто.

— Нет, лучше не пишите, а просто приходите ко мне. Тогда и поговорим о поэме.

Я поблагодарила за приглашение и спросила, в какие часы ее можно видеть.

— Мне все равно. Я никогда не знаю, что я делаю и в какое время. Приходите в четверг.

Она сказала адрес: Фонтанка, 34, кв. 44.

— Вы опять живете в Фонтанном Доме? — спросила я, записывая адрес на каком-то конверте.

— Да. А почему вы мне все-таки не написали?
— У вас такое большое окружение, Анна Андреевна... Мне кажется, жизнь ваша отягощена людьми...

Она вдруг посмотрела в сторону и резко прервала меня.
— Вы ошибаетесь, вы очень ошибаетесь, — почти возмутилась она. — Я совсем одна. Город пустой для меня. В городе же никого нет...

21 сентября был теплый и хороший день. Я ждала часа, чтобы уйти на Фонтанку, как не ждала уже давно. На рынках и в магазинах не было цветов, кроме вялых свернутых ноготков, очень скверных. А мне очень хотелось войти в дом к Ахматовой с цветами. Подумала: если бы это было до войны! Какую великолепную корзину я бы ей послала! Какие чудесные розы я заказала бы для нее — и с какой радостью мой заказ человек бы исполнил!

Видеть эту женщину мне всегда тревожно и радостно. Но радость какая-то причудливая, не совсем похожая на настоящую радость.

Еще не было сумерек, когда я вошла на громадный шереметевский двор. Посередине были грядки с капустой. Через пустой вестибюль с почему-то растрогавшим меня трюмо я прошла в сад — и по тропинке направо попала к двери. Шумели деревья. Сушилось чье-то белье. Вид мне показался почти царскосельским.

Я остановилась и поискала тот самый клен, который назван ею "свидетелем всего на свете".

Но клена я не нашла.
Открыла двери мне она сама и сразу сказала:
— Я вас поджидала.

Была она в каком-то очень простеньком и бедном платье. Голова была повязана черным платочком. Это не была больше сверкающая королева из белого зала в Доме Писателя. Это была Золушка Следующего Дня — но такая, которая знает, что она царственнее всех цариц и что ей принадлежало и первое место и первый принц во всем королевстве.

В длинной и узковатой комнате почти не было мебели. Стояли полусломанные стулья, старое кресло, в которое она усадила меня, маленькая железная кровать, покрытая чем-то

темно-желтым, маленький столик, шкаф с отломанной створкой. Вначале я подумала, что Ахматова принимает меня не в своей комнате, что это не может быть, что она не может так жить.

С первых же слов выяснилось: после ее отлета из Ленинграда в сентябре 1941 в ее комнату, несмотря на всяческие брони, поселили бухгалтера из Управления по охране памятников искусства и старины. Бухгалтер в ту зиму страдал от голода и холода, как и все в Ленинграде. Он жег все, что мог. Он сжег обстановку Ахматовой. Он сжег ее книги. Он сжег ее архив. Его останавливали.

— Война... — отвечал он.

Потом он умер.

— А мне ничего не жаль! — сказала Ахматова со своей особой, свойственной ей, полуулыбкой, — я не понимаю, как это можно — любить вещи! Я и раньше ничего не любила.

— Значит, вы давно освободились от рабства вещей?

— Я вообще не понимаю этого. Мне и освободиться не пришлось. Я не знаю этого чувства.

Какая-то девушка, которую она называет Ирина,¹⁰ принесла чайник, Ахматова налила чай, выложила на тарелочку печенье. Мы курили, пили чай и беседовали — о разном: о голоде той зимы, о людях, которые погибали, не умея расстаться с вещами, о безлюдии города.

— Я не знаю, как можно здесь жить, — сказала Ахматова, — здесь же никого нет! Город совсем пустой, совсем. На чем все держится — непонятно. Зато ясно видишь, что до войны все, видимо, держалось на нескольких старичках. Старички теперь умерли — и духовная жизнь прекратилась. Здесь же действительно ничего нет. И дышать нечем.

Где-то в разговоре я упомянула об искусстве беседы, о том, что искусство это утрачено.

— Да... causerie... — задумчиво сказала она, — этого совсем нет. Нигде. Почти нигде.

— А как было в Ташкенте? — спросила я.

Она оживилась и засмеялась.

— А там все ко мне приходили, приходили... Пришла одна дама, очень милая, очень культурная, и прочла мне

двухчасовую лекцию о Грибоедове.¹¹ Потом посмотрела на часы, попрощалась и ушла. За нею пришел Ян¹² — этот, лауреат за своего Чингисхана! — и прочел мне двухчасовую лекцию о Чингисхане. Потом посмотрел на часы и ушел. За ним пришел еще кто-то и прочел мне новую двухчасовую лекцию о чем-то очень интересном. И потом также посмотрел на часы и ушел. А я за все время, кажется, и полслова не сказала...

Она встала, подала пепельницу, пожала плечами.

— Они все словно сговорились не выпустить меня из Ташкента без законченного высшего образования...

О театре:

— Нет, я не бываю нигде. И совсем не тянет. Я много ходила по театрам во время НЭПа, так обстоятельства складывались... А балет теперь разве можно смотреть, они, по-моему, разучились даже руки поднимать по-балетному! Раньше это все были прелестные девочки, холеные, за ними в каретах приезжали... А теперь я посмотрела как-то на кордебалет: все это бедные, усталые женщины, тут и примус, и магазины, и жилплощадь... какие уж тут танцы! Они же устали. Корифейки танцуют прекрасно, конечно... Уланова, Дудинская. До войны меня уговорили поехать посмотреть Дудинскую. Очень хорошо танцует, я получила удовольствие, но кордебалет...

— Я не люблю Сюлли-Прюдома...¹³

— В Москве я люблю только арбатские переулочки. И переулочки Замоскворечья. Потому что в этом месте Москва еще сохранила план деревни: там разбросанность и линии строений такие же, как в деревне...

— В Ленинграде выжили немногие... но какой ценой некоторые выжили!

— Случилось ужасное за это время. О людях, которых я привыкла уважать, любить, смотреть на них, как на настоящих людей, узнаешь теперь такое... Как страшно обнажились люди во время вашей великой блокады! И какой звериный лик проступал... Нет, не звериный, хуже...

— Сколько же лет Гнедич? Неужели только тридцать шесть! Правда, у нее как будто нет возраста — ей можно дать и двадцать и шестьдесят.

— О Ленинграде написано много, но все не так... Все какие-то "меридианы" или вроде...
— О Ленинграде написано много, но все не так... Все какие-то "меридианы" или вроде...

Приходит какая-то "старинная" дама в шляпке-коробочке. Лица ее я не вижу в густых сумерках. Зовут ее Валерия Сергеевна.¹⁴ Она много говорит и делает много мелких и изящных жестов избалованной и кокетливой женщины. Она немолода и называет Ахматову на "ты".

— Аня, дай мне чашечку чаю! Чай с сахаром — это такая роскошь! Я набожно пью такой чай!

Из ее непрерывного велеречия я узнаю, что она знакома с Ахматовой с пятилетнего возраста, что и она царскоселка, что они с Ахматовой никогда не ссорились...

— Представьте, у нас не было недоразумений даже из-за поклонников. Впрочем, мы разные, и поклонники были у нас разные...

... что они жили когда-то в Гунгербурге, что она знала Гнедичей с Фонтанки, так это были какие-то купеческие Гнедичи, совсем не стоящие внимания, что недавно финны послали в город снаряд и он разрушил дом на Боровой...

— Не может быть... — говорит Ахматова.

— Уверю тебя...

— Это было в 41-м, это первая бомба, — говорит Ахматова.

— Ах, оставь, пожалуйста, это было тогда, а это теперь...

Ахматовой неприятно. Дама остроумничает и мелет несусветный антисоветский вздор — так говорили дамы в эпоху 1918–19 годов!

— Меня приглашают в Москву... — переводит разговор Ахматова.

— А квартира? — восклицает дама.

— И квартиру дают.

— А что — для этого славословие Москве написать нужно?... Этому, ну самому главному...

— Валя! — Ахматова в ужасе.

— Перестань! Я прекрасно знаю, как это делается...

Я принимаю все ее высказывания в шутку и за шутку, и Ахматова, видимо, мне благодарна. Она же меня совершенно не знает, а тут такие разговорчики...

Мы еще о чем-то говорим, но сбивчиво: всем владеет словоохотливая дама. Встаю, прощаюсь. Ахматова обещает зайти ко мне во вторник или в четверг. Провожает в переднюю, выходит на совершенно темную лестницу, предупреждает:

— В саду очень трудно найти нужную тропинку... как же вы пойдете?

Она изысканна, вежлива и холодна, как настоящая королева. Знаю, что присматривается ко мне, что я ее интересую, что, может быть, она даже вспоминает что-то...

... 27-го сижу дома с завязанным глазом, в халате, в ночной рубашке и Эдикиных¹⁵ туфлях. Читаю Ксении письма Николеньки и говорю о нем. Кто-то звонит, и Валерка торжественно возвещает в дверях:

— Софья Казимировна, к вам пришла Анна Ахматова...

Это не вторник и не четверг. Это среда. Я в самом ужасном виде. Мне сразу делается неприятно — я не хочу показываться Ахматовой в таком виде, но...

— Зажги свет в столовой... — кричу я и выхожу.

Ахматова одета скромно и почти бедно. На голове опять какой-то темный платочек. Ксения убегает, зная, что я хочу быть одна. Говорю о разном, не сразу овладевая разговором.

— Что вы хотели мне сказать о поэме? — прерывает Ахматова и смотрит, смотрит...

Приношу рукопись, разворачиваю, говорю. Слушает. Потом начинает отрицать — нет, это не о Гумилеве, кто мог так подумать! Это просто о том, о чем и написано, — о гусарском корнете и об одной актрисе.

— При чем же тогда признание автора в зеркальном письме? — думаю я, но пока не говорю ни слова.

Соглашается с интерпретацией некоторых строк.

— Это верно, — говорит коротко.

— Ваша поэма полна гнева и непощения...

— Пожалуй, вы правы... Я читала ее в Москве Пастернаку, он привел даже кулинарные сравнения. Ска-

зал — "раньше вы писали пассивные вещи, а здесь все кастрилы кипят, все шумит..."

— А кто вам говорит "о двусмысленной славе?" Это ваша Муза?

Она возмущенно поднимает руку.

— Нет, как можно! Это — романтическая поэма, такая Брюлловская женщина.

Я качаю головой, не соглашаясь. Она видит это и молчит. Говорю о ее словаре, о новых словах, не "ахматовских": скобарь, девка, дылда, и проч.

Смеется, — довольная.

Потом читает несколько своих вещей: "Из перламутра и агата...", о среднеазиатской луне и что-то еще. Слушаю не вещи, а ее голос, звучащий в доме, где ее любили.

Читает прекрасные строки, где острая и злая формулировка:

Чужих мужей вернейшая подруга
И многих безутешная вдова.

Спрашиваю:

— Это не войдет в сборник?

— Конечно, нет.

— А я это получу?

— Нет.

— О, какая четкость!

Смеемся обе. Думаю все-таки, что рано или поздно — получу. Пьем чай с реальными бутербродами: черный хлеб и сыр (слава Богу, что сыр дома был!).

— У меня какая-то грандиозная память. Я все помню.

— Некоторые свои вещи я ненавижу.

— Недавно одна моя соседка (работает она монтером на заводе) говорит мне, что моими стихами увлекается какой-то кладовщик у них и считает стихи хорошими. Я спрашиваю, какие же стихи он читал, что ему так понравилось? Отвечает: "У тебя написано что-то производственное о леснике!" Угадайте, о чем шла речь?

Я угадываю сразу:

— Сероглазый король.

Она так поражена, что пару раз переспрашивает:

— Но как вы могли угадать? Никто не угадывает!

— Сероглазого короля я ненавижу! Я нарочно в сборник вставила двустрочие, которое его портит: нарочно, из ненависти... Он волочится за мною, как рюкзак, мрачный и противный. Его ненавижу и еще "Сжала руки под темной вуалью". Это меня преследует. Куда ни пойду — всюду и Сероглазый Король и Сжала руки под темной вуалью. Даже Вертинский поет Сероглазого... Когда я об этом узнала, поняла, что вещь кончена, что и мне конец в этой вещи...

— Не отрекайтесь от прошлого, Анна Андреевна...

— Я не отрекаюсь, я просто ненавижу то, что разлюбила.

— Как вам понравилась дама, что была у меня?

Сразу понимаю, что она будет "сглаживать".

— Очень милая.

— А что вы о ней подумали?

— Что она настоящая "петербургская дама".

— Да. Это стилизация. И неудачная.

— Она актриса? — спрашиваю я нарочно.

— Вот видите! Вам даже показалось, что она актриса.

Вы ясно почувствовали игру, ненастоящее. Нет, это вдова психиатра Срезневского. Я знаю ее с детских лет. Она долго болела... психически. Я спасла ее с трудом. Теперь все прошло, выжила и поправилась, но...

Ахматова заботится о своей политической чистоте. Она боится. Она хочет, чтобы о ней думали, как о благонадежнейшей. Она знает, что я знакома с Горским из Литиздата. Видимо, у писателей ей намекнули, что я "со связями". Она мне кажется сразу милой и немного забавной.

Ставлю ей шаляпинские пластинки — Сугубую Екте-нию, Верую, Покаяния двери, Ныне отпущаеши. Слушает замечательно. Потом говорит:

— Такой родится один раз в тысячу лет.

Потом поясняет:

— Я ведь его слышала всего один раз — в 1921 г., перед его отъездом за границу. Ни за что прежде не хотела слушать его, считала, что ходят на него только буржуй и говорят о нем только они, когда больше говорить не о чем! А в 1921 г.

меня заставили пойти, уговорил один человек, сказал, что нечего больше дурака валять. Я увидела его в Борисе. Один раз. Необыкновенно!

Несколько раз возвращаемся к поэме. Ее, кажется, очень интересуют мнения широкой публики. Ей, почти как девочке, нравится загадочность, окружающая и поэму и ее.

— Поэма вызывает резко-противоречивые толки. Одни находят ее слабой, неинтересной, непонятной, худшим из всего, что я написала. Другие, наоборот, видят в ней самое лучшее из моего творчества, предел, вершины его, любят поэму, цитируют ее, учат наизусть, пропагандируют, клянутся ею.

— Композитор Козловский уже написал музыку к поэме. Он взял три части — Вступление, между прочим, — и написал: для симфонического оркестра и женского голоса. Для низкого женского голоса.

...Разве так я бы написала о Коле?! Я бы говорила о нем другими словами. Разве можно сказать о нем "гусарский корнет со стихами"... Я бы оскорбила его.

Прощаемся. Зовет к себе. Собирается скоро уехать на несколько дней в Москву. Благодарит — и в благодарности снова королева, холодная, вежливая и изысканная.

Через пару дней она звонит по телефону — очень молодой у нее голос по телефону, моложе, чем обычно, такой же капризный (не то слово, конечно), подчиненный флюктуациям ее неверного и ломкого настроения. Спрашиваю о здоровье (она часто болеет).

— Представьте, со здоровьем хорошо. Я очень хорошо чувствую себя.

— А у вас тепло?

— Как когда.. — голос насмешливо идет по тралееи, — когда топят, ничего...

— А профессор¹⁶ топит и продолжает сердиться?

— Да. Но это никого не пугает.
— Получается это у него, однако, внушительно...
— Боже мой, он же годами выработывал эту внушительность, это целая система... только не надо всему этому верить!

Просит прийти в пятницу 29 декабря — вечером.

29.12.1944. В этот вечер еду к ней с Островов, из Онкологического Ин-та. Чудесная луна, город весь голубой, призрачный, невероятный. Блоковский город. Улыбаюсь все время — и городу, и Китежу, и предстоящей встрече. И даже не боюсь, что провожающий меня врач, красивый истерик, улыбку мою может отнести к себе и объяснить собою.

В Шереметевском саду останавливаюсь, гляжу на синие тени деревьев, на голубые хрустали снега, на желтые пятна плохо затемненных окон. Импрессионистские выверты природы, музыки и стиха.

. . . Дверь открывает детвора — маленькая Антка и маленький мальчик. Детвора ничего мне не отвечает, бежит передо мной и поет во все горло:

— Анна Андреевна, Анна Андреевна, Анна Андреевна...

В комнате холодно и неудобно. Ахматова лежит на своей узкой и простой железной кровати. На столике рядом лампа, папиросы, недоеденный кусок белого хлеба, недопитая чашка чаю.

— Не снимайте шубку. У меня не топлено.

Объясняет: третий день не топят, профессору и Ирине некогда, они чем-то там заняты... А вчера она была в Союзе, поднималась по лестницам, много ходила — от этого и с сердцем вдруг стало плохо...

Не сказав ничего, сказала многое: не лестницы и не Союз Писателей: видимо, недоразумение с Пуниным, с его дочкой, видимо, демонстративная небрежность к температуре в ее комнате, видимо, демонстративная болезнь, кровать, одиночество. Не сердце — пусть даже больное! У нее, вероятно, чисто женское свойство: от обиды, от огорчения, от каприза искать прибежища в постели. Болезнью объясняется все — и ничего объяснять не надо.

Рассказываю ей об исчезновении Гнедич,¹⁷ передаю мою последнюю беседу о ней с британцем.

— ... он сказал тогда: what a dirty dog!..

— Не надо так! — пугается искренно Ахматова, — может быть, она самоубийца, а мы о ней такое говорим... —

Вскользь о праве выбора смерти.

— Нет, конечно, нельзя. И в Евангелии об этом есть. Ну, что вы, разве мыслимо!

— И теософию и антропософию не люблю (делает брезгливый жест) — все это мне чуждо. Я, как православная христианка, отрицаю это, осуждаю и не понимаю...

Еще не знает — как будет встречать Новый Год. Может быть у друзей, которые живут в первом этаже — боится утомлять лестницами сердце.

— Подумайте, Николай Николаевич все время отговаривал меня встречать Новый Год дома, вместе с ними. Он убеждал меня, что здесь мне не место. А когда я сказала ему наконец, что решила быть в этот вечер у знакомых, он почти обиделся... и так серьезно объявил мне: "Ну, я так и знал!"

И при этом ее улыбка, такая особенная, и чудесный жест беспомощности и обворожительной женственности, которая всегда et malgré tout знает свою страшную силу.

Мельком говорит о перевыборах в Правление Союза, о своем избрании.

— Я себя зачеркнула в списке, как это полагается, и сразу же ушла. А потом ко мне начали приходить и почему-то поздравлять... С чем же тут поздравлять? Смешно, правда? На первом заседании я не была, правда, потому что не знала. Меня никто не известил...

— Да, на днях я видела Лихарева. Сидит в редакции такой несчастный, жалкий, уродливый, похожий на большого орангутанга. Заискивает перед всеми. Чуть не плачет...

Интересуется, была ли я на вечере Вс. Рождественского,¹⁸ какие впечатления.

— Читал хорошо, приличные стихи, — отвечаю, улыбаясь, потому что знаю, к чему ведет разговор, — читал

хорошие, приятные воспоминания, написанные хорошей, приятной прозой. Такая поэтическая проза, высокого качества. Очень многословно, правда, но...

— Зощенко говорил мне, что от многословия Рождественского спасения нету!

— Ну, не совсем так... Воспоминания легки, много анекдотов, о бале в Доме Искусств, об Экскузовиче и бакстовском платье, "похищенном" Ларисой Рейснер, о Блоке, о беседах и прогулках с ним...

Ахматова очень не любит Всеволода. Возмущается:

— Ну, что он может помнить и говорить о Блоке? Кто тогда знал Рождественского, кто обращал на него внимание! В 1919 г. я была замужем за Владимиром Казимировичем Шилейко, и Коля (Гумилев) просил его читать какие-то лекции по искусству в Студии Поэтов. Так вот — иногда к нам прибегал такой черноглазый юноша... пригожий. Сообщал, когда лекция, приносил какие-то бумаги. Это и был Рождественский. Я тогда впервые услышала о нем. Коля его не любил и всегда называл "Рождественский — шляпа". Он тогда был женат на Инне Малкиной — она такая черненькая, энергичная, предприимчивая, во всем помогала ему. Он, кажется, действительно шляпа. Хотя он и был тогда секретарем этой студии, но делала все Инна... Это сестра Кати Малкиной, знаете?

Ахматова волнуется — и волнение ее очень глубоко и явно. Она боится: что написал о ней Рождественский в своих мемуарах? Она заранее готовит почву:

— Он же обо мне ничего не знает. Я уехала из Царского, когда ему было пять лет. А что мы знали о нем? Только то, что у нашего батюшки есть сын — вот и все. Откуда ему известно — любила я каши или нет — и какой я была — и вообще все это...

— Вы были дружны с его сестрой, вашей одноклассницей...

Опять возмущение — и острая и холодная констатация:

— А я вот не помню, как ее звали...

— Вс. Ал. так почитающе относится к вам, что вряд ли его мемуары могут быть вам неприятны.

— Это теперь. Он знает, что я недовольна его книгой и, конечно, теперь уберет оттуда... пока я жива. А после моей смерти все это появится. Он и начал писать эти воспоминания в надежде, что я умру в Ташкенте — не переживу тиф, даст Бог — еще второй тиф будет...

Говорю ей о письме Рождественского ко мне по поводу книги воспоминаний и отношения к ней Ахматовой.

— Это он нарочно, чтобы успокоить меня.

(Ахматова такая женщина! — и любит доказательства женской логики).

Рассказывает с подчеркнутым ужасом, что все легенды и небылицы о ней идут от Голлербаха.¹⁹

— У нас в Царском был такой прекрасный булочник Голлербах. Все у него покупали. И, действительно, все у него было замечательно вкусное. Пирожные были очень, очень хорошие. У него были дети. Ведь у булочников бывают дети, не правда ли? И подумайте, его сын, тоже Голлербах, вдруг взял и написал Город Муз — и еще там что-то. И вообразил себя литературоведом, таким историографом поэтического Царского Села. Странно, не правда ли? Знали его отца, отец его был прекрасный булочник. Это было настоящее искусство. Жаль, что он не научил этому искусству своего сына. Может быть, он был бы гениальным пирожником.

(Ахматова вообще умеет убивать выбором невиннейших слов и ядовитейших интонаций).

... Два вечера памяти Блока — Инст. Литературы и Горьковский театр. Ахматову водят, как Иверскую — буквально. Говорит: "Что это они так со мной? Даже страшно..." Болеет, сердечные припадочки, но водку пьет, как гусар.

Вечера ужасны по организационной бездарности. Скука смертная. Никого из Москвы, никого от братских республик. Словно Блок — областной поэт. Вс. Рождественский читает не к месту притянутые "мемуары о небывшем". Выходит, что когда от Блока отвернулась интеллигенция (какая), он смог опереться только на это молодое всеволодово плечо. Бестактное выступление. Блок у него говорит много и пространно. Беньяш?

— Он все перепутал. Это его жена говорила, а он вообразил, что Блок.

Ахматову встречают такой овационной бурей, что я поворачиваюсь спиной к сцене с президиумом и смотрю на освещенный (ибо не спектакль, а заседание) зал. Главным образом мужская молодежь — встают, хлопают, неистовствуют, режут, как когда-то на Шалапине. Она розовая, довольная, смиренно лицемерящая. Слава одуряющая — и странная, странная...

Ночь на 22 сент. 1946. Пьем у Ахматовой — Ольга, матадор,²⁰ я. Неожиданно полтора литра водки. По радио и в газете — сокращенная стенограмма выступления Жданова... Ольга хмельная, прелестная, бесстыдная, все время поет, целует руки развенчанной. Но царица, лишенная трона, все-таки царица — держится прекрасно и, пожалуй, тоже бесстыдно: "На мне ничто не отражается". Сопоставляет: 1922-24 — и теперь. Все — то же. Старается быть над временем.

26 окт. 1946. Замечательная прогулка с Ахматовой. Летний, Марсово — такой необыкновенный закат — на крови — с гигантским веером розовых облачных стрел в полнеба. Говорит о себе:

— Зачем они так поступили? Ведь получается обратный результат — жалеют, сочувствуют, лежат в обмороке от отчаяния, читают, читают даже те, кто никогда не читал. Зачем было делать из меня мученицу? Надо было сделать из меня стерву, сволочь — подарить дачу, машину, засыпать всеми возможными пайками и тайно запретить меня печатать! Никто бы этого не знал — и меня бы сразу все возненавидели за материальное благополучие. А человеку прощают все, только не такое благополучие. Стали бы говорить — "вот видите, ничего и не пишет, исписалась, кончилась! Катается, жрет, зажралась — какой же это поэт! Просто обласканная бабенка, вот и все!" И я была бы и убита и похоронена — и навек, понимаете, на веки веков, аминь!

Обедаем у меня, пьем водку.

Интересный день.

О ней, действительно, очень много говорят. Разносятся слухи — паралич, сошла с ума, отравилась, бросилась в пропасть на Кавказе. Все ловит, собирает, пересказывает, улыбается — и: торжествует.

— Подумайте, какая слава! Даже ЦК обо мне пишет и отлучает от лика. Ах, скандальная старуха!..

21.12.1947. Около 11 вечера. Встречаемся с Ахматовой на дивных заснеженных улицах в ласковом декабре. Гуляем по переулочкам. Возмущенно рассказывает: в первые дни после знаменитого постановления у нее была шумная около-литературная дама Марианна Георгиевна (из б. "Ленинграда") и авторитетно и таинственно предупредила ее: месяц не выходить на улицу.

— Ну, а если выйду? — спросила Ахматова.

— Ташкент.

Ахматова и не выходила (она все-таки покорная!), никому об этом не рассказала, кроме Ольги Берггольц. Та сказала:

— Это она, вероятно, от себя.

Ахматова не поверила — и так-таки не выходила. По-моему, гораздо больше месяца. Много раз видела Ольгу. А теперь открылось, что еще в то время Ольга, рассказывая об этом Нине Ольшевской (жена Ардова) в Москве, сказала:

— Ей показалось, что ей запрещено выходить на улицу.

Ахматова кипит — разочарование в Ольге, недоверие, сомнения.

— Что же обо мне будут говорить? "Показалось"... значит галлюцинация? Значит сумасшедшая. Чаадаева хоть Николай I сделал сумасшедшим, а здесь — какая-то Ольга... Если это где-нибудь останется, ей поверят, поверят. Если потом и выздоровела, то все-таки была сумасшедшенькой.

Ольга упала. Ахматова советует — объясняться с ней или нет.

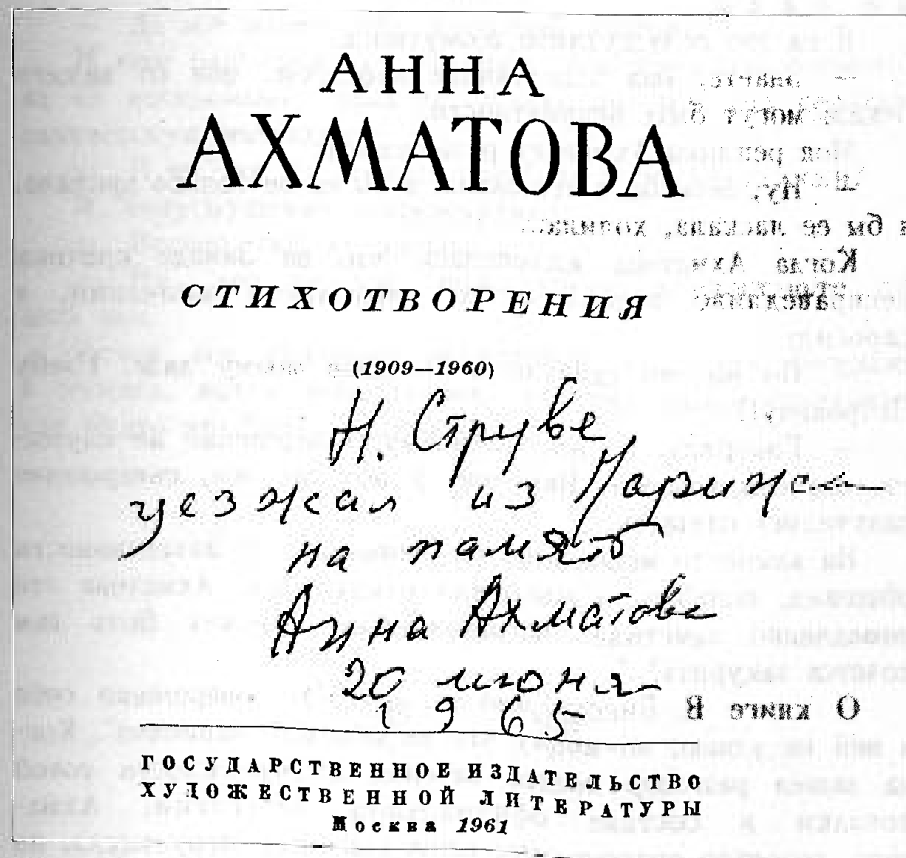
ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ксения Попова, приятельница Е. К. Островской.
2. Прокофьев Александр Андреевич (1900–1971), советский поэт.
3. Рывина Елена Израилевна (1910–1988), советская поэтесса.
4. Берггольц Ольга Федоровна (1910–1975), известная поэтесса. В начале 30-х годов вступила в партию, в 1938 арестована, подвергалась избиениям. Через семь месяцев освобождена. В 1950 г. получила Сталинскую премию.
5. Лихарев Борис Михайлович (1906–1962), советский поэт.
6. Гнедич Татьяна Григорьевна (1907–1976), дочь одесского вице-губернатора, поэт и переводчица. Арестована в 1945 г. В одиночной камере перевела "Дон Жуана" Байрона.
7. Могилянский Александр Петрович, литературовед.
8. Хмельницкая Тамара Юрьевна, литературовед, род. в 1906 г.
9. Моряк английского военного флота, участвовал в бунте, приговорен к смертной казни, бежал в Советскую Россию, где работал на московском радио. Знакомство с ним было, как будто, причиной ареста Т. Гнедич.
10. Ирина Пунина, дочь от первого брака Н. Н. Пунина.
11. Подразумевается здесь историк Милица Васильевна Нечкина, впоследствии академик.
12. Ян (наст. фам. — Янчевецкий) Василий Григорьевич (1875–1954). Первая часть его трилогии о Чингисхане удостоена Сталинской премии за 1941 год.
13. Французский поэт (1839–1907), первый лауреат Нобелевской премии (1901).
14. Срезневская (рожд. Тюльпанова), подруга Ахматовой с детства. В начале 1946 г. была арестована и осуждена на семь лет лагерей. См. воспоминания В. С. Срезневской и вступительную статью о ней И. Пуниной в журнале "Звезда", № 6, 1989. Памяти В. С. Срезневской посвящено стихотворение "Почти не может быть. Ведь ты была всегда..." (1965).
15. Эдик — брат Софьи Казимировны Островской. В 1940 арестовывался, но был вскоре освобожден.
16. Имеется в виду искусствовед и третий муж Ахматовой Николай Николаевич Пунин, в квартире которого Ахматова снова жила по возвращении в Ленинград.
17. Исчезновение оказалось арестом.
18. Всеволод Рождественский (1895–1977), поэт, сын царскосельского священника, в молодости был близок к акмеистам.
19. Голлербах Э. Ф. (1895–1977), автор книги о Розанове, составитель антологии стихов, посвященных Ахматовой, — "Образ Ахматовой", 1925 г.
20. Ольга Берггольц и ее муж.

Никита СТРУВЕ

"ВОСЕМЬ ЧАСОВ С АХМАТОВОЙ"
(Добавления)

В записи о трех парижских встречах с Ахматовой,* я сознательно опустил несколько ее реплик, относящихся к людям тогда еще живым, кое-что запомнил, а кое-какие обстоятельства встречи изменил. Пользуюсь юбилейными днями, чтобы уточнить и дополнить эту запись.



* Напечатано во втором томе "Сочинений" Анны Ахматовой, Мюнхен, 1966. Перепечатано в журнале "Звезда", № 6, 1989.

О Георгии Иванове Ахматова отзывалась необычайно резко: "Это мы его с Колей из грязи слепили... У Ирины Одоевцевой, в отличие от Иванова, зловерного вранья нет. Но уж очень она из себя вдову Гумилева изображает, таких вдов у Гумилева было множество". Арнольд Самсонович Блох, раздобывший Ахматовой комнату в гостинице "Наполеон" и участвовавший в одной из наших бесед, как-то осведомился, почему Ахматова не хочет принять Софью Григорьевну Лафит (урожд. Тумаркину), профессора Парижского университета, издавшую первую и тогда единственную антологию стихов Ахматовой на французском языке.

— Она мне звонила. Я ей сказала (растягивая по слогам) н е н а д о...

Я на это полушутливо возмутился.

— Знаете, она заведующая кафедрой, мне от вашего отказа могут быть неприятности.

Моя реплика Ахматову развеселила:

— Ну, если бы я это знала, я бы ее не только приняла, я бы ее ласкала, холила...

Когда Ахматова жаловалась, что на Западе критики несправедливо пишут о ее длительном молчании, я спросил:

— Но вы это сказали в Лондоне моему дяде, Глебу Петровичу!?

— Говорила, но он, по-моему, совершенно не слушает, все сам говорит. Впрочем, у нас так все, совершенно разучились слушать.

На какое-то мгновение мое внимание, от интенсивности общения, ослабло, я мысленно отключился. Ахматова это немедленно заметила, встревожилась: "Может быть вам хочется закурить?..."

О книге В. Виноградова о ней: "Я совершенно себя в ней не узнаю, по-моему это не обо мне написано". Когда зашел разговор поздно вечером о возможности новой поездки в составе официальной делегации, Ахматова, вероятно предчувствуя свою кончину, взгрустнула, но все же промолвила: "А ведь живут же некоторые до ста лет!"

Обстоятельства моего третьего посещения описаны не совсем точно. Когда Ахматова предложила, чтобы магнитофон переночевал у нее (что предполагало, что я за ним заеду на следующий день), я все же решил не навязываться и взять его с собой. На следующее утро раздался звонок от Ани Каминской: "Анна Андреевна просит на вокзал не приезжать, еще не известно, как на это посмотрят, а вот приезжайте проститься в гостиницу", — куда, естественно, я немедленно и поехал. Одну реплику того утра я тоже опустил. О гумилевской родственнице, принесшей ей семейные реликвии, Ахматова мне сказала:

— А та, что мне это принесла, даже не знает, что на Западе вышел "Реквием"!

— Как это так? — спросил я.

— Да вот живет себе животной жизнью...

И еще одну реплику позволю себе привести, несмотря на ее нескромный характер, чтобы лишний раз передать ахматовскую интонацию:

— И вы так же хорошо говорите и по-французски?

Я, полусмущенно, полуискренно:

— Вернее, так же плохо...

— Ну, это вы уж, пожалуйста, предоставьте судить нам.

Почти все сказанное Ахматовой за этими беседами я сегодня, почти четверть века спустя, слышу отчетливо, как будто это было сказано вчера.

мно ,звонящи * малей волонедзя хилка



ПОЭТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО АННЫ АХМАТОВОЙ

Третий сборник стихотворений Анны Ахматовой "Белая стая" вышел в Петербурге в 1917 г. Несколько беглых газетных заметок — вот все, что могла дать критика последнего трагического четырехлетия. Художественная оценка и донныне не оформилась: она расплывается в туманности случайных и противоречивых мнений. В дальнейшем мы будем рассматривать только стихотворения сборника "Белая стая", тем более, что предыдущие книги Ахматовой "Вечер" и "Четки" уже были оценены в нашей критической литературе.¹

Группа поэтов, к которой принадлежит Анна Ахматова, сознательно отграничила себя от предшествовавшего направления и поэтике символизма противопоставила программу новой школы "акмеизма". Все эти столь непохожие друг на друга поэты — Гумилев, Мандельштам, Кузмин, Ахматова и другие — были объединены не только деструктивной частью своего задания — борьбой с символической традицией, но и каким-то новым принципом словесного творчества. Это "новое", внесенное ими в поэзию, было создано не только самими творцами и критикой, но и смутно воспринято читателями. Стихи "молодых" поражали своей неожиданностью, свежестью; после вялых перепевов Бальмонта и Брюсова, они казались чистыми и острыми, преследовали воображение, оставались в памяти. Вместо туманного многословия символистов — сжатая точность новой школы, вместо темной торжественности — ясная простота, вместо абстракции мифотворчества — конкретные слова почти разговорной речи. Разрыв с традицией полный; "акмеизм" строит свое

* Напечатана в журнале "Русская Мысль", кн. III–IV 1921, София.

искусство на противоположных принципах. Определить их — значит начертать поэтику "акмеизма", отделяя при этом задуманное от выполненного, теоретические заявления от стихотворной практики.

Исходя из непосредственного эстетического впечатления, попытаемся обосновать его критически.

Вот несколько взятых наугад стихов символической школы:

Не будь его — и в храме Пустоты
Любовь не повстречала б красоты
И Слово не прославило б Молчанья. (Минский)

или:

И Неизбежное зияет,
И сердце душит узкий гроб...
И где-то белое сияет
Над морем зол, над морем злб!

Но с помаваньем отрицанья,
Качая мглой, встает *Ничто*. (Вяч. Иванов)

А рядом поставим стихи Ахматовой:

Думали, нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так что сделался каждый день
Поминальным днем, —
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей,
Да о нашем бывшем богатстве.

Эти две стихотворные техники столь различны, что получается впечатление разных языков. Дело тут, конечно, не в сюжете и образе — и то и другое в лирике вещи вполне второстепенные. Коренное отличие лежит в самом отношении поэта к слову, в обращении с ним. Поэт-символист оперирует общими понятиями, стараясь вместить в них бесконечное содержание: отыскивая символы сверхчувственного, он впадает в холодную аллегорию, и бесплодные, безжизненные существа вроде Неизбежное, Молчание, Ничто с "помаваньем,

качая мглой" бродят по обесцвеченной, опустевшей земле; мир вещей, форм и звуков превращен в "храм Пустоты"; взгляд поэта, устремленный в Вечность, слепнет для окружающей действительности. Вместо четких очертаний и пластических масс — туманности. Как характерна эта неопределенность пространственного и зрительного изображения: "где-то белое сияет".

Когда Бальмонт говорит:

Лик луны, любовь лелея,

Мир чарует с высоты,

— он нанизывает эстетически незначущие слова, бесформенные легковесные клочья ваты только потому, что они мягки и переливаются на "л". Все эти "легкие листы, млеющие на липе в лунных лучах" подобраны по принципу аллитерации: музыкальный признак порождает произвольные сочетания бесцветных слов.

Творчество Анны Ахматовой определяется сполна понятием пластичности: все приемы ее техники, все эффекты словесной выразительности обусловлены им. Пафос ее стихов — в живом восприятии пространства, его измерений и отношений. В пространстве размещаются предметы-вещи, замкнутые в своих объемах и ограниченные своими плоскостями. Поэт живет в мире конкретных форм, линий, масс и перспективы. Каждое явление внешнего мира возбуждает в нем мускульно-осязательное ощущение; впечатления локализируются в пространстве и времени. Кажется, что Ахматова притрагивается к вещам, осязает и взвешивает их. Как художник-пластик, она чувствует своеобразие и характерный тон материала; зная его природу, она воздвигает устойчивые архитектурные композиции из слов-камней. Даже психические состояния, чувства и настроения — оформляет она пластически; так движения души вступают в царство зримых, осязаемых форм.

Краски.

Для художника-живописца краски являются самоцелью. Его задача — достижение определенных красочных эффектов, развитие известных цветовых гамм и колористических

сочетаний. Для художника-пластика краски — только средство для воссоздания материала, ибо цвет говорит о глубине, весе и протяженности. Если поставить рядом, например, Веронезе и Монтенья, различие в обращении с красками станет очевидным. Первый создает ослепительно-пышные колористические симфонии, второй сокращает свою палитру до трех-четырёх тонов; его серо-желтые, белые и черные оттенки служат созданию пространства и материала, т. е. пластической вешности. Аналогия с техникой акмеистической школы — полная. Символисты упиваются блеском драгоценных камней, яркостью тканей. Их палитра хаотически пестра; стихи их перегружены цветовыми эпитетами. Припомним "солнечного" Бальмонта и "семь цветов радуги"² Валерия Брюсова. После красочной насыщенности стихов символистов, Ахматова поражает однотонностью колорита. Она вскрывает пластические стороны краски, поэтому ее гамма редко выходит из пределов blanc et noir; рисунок для нее важнее окраски; ее поэзия — прежде всего — графична.

Белый цвет, наиболее передающий плотность и непроницаемость материала, и в то же время вмещающий сложное эмоциональное содержание — любимый эпитет Ахматовой.

В "Белой Стае" мы находим "белый дом" (неоднократно), "белые колонны", "белая яхта", "белый камень", "белая сетка инея",³ "белые матовые страницы".⁴ Стремление к точности порождает выражения вроде: "дом почти что белый". В приведенных примерах эпитеты относятся к предметам и подчеркивают их пластическую природу. Преобладание эмоционального элемента замечается в сочетании эпитета с понятием не материальным: "белая смерть", "белый рай", "белый, белый Духов день". Художественный смысл конкретизации через материальное определение — очевиден. Пластическая концепция восприятий особенно рельефна в следующем архитектурном сравнении:

Последняя зима перед войной.
Белее сводов Смольного собора,
Таинственной, чем пышный летний сад
Она была.

Такой же плотностью и удельным весом обладает эпитет "черный"; он тоже применяется систематически: "черные поля", "чернеющие ветки", "черное небо", "черный узор оград" и т. д. Характерен для графической четкости Ахматовой, для техники *blanc et noir* образец:

В белом инее черные елки
На подтаявшем снеге стоят.⁵

Красный цвет, более всех остальных насыщенный и плотный, встречается в сборнике во всех его оттенках. Такие выражения, как "красное горячее вино", "красные прутья лозы", "красный кленовый лист", "красногрудая птичка" не живописуют предметы, а определяют их. В данных сочетаниях цвет есть характерный и неотъемлемый признак их природы, свойство материала, а не особенность раскраски.⁶ Из нюансов красного цвета отметим: "венеч червонный", "костер багровый", "кровавые зарницы" и наконец оригинальные сочетания "малиновый свет" и "малиновые костры". Все они вполне соответствуют основному принципу пластического использования краски. Несомненно "китайский желтый домик", "желтый мост" — не цветные декоративные пятна, а словесные определения материала (желтый=деревянный). Невещественные, бесплотные тона — синий, голубой, зеленый представлены исключительно малыми цифрами (3-4-1). Этим исчерпывается цветовая гамма Ахматовой.

Формы.

Художник-пластик создает предметы в их массах, протяженности и весе. Внешние очертания, движение линий, направление поверхностей, распределение плоскостей, — вот что привлекает его внимание. Вещи должны ожить и непосредственно влиять на чувство. Ахматова говорит о "круглом луге", "круглом колодце", "круглом крыльце дома", о "косых дождях", "кривой стрелке", "мосте скривившемся немного", о "покатой крыше", "гладком берегу", — и чувствуется, что на эти эпитеты падает патетическое ударение; они перестают быть случайным украшением, т. к. в них вскрывается движение масс, пластическая жизнь вещей.

Этот жизненный пульс особенно осязателен в образах "наклонный путь", "лесная и пологая дорога". Направлением внушается ритм движения, а последний есть непосредственный возбудитель чувства. Передача поверхностей достигается формальными выражениями "рыхлые поля", "затоптанные поля", "снег примятый" и др. эмоциональное содержание прямой линии, ассоциирующейся в нашем воображении с представлением покоя, неподвижности, мертвенности тонко использовано в стихотворении "Столько раз я проклинала это небо, эту землю".

А во флигеле покойник
Прям и сед лежит на лавке...

— и дальше:

А раскрашенные ярко
Прямо стали георгины
Вдоль серебряной дорожки... (стр. 76)

Язык форм и линий слишком мало изучен, и воздействие пластических величин на наше художественное чувство остается тайной. Несомненно, однако, что в приведенном выше стихотворении слова "прям", "прямо", "вдоль", "дорожка", "лавка" (= длинная прямая поверхность) играют большую роль в создании настроения безнадежной и мертвенной тоски. Шедевр словесной графики в следующем образе того же стихотворения:

Так же влево пламя клонит
Стеариновая свечка.

Вес и протяженность.

Эмоциональный тон легкости и тяжести (как радостного и угнетенного состояния) был осознан поэтическим восприятием еще в древности. В лирике Ахматовой он достигает полного развития. Например:

Горло тесно ужасом сжато.
.....
Только весла плескались мерно
По тяжелой невской волне. (Побег)

или:

Сколько раз я проклинала
Это небо, эту землю,
Этой мельницы замшелой
Тяжко-машущие руки. (стр. 76)

Радостно-весеннее настроение выражается внутренне-телесным ощущением веса:

Перед весной бывают дни такие
.....
И легкости своей дивится тело. (стр. 93)

Психическое состояние неизбежно уплотняется; грусть — это физическая тяжесть: два мира — чувственный и духовный — проникают друг друга, и все, к чему ни прикоснется поэт, становится пластикой. Если строка: "В недуге горестном моя томится плоть" допускает еще чисто физическую интерпретацию "недуга" и "томленья", то в стихах:

Высоко небо взлетело,
Легки очертанья вещей,
И уже не празднует тело
Годовшину грусти своей... (стр. 94)

— процесс конкретизации "грусти" завершается. Выражение "грусть тела" (вместо обычной грусти души) быть может приводит нас к самому истоку новой поэтики.⁷ Светлая настроенность души дана не в "лирических излияниях", а в пластической вешественности: "Легки очертанья вещей". Даже "тени" у Ахматовой наделены весомостью. Весьма характерно следующее сравнение:

Из памяти, как груз отныне лишней,
Исчезли тени песен и страстей.

Способ передачи пространственного положения и удельного веса достаточно иллюстрируется примерами:

И мельканье искусных приборов
Над приподнятой легкой рукой... (стр. 49)

И закинутый профиль хищный
Стал так страшно тяжел и груб... (стр. 83)

В выборе метафор художественная апперцепция сказывается особенно отчетливо. В облаках, например, музыкант чувствует ритм, живописец — краски, пластик — форму, так, для Ахматовой

Облака
На свежем небе вылеплены грубо.

Размеры предметов и их объемы только на почве пластического мироощущения из величин, в художественном отношении нейтральных, превращаются в величины значимые. Отсюда небывалый пафос, которым наполняются у Ахматовой эпитеты большой, высокий, широкий.

И стоит звезда большая
Между двух стволов.⁸

или

И две большие стрекоты
На ржавом чугуна ограда...⁹

Или в "Четках": "В лучах луны летит большая птица". Пафос высоты: "Высоко небо" (стр. 14); таящаяся в эпитете потенция движения раскрывается в другом стихотворении:

Высоко небо взлетело... (стр. 94)

— и тогда становится понятным эмоциональный взлет в торжественных строках:

Так много камней брошено в меня.
.....
И стройной башней стала западня
Высокою среди высоких башен.¹⁰

Наконец, эпитет "широкий" применяется для пластического оформления световых и воздушных явлений:

Этот ветер — *широкий* и шумный. (стр. 50) в И
Широк и желт вечерний свет. (стр. 102)¹¹

Материал.

В нехудожественной речи слова так далеко ушли от образа, что конкретная основа их нами более не воспринимается. Мы оперируем ими, как вполне абстрактными, алгебраическими значками. Кто теперь в слове "окно" почувствует глубоко поэтический первоначальный образ "око" — глаз дома? Такие названия предметов, стертые, окаменелые оболочки отлетевших образов, не могут служить материалом словесному искусству. Поэт стремится к производному и первоначальному; за словами он видит предметы, а в предметах — материал. Ахматова ощущает грузную силу и пластическую энергию металла и камня.

Как в ворота *чугунные* въедешь,
Тронет тело блаженная дрожь. (стр. 58)

или:

И чернеющие ветки
За оградой *чугунной*... (стр. 46)

или уже известные нам стихи:

И две большие стрекозы
На ржавом *чугуне* ограды. (стр. 44)

В стихотворении о Бахчисарае читаем:

Он слетел на дно долины
С пышных *бронзовых* ворот. (стр. 56)

В стихах о Павловске:

И на *медном* плече Кифареда
Красногрудая птичка сидит.

Вообще эпитеты Ахматовой вводятся главным образом для *пластического выражения предмета*. О материале же говорят и другие характерные для ее техники определения: "стеариновая свечка", "шелковое одеяло", "дубовая доска", "стеклянное крыльцо", "эмалевый образец", "дудочка из глины", "фарфоровый идол". Нередко центр тяжести переносится на материал, и получается пластическая метонимия:

Стал у церкви, *темной и высокой*,
На *гранит* блестящих ступеней,

и дальше:

А над *смуглым золотом* престола
Разгорался Божий сад лучей. (стр. 101)

Явления нематериальные овеществляются при посредстве эпитета, сравнения или метафоры.

Потускнел на небе синий лак. (стр. 17)

или:

Пустых небес прозрачное *стекло*. (стр. 65)

или:

Звезд *излисты алмазы*.

Ощущение материала пребывает даже в основе самых смелых метафор.

Я не слыхала звонов тех,
Что плавали в лазури чистой,
Семь дней звучал то *медный смех*,
То *плач* струился *серебристый*. (стр. 29)

Эпитет "золотой" в стихах Ахматовой выходит из цветовой скалы и выражает плотность и звонкость металла. Например, "золотые стихи" (торжественные, звучные), "шум крыльев золотых" (тяжелые, важные взмахи крыльев). В стихе "Шумят деревья, весело-сухие", в последний эпитет вложено столь разнообразное содержание, что он может быть раскрыт тройко: графически (четкие линии сухих ветвей), пластически

(распределение масс) и акустически (сухой шум); из этого комплекса вырастает эмоциональное действие (*весело-сухие*). Наконец, некоторые формально-пластические эпитеты только передают мускульное ощущение ("плотные, низкие облака"). Припомним, что символистам облака представлялись бестелесными тенями, неуловимыми снами. Они плотное делали расплывчато-воздушным, Ахматова воздушное — наделяет плотностью. Даже ветер своеобразно материализуется в ее стихах: "Теплый ветер нежен и упруг".

Пластика тела.

Художник должен в точности знать природу своего материала. В смысле эмоциональной выразительности, словесный материал не однороден и не однокачественен. Общими понятиями вроде "любовь", "страсть", "горе", "радость" нельзя вызвать соответствующих чувств у слушателя, сколько бы синонимов ни прибавлять к ним. Психическое состояние может быть передано, внушено только чувственным образом, объективацией в позе и жесте. Дело психологии — *описывать* душевные процессы; искусство не анализирует чувства, а создает их.

Поэтому пластика тела — один из самых могущественных художественных приемов; каждый аспект тела побуждает зрителя к "вчувствованию", к безотчетному переложению языка форм на язык чувства.

Ахматова никогда не повествует о своих переживаниях и настроениях: она острым штрихом закрепляет их пластическое выражение, — и ритм душевной жизни непосредственно передается воспринимателю. В одном стихотворении сборника "Четки" она выражает смятение, замешательство, волнение словами:

Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

В "Белой стае" подобных примеров множество. Стихотворение "Побег" насыщено тревогой, ужасом, почти

отчаянием. А между тем — оно целиком выдержано в объективно-повествовательном тоне.

А черное небо светало,
Нас окликнул кто-то с моста.
Я руками обеими сжала
На груди цепочку креста.

Этот инстинктивный жест суеверной надежды и детской веры в минуту страшной опасности красноречивей криков и молитв.

Горе — безмолвно; слова, *описывающие* скорбь, всегда излишни, а следовательно и нехудожественны. Поэт "закрывает лицо руками", — и в этот жест мы вкладываем глубокое эмоциональное содержание.

И только совесть с каждым днем страшней
Беснуется: великой хочет дани.
Закрыв лицо, я отвечала ей. (стр. 27)

Или:

А я, закрыв лицо мое,

.....
Лежала и ждала ее

Еще не названную мукой. (стр. 29)

Или:

Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня. (стр. 90)

У Ахматовой мы находим пластические воплощения смирения молитвы: Так я, Господь, простерта ниц (стр. 25), нетерпеливого ожидания:

На диване
Сидит и ждет меня.
И шпорою короткой
Рвет коврик пополам. (стр. 79)

Смертельной тоски:

Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою. (стр. 26)

В заключение проследим, как разработана поэтом банальная лирическая тема "разлуки". Вместо стереотипа — жалоб, уверений, "сердечных излияний" — сухой перечень фактов. Только в первой строке дается лирический лейтмотив:

Мы не умеем прощаться,

— а дальше запечатлеваются поступки и предметы (Все бродим плечо к плечу... ты задумчив, а я молчу... в церковь пойдем... не взглянув друг на друга, выйдем... сядем на снег... легко вздохнем) и финал такой же безмолвный: вся глубина любовной тоски вмещена в жест:

И ты палочкой чертишь палаты,
Где мы будем всегда вдвоем.

Пластика действия.

Лирика Ахматовой в основе своей драматична. Несколькими, сдержанными словами она создает впечатление большого движения, борьбы, устремленности. В лапидарных сурово-спокойных строках закованы возможности драматической жизни и силы. (Ср. "Белый дом", "Побег", "Бесшумно ходили по дому", "Мы не умеем прощаться" и др.). Действие в ее стихах всегда индивидуально-конкретно. Если слово не овеществлено эпитетом, глагол, относящийся к нему, берет на себя эту функцию. Так, например: Из памяти твоей я вынул этот день (стр. 106). Или:

Из памяти *вынул*
Навсегда дорогу туда. (стр. 93)

Несомненно, глагол наделяет здесь существительное пластической плотностью (его можно "вынуть").

Общее глагольное понятие обычно развертывается в ряд определенных поступков. Такой художественный прием можно было бы назвать "пластической дифференциацией действия". В сборнике "Четки" встречается такая разверстка понятия "не будем жить вместе":

Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А вечером не поглядим в окно.

В "Белой стае" вопрос "как ты можешь жить" воплощается в двух рельефных действиях:

Как ты можешь смотреть на Неву,
Как ты можешь всходить на мосты? (стр. 34)

Понятие "любить" расчленяется пластически:

Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют,

— точно так же наиболее абстрактный глагол "жить" неожиданно распадается на "гулять, целоваться, стареть".

Незначительные на первый взгляд действия вдруг создают исчерпывающую полноту картины: "я не была нежной матерью" в переводе на пластический язык Ахматовой означает:

Не бранила, не ласкала,
Не водила причащать...¹²

Пластические мотивы.

Наиболее близкий по технике к Ахматовой поэт, Мандельштам назвал сборник своих стихов "Камень". Это название знаменательно для школы "акмеистов". Все они — зодчие; камень, с его энергическими изломами, грузностью и силой, — символ их архитектурной поэтики. Все они повторяют слова Мандельштама:

Из тяжести недоброй
И я когда-нибудь прекрасное создам!

Для Ахматовой характерно влечение к пластике камня, любовь к зданию-дворцу, церкви, дому, к его стенам, окнам, ступеням. Рассмотрим архитектурные темы ее лирики в направлении возрастающей сложности: камень-дом-город.

В стихотворении 1916 г. (стр. 110) разрабатывается один из канонических мотивов любовной лирики: она ждет милого издалека.

Нынче другу возвратиться
Из-за моря крайний срок.

Шаблон требует, чтобы она вспоминала милого, его лицо, голос и т. д. У Ахматовой ничего подобного: ей снится "дальний берег", но не живописно, а только пластически. Эмоция возбуждается массами и формами:

Все мне дальний берег снится,
Камни, башни и песок.

Ассоциация: милый — дальний берег — камни поражает своей неожиданной остротой. Образ любимого материализуется, оттого предмет так волнует: все они лики одной любви; их пластическая явь — голос его:

Зачем притворяешься ты
То ветром, то камнем, то птицей?

Так "недобрая тяжесть" камня пронизывается трепетом чувства, и в этом — объяснение эстетической действительности пластической техники Ахматовой. Вчувствование в природу материала делает метафору — поэтической реальностью и развивается в целый миф-фабулу. Древний мотив вражды людей к поэту, сформулированный Лермонтовым (В меня все ближние мои / Бросали бешено камня), — у Ахматовой приобретает своеобразное раскрытие в архитектонике:

Так много *камней* брошено в меня,
Что ни один из них уже не страшен,
И стройной *башней* стала западня,
Высокою среди высоких башен.
Строителей ее благодарю.

Отсюда раньше вижу я зарю...

— и т. д.

Эта концепция легко может показаться искусственной тому, кто не поверит в подлинную реальность "каменной"; конечно, из алгебраических значков нелепо строить "высокую башню"; но для поэта — камень — плотная весомая величина, и притом эмоционально-выразительная.

Легко проследить процесс овеществления на стихотворении о воспоминании. Автор исходит из затертого выражения "во мне сохранилось воспоминание"; это "воспоминание" конкретно локализуется; оно "лежит", как лежат предметы; оно лежит глубоко в душе. Так подготавливается переход к сравнению:

Как белый камень в глубине колодца,
Лежит во мне одно воспоминанье.¹³

Сравнение здесь не *ornement poétique*, а непосредственное выражение эмоционального тона души. Камень-воспоминание так реален, что:

Мне кажется, что тот, кто близко взглянет
В мои глаза, его увидит сразу,

— но воспоминание — это сам любимый, и поэт верит в подобные превращения:

Я ведаю, что боги превращали
Людей в предметы, не убив сознания.

Ты превращен в мое воспоминанье.

Пластический принцип от художественного мотива "камя" приводит к теме здания, дома, жилья. Дом в стихах Ахматовой не только место действия, не только декорация; она говорит о нем с какой-то торжественной важностью, как о большом и сильном существе. Эмоциональный тон, как воздух, обливает его стены, крышу и окна; ударение падает то на наружный вид, архитектурный ансамбль, то переносится внутрь, в комнаты, "палаты", "горницы". Дом, в котором живет человек, — запечатлен его духом, согрет его сердцем; он — как бы пластическое отражение человека. Отсюда эстетическая сила стихов:

Твой белый дом и тихий сад оставлю,

— вместо "тебя оставлю", или:

Красный дом твой нарочно миную,
Красный дом твой над мутной рекой.

Последние строки как будто внушают образ таинственного обитателя; смутно угадывается связь души с этим "красным домом".

В стихотворении "Утешение" поэт говорит о юноше, убитом на войне:

Он Божьего воинства новый воин,
О нем не грусти теперь.
И плакать грешно, и грешно томиться..

— слишком спокойные, почти официальные выражения; но вот в следующей строке проливается вся сдержанная нежность и ласка. Прочтем эти строки рядом:

И плакать грешно, и грешно томиться
В милом родном дому

Впечатление совершенно иное — предыдущие слова вдруг согреваются и смягчаются.

В доме умирает человек ("Бесшумно ходили по дому"); у постели умирающего происходит сцена примирения. Он спрашивает ее, может ли она простить, она отвечает "могу", и тогда:

Казалось, стены сияли — джальте-анте II
От пола до потолка.¹⁴

В восмистишьи (на стр. 35) настроение сосредоточенного покоя и отречения воспроизводится сухим перечислением фактов: место, где поэт живет, книги, которые он читает. В первой же строке сконцентрирована вся эмоциональная сила стихотворения:

Под крышей промерзшей пустого жилья
Я мертвенных дней не считаю.

Даже любовная тоска воплощена в четких линиях и стройных формах:

Из памяти твоей я выну этот день,
Чтоб спрашивал твой взгляд беспомощно туманный,
Где видел я персидскую сирень
И ласточек, и домик деревянный?

В художественном восприятии произошел резкий сдвиг; обстановка, аксессуары заняли передний план, мелочи декорации приобрели еще небывалый пафос и заслонили собой людей, но не кажутся ли они новым "превращением" личности, новой личиной чувства?

Еще один шаг — и мертвая каменная громада оживет, станет чистым источником эстетического волнения. Дом, как живое существо, тончайшими и сокровеннейшими нитями связан с сердцем поэта; его размеры, линии, краски созвучны с его песней. Ему посвящается шесть строф стихотворения "Белый дом":

Здесь дом был почти что белый,
Стеклянное крыльцо.
Сколько раз рукой помертвелой
Я держала звонок — кольцо

.....
..... я мой дом отыщу
Узнаю по крыше покатоЙ
По вечному плющу.

В этих деталях — глубокое лирическое содержание; за архитектурными деталями скрыта целая повесть о любви. Но дом таинственно исчез — возврата к прошлому нет:

И видно, никто не знает,
Что белого дома нет.

В переводе на язык романтизма это звучало бы приблизительно так: "И никто не знает, что здесь разорвалось любящее сердце".

Понятно, что комната, в которой живет поэт, становится частью его души, его *etat d'ame*. И в горестном изгнании на "диком берегу", в "немилом городе" воспоминания о былом, о счастье и любви пронизывают стены "светлосиней комнаты", где "тень моя осталась и тоскует"; и оттого-то:

В доме том не все благополучно.

Не оттого ль хозяин пьет вино,
И слышит, как за тонкою стеною

Пришедший гость беседует со мною. (стр. 108)¹⁵

Наконец, в стихах, стилизованных в народно-православном духе, Ахматова пользуется архаизмами: палаты, светлица, горница. Например:

Как от блеска дивной ризы
Стало в горнице светло.

Город, как пластическое целое, как архитектурная индивидуальность, — вот вершина, до которой поднимается творческий путь Ахматовой. Не напрасно называет она свою жизнь "странствием" (стр. 119). Профили городов, очерченные немногими уверенными штрихами, проходят перед нами. Художественное впечатление создается преимущественно архитектурными массами.

Вот "древний Киев":

Над рекой своей Владимир
Поднял черный крест. (стр. 38)

Вот Новгород:

Большой тюрьмы белесое строенье
И хода крестного торжественное пенье.

Вот Царское Село:

И отсюда вижу городок,
Будки и казармы у дворца,
Надо льдом китайский желтый мост.

Но первое место в ее стихах несомненно принадлежит Петербургу. Поэт, обычно столь сдержанный, в отношении к нему расточает эпитеты. Благородная простота лирического стиля сменяется торжественностью славословия. Слова звучат более важно, громко и полновесно. "Чудесный город Петров", "град угрюмый", "дивный град", — славянизмы здесь усиливают величие и возвышенность образа царственного Петербурга. Высоким пафосом полны строки:

..... Пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные мрачные сады
И голос музы еле слышный.

И этот "город — марево", эти очертания столицы во мгле напоены такой напряженной любовью, что пластическая тема развивается чисто лирически. Стихи Ахматовой о Петербурге — любовные песни:

Оттого мы любим строгий,
Многоводный, темный город.

Наибольшая законченность словесного мастерства достигнута в стихотворении о Петербурге на странице 30-й. Чеканка слов, замкнутость композиции и величавая плавность ритма свидетельствуют о близости Ахматовой к пушкинской школе.

Был блаженной моей колыбелью
Темный город у грозной реки
И торжественной брачной постелью,
Над которой держали венки
Молодые твои Серафимы,
Город, горькой любовью любимый.

Не только по поэтическому заданию, но и по словесной формулировке ахматовская концепция Петербурга близка к пушкинской. Вспомним:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит...

или:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит... (А.А. Олениной, 1828 г.)

Аналогия простирается не только на эпитеты, но и на отдельные выражения; так, пушкинскому "оград узор чугунный" соответствует у Ахматовой "ограда чугунная" и "чугун ограды".

Резюмируя наш анализ, мы приходим к заключению, что новая поэтическая школа, представителем которой является Ахматова, вполне определяется принципом пластичности. Тем самым она возвращается к "пластической" традиции в русской поэзии. Через шумные "революции" символистов, через 60-80-ые годы она перебрасывает мост к пушкинской поэтике — к благородной простоте и спокойной ясности школы 20-30-х годов. Формальный и все оформляющий гений Пушкина непосредственно влияет на Ахматову, Кузмина, Мандельштама и др. Пушкинистам предоставляется провести эту параллель более систематически, распространив ее на ритм, синтаксис и композицию. Называть акмеистов

"нео-классиками" (соответственно наименованию символистов "нео-романтиками"), однако, преждевременно, так как до сих пор понятие "классицизм" остается метафизической туманностью. Когда в него будет вложена реальная совокупность художественных приемов и средств определенной школы, только тогда мы будем иметь право некоторые стихи Ахматовой именовать "классическими". Например, разве строфа:

Иди один и исцеляй слепых,
Чтобы узнать в тяжелый час сомненья
Учеников злорадное глумленье
И безразличие толпы,

— разве эта строфа не звучит "по-пушкински"?

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Наиболее тонкой и оригинальной работой о "Четках" представляется нам статья Н. В. Недоброво в "Русской Мысли". Интересны также статьи Б. М. Эйхенбаума "Анна Ахматова" и В. М. Жирмунского "Преодолевшие символизм".
2. Заглавие одного из последних стихотворных его сборников.
3. Графика!
4. Последнее выражение остро передает зрительно-осозательное ощущение материала.
5. Ту же функцию выполняют тональности черного цвета: "веночек темный", "темный город", "мрачные сады" и пр.
6. Вполне аналогичны выражения "сизый голубь", "серая зола" и др.
7. То же телесное восприятие душевных состояний лежит в основе стихов:

В немилый город брошенное тело
Не радо солнцу,

— где тоска и угнетенность снова оформлены физиологически, а материальность тела усилена эпитетом "брошенное".

8. Значительность слова "большая" подчеркнута здесь вынесением его за существительное (инверсия).
9. Поэта-живописца несомненно привлекла бы окраска стрекозы, а не ее размер.
10. Знаменательно, что "высокий" ни разу не встречается у Ахматовой в переносном смысле. Выражение "высокие, чистые звоны" тоже конкретно; оно означает не "величественные звоны", а звоны, плавающие высоко в небе.
11. Из остальных пространственных эпитетов характерны: "дорога узкая, крутая", "низко небо *пустое*", "пустое жилье", "глубокое озеро", "маленький стол".
12. Не только пространство и его отношения, но и время оформляется пластически. Фиксация времени и временная перспектива служат фоном почти всех стихотворений Ахматовой. Ее не удовлетворяет обозначение времени года и дня; она чувствует эмоциональный тон месяцев и часов. Отсюда "тихий день апреля", "полдень январский", "ветер мартовский", "сентябрьский вихрь", "молитва воскресная", "предвечный тихий час"; характерно начало стихотворения:
"Двадцать первое. Ночь. Понедельник".
13. Тем же поэтическим сознанием создан финал другого стихотворения ("Четки"):
Пусть камнем надгробным ляжет
На жизни моей любовь.
14. Любопытную аналогию "эмоционализации" *interieur'a* находим у другого поэта той же школы, М. Кузмина:
Любовь сама вырастает,
Как дитя, как малый цветок...
.....
Не следил ее перемены,
И вдруг, о Боже мой,
Совсем другие стены,
Когда я пришел домой
.....
Как от *милой* детской печки
Веет *родным* теплом.
15. Стихотворение "Побег" — исключительно динамично. Беглецы, задыхаясь, мчатся "туда, где темно, темно". И все же, в этом вихре движения пластическая зоркость не покидает поэта. Он видит, что они бегут:
Мимо зданий, где мы когда-то
Танцевали, пили вино,
Мимо белых колонн Сената.

О "РЕКВИЕМЕ" АННЫ АХМАТОВОЙ

"Полупризнанная, как ересь" — эта строка Тарковского об Ахматовой в юбилейном 1989 г., кажется, устарела.

Всенародная слава ее, необратимо накатывавшаяся с начала 60-х годов, с публикацией ныне "Реквиема" достигла видимой кульминации. "Реквием" — это "Доктор Живаго" Анны Ахматовой, вещь еще и социальная, и в этом смысле — более доступная, чем эзотерика "Поэмы без героя" и биографической лирики.

Столь излюбленная филологами поэзия Ахматовой перекрывает филологию в большей степени, чем это принято думать, напрямую выходя (во многом благодаря именно "Реквиему") и на самого непосредственного читателя.

...В анкете Чуковского 1921 г. на вопрос "Какие стихотворения Некрасова вы считаете лучшими?" Ахматова назвала: "Влас", "Внимая ужасам войны", "Орина мать солдатская". Симптоматично, что после "Власа" (тут ее мнение полностью совпало с Достоевским, посвятившим "Власу" несколько страниц в "Дневнике писателя") — среди любимых некрасовских стихов Ахматова выбирает два, чья тема "мать-сын" отчасти предвосхищает центральную драму "Реквиема". И впрямь: во "Внимая ужасам войны" словно заключена сама "энтелехия" позднего эпического лиризма Ахматовой.

Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...
Увы! утешится жена
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!

Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости, и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

Ср. у Ахматовой:

Магдалина билась и рыдала,
Ученик любимый каменел,
А туда, где молча Мать стояла,
Так никто взглянуть и не посмел.

Приоритет материнского горя над прочими — тот же.

Конечно, сама поэтिका, образность, тон, интонация вышеститированного некрасовского стихотворения — импонировали Ахматовой, но, думается, именно *тема* в итоге определила в данном случае ее выбор, ставший пророческим.*

Однако ощущение смертной хрупкости материнства-сыновства было присуще ее лирике изначально. "Доля матери — светлая пытка, / Я достойна ее не была. / В белый рай растворилась калитка, / Магдалина сыночка взяла". (1914 г.; заключительная строка этого стихотворения: "Все брожу я по комнатам темным, / Все ищу колыбельку его." — прямо соотносима с концовкой стихотворения конца 40-х годов. "Все ушли и никто не вернулся", где тоже присутствует тема разлуки с сыном: "Буду я городской сумасшедшей / По притихшим бродить площадям").

"Ребеночек" и "кладбище" соседствуют и в стихе "Лучше б мне частушки задорно выкликать" (1914 г.). В "Молитве"

* "Орина мать солдатская" — вещь тоже, что и говорить, превосходная, но у Некрасова такого немало. Думается, и тут Ахматова назвала это стихотворение в числе наилучших по какой-то пророческой близости проблематики.

(1915 г.) есть строки слишком страшные, на которые, кажется, невозможно решиться, и в этом, по правде говоря, внутренняя недостоверность, явно ослабляющая стихотворение:

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка,* и друга,
И таинственный песенный дар.
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

Здесь патриотизм Ахматовой, как это редко у нее бывает, носит чрезмерный, гиперболический характер, заставляющий вспоминать патриотические "гимны" этого времени Ф. Сологуба и Г. Иванова...

Словно спохватившись, сразу за этим стихотворением Ахматова размещает другое (сборник "Белая Стая") — вариант противоположный:

Буду тихо на погосте
Под доской дубовой спать,
Будешь, милый, к маме в гости
В воскресенье прибегать...

В 1916 г. в апокалипсичном "Город сгинул, последнего дома / Как живое взглянуло окно" сюрреалистический юрод-арестант "Поднял руку со следом оков / И промолвил мне благостно-звонко: / "Будет сын твой и жив и здоров".

А вот самая страшная в русской поэзии "Колыбельная" (намного страшнее лермонтовской, 1915 г.):

[...]
Младший сын был ростом с пальчик,
Как тебя унять,
Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,
Я дурная мать.

* (Здесь и далее курсив мой, — Ю. К.)

Долетают редко вести
К нашему крыльцу,
Подарили белый крестик
Твоему отцу.

Было горе, будет горе,
Горю нет конца,
Да хранит святой Егорий
Твоего отца.

Та нота, которую Иосиф Бродский определил у Ахматовой как "ноту контролируемого ужаса", кажется особенно соприсуща — с первых же дней — именно "материнским" стихам Ахматовой.

... Несравненно скорбны "святые искренние слезы бедных матерей", до конца дней оплакивающих "своих детей, погибших на кровавой ниве", но еще страшней участь матери десятилетиями — изо дня в день — помнящей, что сын ее гибнет в аду концлагеря. В этом смысле трагизм жизни Анны Ахматовой вообще находится за пределами понимания — в ситуации пограничной (в ней находились тогда миллионы матерей и жен по всему Союзу, что и в выдавшей виды мировой истории дело неслыханное: массовый невроз, тихая истерия, не выходящая на поверхность. "Там все говорили шепотом", — пишет Ахматова в прозаическом предисловии к "Реквиему", но в поэтическом тексте: "Буду я, как стрелецкие женки, под кремлевскими башнями выть", "И выла старуха, как раненый зверь").

Описательный (не фонетический) звуковой ряд в "Реквиеме" строится на контрастах тишины и оглушающей фонограммы. Вот он в последовательности: шепот, "ключей постылый скрежет", шаги солдат. Дальше — по нарастающей: гудки паровозов, шум "марусь", женский вой. Потом тишина: "И ни звука — а сколько там / Неповинных жизней кончается". Тишина и крик "сублимируются" в последней главе:

И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомиллионный народ...

В "Реквиеме" за кровавой пленкой советской действительности зияет глубинная историческая ретроспектива — из

Ленинграда, Царского Села уводящая в допетровскую Русь и далее — к истокам Крестной христианской мистерии.

Сама рифма, точная и контрастная разом, свидетельствует об этом:

Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марусь.

"Русь" подготавливает тут первую "стрелецкую" главку "Реквиема":

Уводили тебя на рассвете,
За тобой, как на выносе, шла,
В темной горнице плакали дети,
У божницы свеча оплыла.
(...)

Похоже, уводят не сына — мужа. Столь, казалось бы, неожиданное замещение матери на жену (вдову), вызванное ассоциативными историческими рядами — резко расширяет амплитуду трагедии и тоже как бы выводит ее в иное — давнее время, когда женились рано и потому, как правило, "уводили" уже мужей, а не сыновей.

Следующая глава причудливо переносит нас на Дон, а в четвертой — бывшая "царскосельская веселая грешница" с передачей стоит "под Крестами". Так раскованна история и география "Реквиема", но в этом нет ни чертополосицы, ни аляповатости: высвечиваются разные куски одной жизни, блуждающей во времени и пространстве.* Вообще же — в географии "Реквиема" явственен поздний Мандельштам, она — в значительной степени та же, что у него: Москва, Ленинград, Царское Село, Дон, Енисей, Нева... Так

* "Стрелецкая женка" и "царскосельская грешница" органично соседствуют в "Реквиеме" именно как натуральные эпостаси автора. В 1916 г. в некотором роде аналогичное сопряжение разнородных реалий, пожалуй, не удалось: "Ведь капелька новгородской крови / Во мне — как льдинка в пенистом вине".

...Ничего, — заметил в 1920 г. Чуковский, — что Ахматова иногда говорит о Париже, об автомобилях и литературных кафе, это лишь сильнее оттеняет ее подлинную старорусскую душу".

гениальный друг Ахматовой — через географию — присутствует в "Реквиеме"...

Но несмотря на такое симфоническое богатство образов и географии, "Реквием" суров, лапидарен.

... Заглавие, посвящение, эпитафия, дата под стихотворением — его специфические, но полноправные художественные компоненты, часть его музыки.

Отсутствие в "Реквиеме" эпитафий и всего того многослойного оркестрового антуража, который так барочно и пышно присутствует в "Поэме без героя" — конечно же не случайно, этим достигается подобающий аскетизм выражения.

... В конце 40-х годов Ахматова пишет стихотворение, еще и по сей час широко в СССР не обнародованное, где заключение сына и одиночество матери в перечне катаклизмов стоят сразу после надругательств над Божественной Истиной:

Осквернили пречистое Слово,
Растоптали священный глагол,
Чтоб с сиделками тридцать седьмого
Мыла я окровавленный пол.
Разлучили с единственным сыном,
В казематах пытали друзей,
Окружили невидимым тыном
Крепко слаженной слезки своей.
Наградили меня немотою,
На весь мир окаянно кляня,
Обкормили меня клеветою,
Опоили отравой меня.
И до самого края доведши,
Почему-то оставили там —
Буду я городской сумасшедшей
По притихшим бродить площадям.

Здесь, собственно, отреферирован весь "Реквием", каждая строка прямо соотносится с каким-либо его образом или темой. Только предпоследняя строфа написана на, так сказать, свежем материале ждановского погрома.

После третьего ареста сына в 1949 г. Ахматова "кидается в ноги палачу" с жертвой для нее максимальной: цикл "Слава

миру" лишен даже отблесков вдохновения (едва, но бликующих — на советских стихах Мандельштама и Пастернака о Сталине).

Строки одного из последних стихов этого цикла особенно драматичны в контексте нашего разговора:

Рыдая, дети на полях Кореи
В родное небо с ужасом глядят...
А их заокеанские соседи,
Погрязшие в непоправимом бреде,
Еще волят о правоте своей, —
Убийцы и мучители детей.

... Очевидно, это натуральное свойство великого поэта: десятилетиями живя замкнуто и достаточно одиноко в узком кругу нескольких духовно близких людей, ибо то, что было шире — были уже (отнюдь не заокеанские) "убийцы и мучители детей", Ахматова вместе с тем чувствовала себя не просто жертвой или рядовой участницей мировой истории, но кем-то, кто дает повод для нового исторического раскрута. Об этом она говорила сэру Исае Берлину в Лондоне через двадцать лет после их первой встречи. Много в ее утверждениях показалось И. Берлину "неубедительным, подчас даже причудливо-ирреальным". "На своих догматических предпосылках Ахматова строила теории и гипотезы, которые в ее устах звучали как непререкаемая истина, примером таких *idées fixes* было ее твердое убеждение в том, что наша встреча в первый год после войны имела серьезные и даже исторические последствия".

Ахматова полагала, что не только травлю ее и новый арест сына обусловила эта встреча ("Передавали, что вождь сказал: "Значит, наша монашенка принимает в своей келье иностранных шпионов?" — и добавил нечто непристойное", — пишет И. Берлин), но и ... всю холодную войну между коммунистическим и свободным мирами. И. Берлин считает это странным и даже нелепым преувеличением, хотя и оговаривается, что от "иррационального характера сталинской эпохи" можно было ожидать все что угодно.

Но нам важно не сколь права была Анна Андреевна в своем понимании хода мировых послевоенных событий,

главное для нас — ее мироощущение. Недостигаемые бункеры кремлевского небожителя она ощущала в непосредственной близости от своей фонтанной каморки, приводные ремни истории шли из нее и были коротки.

Правда, ощущение, что Сталин и недостижимо далеко, и сюрреалистически близко, возможно, входило в сам сценарий сталинской диктатуры (это подогревалось и дразнящими соблазнительными звонками тирана Пастернаку, Булгакову и др.).

Сочетание эпического и частного в лирике у Ахматовой — именно производное от ощущения подключенности напрямую к историческому процессу.*

И не только к историческому, но и мировой мистерии вообще.

Оси координат "Реквиема" — суть перекладины голгофского креста, когда трагическое действие Голгофы не отстраненно, не эстетически, но именно лично по-христиански переживается, и потому натурально отождествляешь себя даже и с Богородицей.

Аналог такому сознанию видится, например, в искусстве изобразительном — до высокого итальянского Возрождения. Ахматовская "Голгофа" представляет собой как бы синтез иконописной и той — что в произведениях северяно-европейцев: Дюрера, Грюневальда (Изенгеймский алтарь) и т. п.

* Только сразу почувствовать это не всегда просто. Л. К. Чуковская записала: "А. И. Солженицын, выслушав "Реквием", сказал Анне Андреевне: "Жаль, что в ваших стихах речь идет всего лишь об одной судьбе". "Разве одной судьбой нельзя передать судьбу миллионов?" — удивлялась Ахматова.

Два с лишним года спустя (май 1965 г.) она жаловалась Н. А. Струве, что Солженицын спросил у нее: "А в ваших стихах не слишком ли много тайны?" Он сказал, что "Реквием" не то, потому что там только мать и сын, а нужно другое, не частное, а общее".

Впрочем, Чуковская замечает: "Не согласившись сначала с Солженицыным, Ахматова впоследствии, по-видимому, все-таки приняла его слова во внимание: стихи, содержащие во втором четверостишии слова:

И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки
— включены были Анной Андреевной в "Реквием", я полагаю, как результат замечания, сделанного Солженицыным".

...Так, несмотря, казалось бы, на родимые пятна Серебряного века и декаданса с их эстетической игрою и культурологической опосредованностью, поэтическое сознание Ахматовой в существенном своем элементе было несекуляризированным, духовно средневековым.

"У нее издревле сбереженная старорусская вера в Бога. / . . / Она последний и единственный поэт православия". (К. Чуковский).*

... Ахматовой не надо было перевоплощаться из светской собеседницы, жившей интересами мировой культуры, — в богомолку: это происходило естественно, ибо всегда жило на глубине.

Л. К. Чуковская в дневниковой записи от 1 мая 1953 г. рассказывает о их паломничестве в Сергиеву Лавру:

"Мы вошли в Патриаршую церковь. На паперти копошились нищие, совершенно суриковские. Анна Андреевна, сосредоточенно крестясь, уверенной поступью, торжественно шла по длинному храму** вперед, а мы плелись за нею. (Мне в церкви всегда неловко). Пение было ангельское. Из Патриаршего храма мы пошли в другой, поменьше.*** Вокруг нас шептались: "Мирские, мирские!" Тут пели не только певчие, но и прихожане. Пение стройное, сильное, будто не люди, а сама церковь поет. Лиц таких не увидишь на улице Горького; тут нет серой, безличной толпы, стертых лиц, каждое лицо определенное свое, и глаза не без сумасшедшинки, особенно у женщин.

* Так можно выразиться, лишь считая православие навсегда отошедшим в прошлое раритетом российской жизни. На деле же — раритетом оказалась сама статья Чуковского ("Ахматова и Маяковский", 1920) — раритетом сознания немалой части интеллигенции того апокалипсического времени.

В контраст лирике Ахматовой определяя стихи Маяковского как богохульные, Чуковский в конце сознается с обезоруживающей откровенностью: "Я, к своему удивлению, одинаково люблю обоих: и Ахматову, и Маяковского, для меня они оба свои".

** Очевидно, имеется в виду трапезная с церковью св. Сергия, XVII в.

*** "Другой, поменьше" — Троицкий собор с иконостасом работы Андрея Рублева и Даниила Черного. В притворе — крупный Богородичный образ.

Анна Андреевна опустилась на колени перед иконой Божьей Матери, а мы вышли".*

Именно благодаря чувству православной соборности, в отличие от эгоцентрика Пастернака (которого время, однако, тоже заставило все додумать, вжиться в православие и высказаться по существу), Ахматова при всем своем природном индивидуализме была — по точному замечанию Бродского — "поэтом человеческих связей: лелеемых, интенсивных, прерывных. Она продемонстрировала их эволюцию — сначала через призму индивидуальной души, затем через призму истории, которая выпала на долю ее и ее народа".

Вот почему Ахматова ныне столь почитаема: по большому счету, она самый народный постреволюционный поэт, и надо быть доктринером, чтобы предпочитать ей Есенина.

...Ахматова умеет стихотворно рассказывать (Эйхенбаум недаром соотносит ее поэзию с прозой Чехова и Достоевского), никогда не впадая, однако, в заунывную повествовательность, в публицистику. Ее рассказ и связан, и метафоричен одновременно, лирическая ткань всегда преобразена. Думается, именно это так и раздражало, скажем, Твардовского, жившего какой-то беспросветно усредненной провинциальной поэтикой, давшей, однако, в советской поэзии тяжелые метастазы.

Но при всей благородной преобразенности у Ахматовой сохраняется доступность "человеческой речи". У нее не найти таких, пусть и гениальных, эксцессов — как "Стихи о неизвестном солдате" Осипа Мандельштама. Классицистический лад уберег ее от сюрреалистической деформации, порождаемой многоступенчатыми ассоциативными связями. Такая плавность чуть сужает диапазон звучания ее лирики, зато делает по плечу большему количеству людей, чем поэтика Мандельштама.

* М. Ардов вспоминает: "Когда месяца за два до ее кончины, навещая ее в больнице, я рассказывал о поездке в Троице-Сергиеву лавру, Анна Андреевна сказала мне: "Это лучшее место на земле".

Но будет ли так всегда? Сохранится ли нынешний градус необходимости Ахматовой для читательских масс?

Будущее развитие цивилизации, а верней культуры и духа, покажет, сколь отчетливо грядущие поколения станут различать глубь и суть лирико-эпического мира Ахматовой. Будет ли он им близок, как нам, несмотря на некоторые издержки, связанные с изменением жизненного антуража в сторону большей унификации? В худшем случае голос Ахматовой станет неразличим, как неразличим он уже сейчас для некоторых монструозных стихослагателей (комизм в том, что чем они сами механистичнее — тем банальнее представляется им ахматовская поэтика).

Но не исключен и вариант средний. И тогда Ахматова будет "слышна" так — как слышался сэру Исаяе Берлину байроновский "Дон-Жуан", читанный ему Ахматовой жутковатой ночью 1945 года в Фонтанном Доме: "Будь я даже знатоком поэзии, я не смог бы сказать, какие места из Байрона она выбрала: она читала по-английски, но в ее произношении можно было понять разве что несколько слов. Закрыв глаза, она читала наизусть, я поднялся и отошел к окну, чтобы скрыть смущение. Может быть, подумал я, так мы читаем сейчас греческих и римских классиков; но и нас волнуют их слова, которые, произнеси мы их в присутствии авторов или их современников, были бы им совершенно непонятны".

30.XII.1988, Paris

БОГ АХМАТОВОЙ

Заключительное слово на Парижском международном симпозиуме

Разговоры об искусстве, наказывал Мандельштам, должны отличаться величайшей сдержанностью. Этот завет еще больше применим к разговорам о связи религии и творчества, о духовном мире писателя: сдержанность здесь должна быть максимальной, поскольку религия принадлежит к сокровенной и последней глубине каждой личности: не "privatsache", а нечто с большим трудом поддающееся адекватному выражению. Сдержанности, по-французски *re-deur*, в религиозной области придерживалась, как я думаю, и сама Ахматова. В многочисленных записях бесед с нею религиозные мотивы занимают совсем скромное место, и это не только по вине собеседников. Ахматова в беседах не раскрывала этой стороны своей души. В Лондоне, со свойственной ей прямоотой, Татьяна Сергеевна Франк (вдова философа) — передаю это с ее слов — хотела спровоцировать Ахматову на религиозный разговор (верующая ли вы?), но вполне безуспешно. Ахматова ее переадресовала к ... Пастернаку, мол, он все эти вещи знает куда лучше, чем я.

Однако, величайшая сдержанность не означает молчание, а еще менее замалчивание. Доказывать, что Ахматова была христианским поэтом, не приходится. Слишком явна христианская тональность ее поэзии, слишком отчетливы свидетельства о ней или ее собственные, хотя и редкие, высказывания. Напомню кратко известное "утешительное" письмо Пастернака 1940 г., в котором он называет ее "истиной христианкой". Или ее же ответ на вопрос театрального критика Виленкина, верит ли она в Иисуса Христа не только как в историческую личность. — "Разумеется, как и все более или менее интеллигентные

люди..." (Сколько в этом "более или менее" великолепного презрения к бескультурному безбожию XX века). Или недвусмысленное высказывание в разговоре с С. К. Островской: "И теософию, и антропософию не люблю... все это мне чуждо. Я как православная христианка отрицаю это, осуждаю и не понимаю".

Наиболее подчеркнуто, недостаточно сдержанно, о христианстве Ахматовой высказался Чуковский в статье 1923 года (недавно перепечатанной в "Вопросах литературы", № 1, 1988): он назвал Ахматову "последним и единственным поэтом православия". Формулировка Чуковского мне представляется слишком лобовой, катафатической. Если уж искать определение, я бы сказал, спровоцированный неправомерным уничижительным суждением проф. Нива ("У Ахматовой — барочная душа"), что у Ахматовой "православная душа". Это словосочетание она сама употребила в стихотворении-отповеди покинувшему Россию Б. Анрепу:

Так теперь и кошунствуй, и чванься,
Православную душу губи.
В королевской столице останься
И свободу свою полюби.

Да, у Ахматовой была *anima naturaliter christiana* и даже точнее *ortodossa*. У нее, и в этом ее исключительность, не было эволюции в религиозных взглядах. Она не стала христианкой, она ею неизменно была всю жизнь. Всем известно, что Пушкин от вольтерьянства постепенно подошел к умудренному религиозному мировосприятию; что Боратынский оставался "дитей и страсти и сомненья"; что Тютчев от языческой натур-философии обратился под воздействием Елены Денисьевой к христианству, и т. д. Примеры эти можно умножить. Одна Ахматова, от начала своего творческого пути и до конца своих дней, до последних предсмертных записей (она умерла на первой неделе Великого поста, вспомнив о том, как в детстве отмечался Чистый понедельник, а последнее, проставленное ею на земле слово было о первохристианских мучениках) оставалась в

спокойной, непоколебимо-твердой вере-уверенности в
Того:

Кого когда-то называли люди
Царем в насмешку, Богом в самом деле,
Кто был убит и чье орудье казни
Согрето теплотой моей груди...

Такого исповедания христианской веры, заодно отточенно-объективного и сугубо-личностного в русской поэзии еще не было.

"Бог на груди Ахматовой". Позвольте этим лаконичным определением заключить и вступление к моему, за неимением времени, не прочитанному докладу, и наш симпозиум, перед тем как мы поедем молиться за упокой ее души.

Как сказала Ахматова о ленинградцах, погибших во время блокады:

Для Бога мертвых нет.*

* Ввиду непроходимости Божьего имени в те времена, цензура или сама Ахматова заменили "Бога" на "славу".

СУДЬБЫ РОССИИ

Прот. Михаил ЧЕЛЬЦОВ

ВОСПОМИНАНИЯ 1918 ГОДА

Протоиерей Михаил Павлович Чельцов до революции был преподавателем курса богословия в петербургском Институте Гражданских инженеров и настоятелем домовою при нем церкви. Позднее был председателем епархиального совета при петербургской митрополии. Будучи близким сотрудником митрополита Вениамина, был вместе с ним обвинен в противодействии сдаче церковных ценностей и приговорен к расстрелу. Однако приговор был смягчен и половина осужденных получила замену высшей меры наказания на пятилетнее лишение свободы. После освобождения отец Михаил был настоятелем Троицкого (Измайловского) собора в Петербурге и неоднократно преследовался, а в 1930 г. — расстрелян.

Первый обыск

Январь 1918 года. Царят уже большевики и повсюду нагоняют страх и трепет. Из боязни вооруженных сопротивлений в самом городе, они ищут везде и у всех всякого рода оружие. Я никоим образом не думал, что оружие или сохранение его они предположат и у нас — православных священников. Но у страха глаза велики. Подвергся обыску и я. Был зимний вечер, — так часов 8—9. У меня собрался причт Троицкого Измайловского собора: обсуждали подробности нашего участия в устраиваемом тогда, а потом и состоявшемся весьма грандиозном всегородском многочисленном Крестном ходе из всех церквей к



Протоиерей Михаил Чельцов

Алекса́ндро-Невско́й Лавре, а от нее — к Казанскому собору. Настроение у нас у всех было довольно-таки приподнятое, но бодрое и даже, пожалуй, дерзновенное. В связи с этим Крестным ходом по городу ходили самые разнообразные слухи. Говорили, что большевики его не допустят, т. е. как-либо предотвратят: тогда так еще было свободно, что ни о испрашивании разрешения у начальства на него, ни о запрещении его большевиками не могло быть и речи. Если же мы пойдем, то в нас будут стрелять из холостых орудий, чтобы возбудить панику и вызвать народное возмущение, чтобы потом как следует расправиться со всем духовенством и церковниками как бунтарями. Уверяли, что нашим Крестным ходом замышляют воспользоваться политические враги большевиков и стрельбой и всякого рода провокацией направить религиозное шествие на возбуждение против большевиков. И другое многое передавалось, и все, как обычно полагается, "из самых верных источников". Мы — церковные люди — бодрились, но все-таки побаивались возможных тяжелых эксцессов. Поэтому, например, и я приготовился к участию в этом ходе исповедно...

Собрались и толкуем. Семьи не было; она уехала от начавшейся голодовки в г. Ряжск; со мной оставался лишь старший сын Павел. Часто заходил кто-либо из служащих в институте, особенно Мария, жена церковного сторожа, прислуживавшая нам при нашем питании. Вероятно, от нее прослышали мы, что в институте, как в самом здании, так и в частных квартирах служащих (а я жил на казенной квартире — Забалканский пр. № 29), идет обыск. Это известие не только нас не смутило, — так еще были мы непривычны к этому искусству жизни, — но мы даже посмеялись. Кто-то заметил, а не придут ли с обыском и к нам, и как де отнесутся, увидев собрание. Но я, помню это хорошо, это замечание с горячей категоричностью отверг, заявив: зачем они пойдут в квартиру священника, — разве не ведомо всем, что священники по их духовным законам не имеют права держать у себя оружия... И на этом мы успокоились, продолжая заниматься своим делом. Так мы были наивны в то время.

Но наивность наша скоро должна была получить практическое вразумление... Является в квартиру покойный теперь смотритель института М. Н. и твердо заявляет, что сейчас с обыском придут и ко мне. Это известие нас уже несколько смутило, — особенно моих гостей, застигнутых в чужой квартире; но все-таки мы продолжали недоумевать, что это за обыск у священника, как, где и что "они" будут искать. Но как был стол у нас с чайной посудой и листом бумаги — набросков нашего маршрута для Крестного хода, так все продолжало оставаться и теперь: убрать или замаскировать что-либо мы не думали...

Действительно, через несколько минут являются трое неизвестных с ружьями, в сопровождении нашего смотрителя, — с шумом и лязгом, в фуражках на голове; и довольно-таки грубо и громко спрашивают у меня, как указанного им хозяина квартиры: нет ли у меня какого-либо оружия, предупреждая тут же, что если я скрою имеющееся и они его у меня найдут, то я строго и сурово буду за это наказан. Получив от меня заверения об отсутствии у меня такового, они обошли столовую и мой кабинет, поверхностно осматривая видимое, ничего не касаясь и не беря в руки. Я думал, что этим все дело и кончится. Но нет. Они поодиночке стали подходить к каждому из нас и, предложив нам в довольно деликатной форме поднять кверху руки, стали ощупывать нас, водя руками по одежде нашей, начиная сверху и донизу, и опять-таки ни в карманы наши не лазая, ни раздеться или распахнуться нам не предлагая.

Настроение во время обыска мною переживалось какое-то странное: здесь было и немало возмущения за это наглое недоверие, тут была и брезгливость при обшаривании хотя бы одежды, и смешно было смотреть на людей, занимающихся, как тогда казалось, пустяками; но только страха или какого-либо опасения за свое положение и за последствия обыска не было нисколько. Все-таки по уходе обыскивающих мы все чувствовали себя не в своей, что называется, тарелке, и скоро мои деловые гости ушли домой, и не только потому, что задача нашего собрания была выполнена... Неловко, тяжело, обидно было за все...

Первый арест

Конец июля 1918 года. Я в деревне у отца, на родине, куда приехал за семьей, чтобы вместе с ней ехать в Питер. И в деревне было далеко не радостно и не спокойно. У кого-то из знакомых мужиков отобрали землю, того-то обидели в хозяйстве и т. п. С одной стороны слышатся жалобы и виднеются слезы; с другой стороны наблюдается все возрастающее нахальство, грубость, всякого рода угрозы и насилия. Неспокоен и старец-отец, 50 лет просвященствовавший в одном селе: ему жаль одних, горестно за других, больно же за все возрастающее в селе хулиганство, междоусобие, даже драки. "Нам все теперь позволено", "все наше", "теперь нет господ" все чаще и громче, все циничнее и разрушительнее для сельского мира раздающееся, сильно волновало старца-священника. А тут и в церкви, на его смелые и громкие проповеди о грехе всякого беззакония, на его требовательный призыв не покидать веры отцов и не вводить новых грубых прав, — послышались грубые и дерзкие, громкие замечания вроде такого: "будет тебе, отец, морочить народ..." И хотя это слышалось не от коренных сельчан, а от распропагандированных москвичей, но и они были еще не так давно духовными детьми старца-священника, и он знал, как это семя зла быстро растет и распространяется. И отец заметно страдал и, несмотря на свой крепкий, молчаливый, все в себе переживающий и таящий нрав, нередко прорывался горькими сетованиями о настоящем и вздохами о еще более печальном, быстро грядущем будущем...

При такой духовной и внешней обстановке я получаю письмо из Питера, что здесь с духовенством беспокойно: арестован и неизвестно куда отвезен вскоре после Ильина дня о. Философ Орнатский, что грозят и другими арестами духовенству и они в страхе стараются выехать куда-либо подальше. И делается приписка, что и для меня было бы лучше не спешить с приездом в Питер и остаться пожить в деревне, пока, быть может, все уляжется и станет безопасным.

Прочно закрепилось в моей памяти настроение мое после этого письма. Вот, подумал я, и даже высказал в семье,

начинается и для нас... Что начинается, это еще не сформулировалось в определенных положениях, а тем более не представлялось в тяжелых последствиях; самое большее предполагалось — это тюрьма с возможно продолжительной высылкой. И письмо не только не смутило меня, но как-то приподняло, воодушевило, мне захотелось самому пройти через это горнило ареста. И я даже высказал в семье, что если будут аресты, то, конечно, мне не миновать их хотя бы потому, что я в то время был председателем епархиального совета. Не помню, чтобы отец или семья особенно были поражены этим письмом и открываемыми им недобрыми перспективами. Поэтому, кроме одного, мельком мне сказанного отцом совета: "а не лучше ли тебе, Миша, остаться в семье и священствовать здесь, вместо меня, хотя пока, на время", — я ни разу не слышал не только уговора, но даже и маленькой просьбы не ехать в Питер. Как было назначено, так мы и выехали, и в день Преображения Господня мы всей семьей были уже в Питере на своей казенной квартире. Да и в селе такая далеко не радостная и немирная вырисовывалась картина, что не было ничего побудительного, чтобы оставаться в селе...

В Питере пока все было видимо спокойно. Об о. Орнатском, правда, ничего не было слышно; ходили всякие слухи и даже очень печальные — будто бы расстреляли его; но им старались не верить. Других же арестов пока не было, и мы, как истые неунывающие россияне, успокоились, отдавшись своим обычным занятиям — служебным и семейным...

Не более как дней через десять начинаю слышать, что в городе стали арестовывать священников. И так приблизительно числа 18–20 августа (по ст. ст.) в воскресенье, часов в 8–9 утра, ко мне на квартиру является незнакомый мужчина и взволнованно начинает просить меня пойти отслужить литургию поздною в церковь св. Екатерины, что на Старо-Петергофском проспекте, и тем выручить прихожан ее из тяжелого положения. Здесь же передает, что в эту ночь все три их священника были арестованы и куда-то увезены и что еще тогда же арестованы священники там-то и там-то, и перечисляет мне, так что оказывается — в нашем

Нарвском районе не арестованным остался лишь один я, да еще два-три монаха из Ново-Афонского Подворья.

Тяжела была эта весть; но не унынием и страхом на мне она отразилась, а какой-то бессильной злобой на большевиков и решимостью им доказать, что арестами они нас не испугают. К этому присоединилось какое-то внутреннее уверение, что если меня одновременно со всеми другими не арестовали, а арестовывали не по случайному выбору, а огулом, то значит меня исключили из числа подлежащих аресту и теперь не арестуют... Я дал согласие идти и отслужить литургию в Екатерининской церкви. И жена хотя и высказала опасение, как бы эта моя служба не навлекла на меня внимание и гнев большевиков и не подвергла бы меня опасности ареста, но сознавала, что я не должен отказываться от служения и должен идти. Быстро собрался и пошел...

Народу молящегося, помню, в церкви было немного. Испуг, навеянный большевиками за содержание веры и тем более за церковность, теперь, при таком массовом и активном противлении их Церкви, охватил громадное большинство наших бывших прихожан. Служил я с каким-то особенным подъемом и воодушевлением. Мне хотелось самим служением ободрить молящихся, утешить их и показать им, что бояться нечего и не следует, думая, что Христос не с нами. На эту же тему говорил и проповедь. Заметно было, что молящиеся сильно страдали, искали в Церкви и прямо-таки требовали от меня духовной поддержки и подкрепления, во время проповеди многие плакали. После литургии я заходил к семьям арестованных священников; там была полная растерянность при совершенной неизвестности о судьбе их. Домой я пришел духовно удовлетворенным, но от всего пережитого взволнованным.

В этот ли вечер, в воскресенье, или на другой день, в понедельник, было в здании бывшего Исидоровского епархиального училища собрание всех преподавателей наших духовных учебных заведений для обсуждения вопроса о начале учебных занятий при нашей действительности. По обязанности председателя еп. совета, был на нем и я. Конечно, это

массовое изъятие духовенства было животрепещущей темой частных разговоров. Удивлялись тому, что я обойден этою "милостью" большевиков; предсказывали путь следования моим собратиям и советовали мне несколько ночей не ночевать дома. Теперь уже выяснилось, что арестовывали не определенных личностей, а всех, кого "они" считали за врагов своих и коих нужно наказать за только что совершенное убийство Урицкого, — арестовывали буржуев и духовенство, коих находили дома во время ночных обходов по квартирам. То же самое мне говорил и советовал встретившийся на Невском мой бывший ученик по школе Штейнберга Юденко, и даже настойчиво предлагал идти к нему ночевать. Я упорно отказывался, шуточно ссылаясь, что раз меня помиловали большевики, меня не возьмут и теперь; а у самого была какая-то спокойная уверенность, что от Бога не уйдешь. Пришел я ночевать домой.

Спать легли спокойно. Быстро и крепко все заснули и не сразу услышали резкие звуки звонка и сильные толчки в дверь. Отпираю и у дверей на площадке вижу двоих невооруженных, мне неизвестных лиц, а за ними смотрителя нашего, инспектора института А. К. Павловского, его помощника М. В. Красовского и сына директора В. В. Косякова. Трое последних, как они мне сейчас же заявили, были в положении уже арестованных. Мне был предъявлен ордер без указания в нем моей фамилии, а с общей пометкой на обыск и арест всякого. Зашли в квартиру. Начался обыск. Почему-то у меня в ту ночь не горело электричество. При начинавшемся рассвете не было особенно темно. Помню предъявившего мне ордер: это был, заметно по фигуре и выражению лица, простоватый и добрый рабочий с фамилией Никифоров, не по дикому, неистовому фанатизму большевика, а скорее по отправлению приказа творящий свое дело. Обошел он две-три мои комнаты, спросил, нет ли у меня оружия, ни до чего не коснулся и стал выходить из квартиры. Я в недоумении и растерянности спрашиваю: "А мне — что?" — и получаю в ответ: "А вас за что арестовывать, ложитесь спать". Все это продолжалось не более 5-6 минут. Мои семейные не успели одеться, чтобы быть свидетелями всего происходящего, как я, заперев дверь за ушедшими,

обратился к жене со словами: "Ну, вот видишь, что аресты духовенства меня не касаются, я свободен". Снова легли спать.

Не прошло и часу, не успели еще после пережитого волнения успокоиться, как слышим опять звонок. Совсем не предполагая теперь ничего недоброго и недоумевая, кто бы теперь, на рассвете, так рано мог звонить, иду отпирать дверь. Отворяю и ... вижу перед собой того же самого Никифорова, но уже одного, и слышу от него какое-то растерянное требование одеваться мне и следовать за ним. "Когда я сказал, что вас я не взял, то мне сказали, что его-то нам и надо", — как бы в оправдание своего второго визита ко мне, говорит он мне.

Итак, значит, и меня арестовывают. Но что же это означает? Как понять и растолковать, что сразу ареста не произвели? Как будто мой арест не из особенно нужных; не недоразумение ли это какое-нибудь, которое быстро рассеется. Но с другой стороны, чьи-то слова: "а его-то нам и надо", — как будто грозны и внушительны... Однако первое, как более успокаивающее, преобладает над вторым; успокаиваю семью на скорое возвращение и иду за моим стражем...

Приводит он меня в прежний участок на 3-ей Роте, д. № 8 или 10, вводит в узкую, но длинную комнату — арестантскую, с решеткой в одном окне и с широкой — во всю длину комнаты — деревянной настилкой для лежания, на высоте 1-1,5 аршина от пола. Тут теперь при свете уже начавшегося утра вижу своих институтских знакомцев, кроме Красовского, после допроса отпущенного домой, и некоторых других известных мне мужчин. Всех было здесь человек 25-30. Встречи и разговоры невеселые; все сводится к одному; забирают в качестве заложников за убийство Урицкого. Опасного как будто нет ничего, но и веселого совсем ничего не предвидится...

Скоро, минут 30-40 спустя, ведут меня к допросу. Допрашивал молодой человек лет под 30, в полувоенном одеянии, по виду из подпрапорщиков военного времени. В его вопросах не было ничего грозного, предвещающего опасность, но и ничего определенного, что бы раскрывало, хотя бы отчасти, за что и почему арестован. Допрос краткий, самый

общий, и возвращение снова в арестантскую. Не ожидал ни я, ни мои новые однокамерники этого конца. Мне все почему-то думалось, что меня на допросе же освободят; а мои товарищи по несчастью определенно заявляли, что за что же священника будут держать в тюрьме. Так в то время было сильно и живуче мнение о неприкосновенности личности священника, и это при сильно развивающейся проповеди неверия и безбожия от самых сильных и властвующих большевиков...

Камера была настолько узка, что двоим ходить по ней было нельзя: встречи были затруднительны. Поэтому приходилось или стоять, или лежать. Но и лежать на голых досках, без всякого захваченного из дома (так было у большинства из нас, в том числе и у меня) подголовья, было тяжело и больно. Хорошо было бы после бессонной ночи заснуть, но душевное волнение, при непривычном аресте, при тяжелой внутренней и внешней обстановке, не давало действия сну. Шли разговоры, гадания, рассказы о слышанном за последние дни, гадания об ожидающем нас. После данных нам допросов все единодушно решили, что скоро нас не отпустят. Но неужели нас надолго оставят в этой конуре? Да в ней задохнешься. Но куда же нас отведут? Не в тюрьму же?.. Ведь мы не преступники какие-нибудь. Можно ли известить родных о нашем положении, написать им; могут ли они принести спальное белье и что-либо поесть. Все вопросы и недоумения и никакого на них ответа, тем более успокоения. А тут, где-то невдалеке, раздавались какие-то не то стоны, не то крики кого-то не то избиваемого или пьяного, а может быть и сумасшедшего.

Не помню, давали ли нам что-либо поесть или попить, как будто бы нет. Хорошо помню, что поставленный у дверей нашей камеры сторож, по просьбе некоторых из нас, приносил откуда-то холодную воду и в металлической кружке подавал для питья. Я с собой не захватил ничего ни из спального белья, ни из съедобного. Мои институтские друзья были более предусмотрительны и усиленно угощали меня бывшими у них белым и черным хлебами в разных видах.

Русский, а может быть и всякий человек, находящийся в таком, можно сказать, некрасивом и стеснительном положении, бывает изворотлив и лукаво-находчив. И мы нашли скоро доступ к сердцу и милости кого-то из нашей стражи через обещание пополнить его карман и подкормить его голодающую семью. И часам к 10-12 дня стали поступать приношения к некоторым от их домашних. Появилась надежда на некоторое облегчение своего положения. Требовалось увеличить это облегчение.

В нашей малюсенькой камере от жары и духоты нечем было дышать, а от невозможности хоть немного двигаться появились боли в ногах от стояния и в теле от лежания. Не знаю, через кого и каким образом, но все-таки добились того, что часам к 3-м дня нас выпустили из нашей камеры в большую комнату, напоминающую некий зал, с открытыми и без всяких решеток окнами, выходящими на 3-ю Роту. Предварительно взяли с нас слово, что мы не будем подходить к окнам и тем более разговаривать с проходящими по улице. Вот еще какое доверие было в то время к интеллигенции и буржуям! Еще не смотрели на них, — по крайней мере все из так называемых пролетариев, — как на злодеев, коих нужно мучить и казнить.

Большое удовольствие нам доставила, показавшаяся нам в то время великой, столь маленькая свобода. Еще радость увеличилась, когда стали в передней комнате, как бы прихожей перед нашим залом, появляться наши родные с приносом белья и обеда. И при этих свиданиях к нам наши охранители относились по-человечески, доверчиво. Нам не мешали разговаривать, одного лишь потребовав от нас — чтобы не переходили за черту, отделяющую нас от передней, а равно и наши посетители к нам не проникали, что мы все в точности и самым добросовестным образом выполняли.

Не помню, о чем я говорил; помню, что ни у меня, ни у жены не было уныния и тем более страха. К тому же она и другие пришедшие к ней институтские барыни сообщили нам, что студенты института возмущены нашим арестом, что они начинают уже хлопоты о нашем освобождении, давая за нас поручительства, какие в данных случаях полагаются. Сообщили, что послана директору

института Вас. Ант. Косякову в Москву, где он в то время находился, телеграмма с извещением о случившемся и с просьбой начать хлопоты о нашем возвращении. Это нас, институтских, сильно приободрило и окрылило надеждами. Расстался я с женой и знакомыми уверенный, что скоро снова буду дома.

Часов в 5 дня нас опять пригнали в нашу камеру и заперли... Все мы большие эгоисты. Когда события или известия те или иные нас не касаются, мы их как бы не замечаем вовсе, они для нас как будто не существуют. Все мы и до сегодняшнего дня слышали о многочисленных арестах в связи с убийством Урицкого, но они для нас как будто не существовали. Теперь, запертые в свою камеру после свидания с родными, мы оказались погруженными в пересказ и переживания сведений с воли об этих арестах. Многочисленность их, нам переданных, и не меньшее число нами теперь воспомнутых, нас поразила. Стало ясно, что начался красный террор; забирают заложников; предложены к устройению концентрационные лагеря. Но только ли? И вчера на свободе мы слышали и сегодня на свиданиях нам передавали, что многие арестованные как-то пропали, нет о них никаких сведений. Где же они? Сначала шепотком, а потом вслух стали передавать о расстрелах, об отвозе на баржах в море и потопление там. Вести нерадостные, и думы пошли мрачные. Невольно являлся вопрос: а что ожидает каждого из нас? В ответ на это становился другой вопрос: а кого же расстреливают? Т. е. с кем борются большевики? Кого они считают предназначенными к уничтожению своими врагами? Я-то, т. е. каждый из нас, — к какой категории принадлежу: расстреливаемых, высылаемых, запираемых, освобождаемых? Каждый, приводя по памяти лица, с которыми, по слухам, большевики так или иначе покончили, сопоставлял себя с ними и... то уверялся, что не его класса и положения людей постигает та или иная кара большевистская, следовательно и его если и постигнет, то уж не расстрел, нет, быть может и в лагерь сошлют, быть может, освободят; то как раз обратное казалось ему: именно его и нужно большевикам, его-то и уничтожат. Примеры от

предшественников для всех классов и категорий и с судьбой всяких исходов у каждого из нас бродили перед глазами... Все-таки преобладало бодрое настроение: один другого утешал и старался уверением другого в благополучном окончании ареста успокоить больше самого себя... Бессонная ночь, утомление дня и все пережитое повалили нас на наши доски, и скоро мы успокоились сном. Вопрос, что с нами будет, и даже более близкий и интересный: долго ли нас продержат в этой клетушке, когда и куда отправят, так и остался без всякого ответа. Часов в 5-6 утра нас будят. Приказывают собрать вещи и выходить. Идем на улицу 3-ей Роты. Выстраиваемся в ряды и, окруженные небольшим отрядом — человек 5-6 — каких-то вооруженных оборванцев, идем. Нас приводят на 10-ю Роту в большой дом, помещают в большой комнате обычного дома и оставляют под надзором одного сторожа. Никого, кроме нас, — а нас было человек 20, — в комнате не было. Нередко проходили через эту комнату — очень просторную, но почти без всякой мебели для сидения — какие-то по-видимому занятые службой люди, — все более из породы самых настоящих пролетариев, — в буквальном смысле этого слова. С любопытством осматривали нас; конечно, я в своем одеянии привлекал их особенное внимание; но никто никаких замечаний и тем более бранных слов не изрыгал даже и по моему адресу. Часа через два нас опять без всяких допросов повели наверх, на второй этаж. И тут на лестнице какой-то тип в солдатской шинели обругал меня, и злобно-таки.

Во втором этаже, в комнате небольшого размера, мы нашли таких же горюнов, как и мы, ранее нас сюда приведенных. Среди них оказались знакомые мне лица. Было тесно, жарко (стоял жаркий августовский день). Пробыли мы здесь до 2-3 часов дня. Не помню за это сидение ни каких-либо разговоров, ни встреч; как будто бы все были погружены в свои думы, переживали такое состояние, когда не хочется ни с кем ни о чем говорить. Помню, что ко мне здесь все отнормались как-то особенно участливо и любовно. Уверяли, что со мной никакой беды случиться не может. Проникла и сюда весть, что обо мне хлопочут студенты и директор... Сидели все смиренно, стеснялись даже к окну подойти...

Часа в 3 дня стали вызывать некоторых из сидящих. Вызвали и инспектора института проф. А. К. Павловского, через полчаса повели и меня. Вел страж с винтовкой. Проходя по коридору, я увидел В. А. Косякова и обрадовался. Ну, думаю, значит хлопоты увенчались успехом; сейчас, соблюдая формальности, меня допросят и отпустят. Поэтому почти с полным спокойствием я вошел в комнату допроса. В ней, за большим столом обычного канцелярского формата, сидели двое — один рабочий, как потом говорили — из экспедиции, другой — из нерабочих, еврей, — по-видимому из интеллигентов, лет 22–23. Допрос стал с меня снимать председательствующий рабочий.

Первые вопросы отпечатанной на машинке анкеты были обычные: имя, фамилия и т. п., а потом шел вопрос о партийности. Когда я сказал, что я беспартийный, то молчавший доселе еврей громко и злобно заметил: "Знаем мы вашу беспартийность; вы из Союза Русского Народа — черносотенцы"... Уверенный в благоприятном для меня решении моего выхода отсюда, я этому замечанию не придал значения. Спокойно и совершенно по совести справедливо отрицательно ответил и на следующие вопросы о моем отношении к бывшему тогда чехословацкому с Колчаком натиску на большевиков. Ответ мой заметно добро подействовал на председательствовавшего рабочего, вообще во время всего допроса относившегося ко мне с заметным сочувствием, — до самого последнего вопроса, где мой ответ раздражил и его. Теперь же он только переспросил меня, почему же я не сочувствую этому натиску. Еврей же, предупреждая мой ответ, с еще большей злобой изрыгнул: "Вот когда вас арестовали, вы тут и против Колчака. Врете вы все... Выпусти-ка вас на свободу, первые будете за него"... Резко и вызывающе сделанное замечание раздражающе подействовало на меня, и я отвечал и тому, и другому, что впоследствии не раз повторял при других допросах в ответ на подобные вопросы и замечания. Я сказал, что как русский я знаю, что всякие иностранцы, идущие к нам с солдатами, конечно, расходуются всячески и людьми, и деньгами не из бескорыстной любви к нам; делают это, чтобы потом властвовать над русскими людьми, как над рабами,

забирая отовсюду все наши естественные и культурно-художественные богатства. А с большевиками — русскими людьми — мы как-нибудь сживемся. Этот ответ подготовил меня на следующий вопрос: как я отношусь к власти большевиков. Я ответил, что признаю ее. Опять еврейчик со злобной раздражительностью высказался в том духе, что признаете де, коли арестовали вас. Тут нелегкая дернула меня высказаться, что всякая власть от Бога, следовательно и власть большевиков, — что и дурные власти подаются в научение и наказание или от Бога попускаются и что та или другая власть по заслугам народа... Тут опять еврейчик перебил меня замечанием, что же де большевики, от вашего Бога, что ли? Никакого Бога они не признают. Так значит, они в наказание народу? Заметно раздражение моего еврейчика усилилось, неприязнь ко мне росла, но я как-то оставался к ней равнодушен, хотя, как потом стало известно, я своими ответами и особенно своим разглагольствованием все более и более проваливал себя и удалял от свободы, которая мне была уготована. Окончательно же я себя провалил и засадил в тюрьму своим ответом на последний вопрос анкеты: чем, я думаю, можно спасти Россию? Я искренне и безбоязненно ответил, что верой и религией. Такой мой ответ как громом поразил большевиков. Его они уже никоим образом не ожидали; не ожидали перенесения политического допроса на религиозную почву, да еще перед ними, которые так открыто не только отказались от религии, но всячески поносили ее и издевались над ней. Раздражился и мой рабочий... И началась тут у нас перекрестная перестрелка-беседа: я все твердил им о христианстве как единственной силе, спасающей людей, и теперь для выведения России из нестроений и бед необходимой, мне же все твердили оба мои большевика о коммунизме большевиков. Разговор на эту тему продолжался не менее получаса. Горячились те, горячился и я. Те могли горячиться, а я позабыл, где я и с кем говорю, да еще в такой обстановке. Закончил беседу-допрос еврейчик громким приговором: "Если бы моя власть, я бы всех вас (и тут он показал руками, как бы всех нас он разорвал на клочки). Вы там на колокольнях пулеметы ставили, царя защищали, народ

убивали"... И многое другое кошунственное. В то время отовсюду можно было слышать, что на время Февральской революции на колокольнях наших церквей были поставлены, конечно, с разрешения священников, пулеметы, из которых стреляли в народ. Я доселе остался при убеждении, что этого не было, за исключением Исаакиевского собора, где, по слухам, пулеметы поставлены были еще до революции по соображениям защиты города от немцев. Эту клевету о церквях и храмах сознательно распространяли с провокационными целями враги наши. И я сам, в дни Февральской революции не раз ходивший по улицам, не видел и не слышал про стрельбу с колоколен из пулеметов.

Допрос кончился, и меня повели. И я чувствовал, даже, пожалуй, ясно сознавал, что меня ведут не на освобождение. Проходя по коридору, я опять увидел В. Ан. и услышал от него: "Ну, что же, освободили?" — но в ответ ему мог только горько улыбнуться. Перемена в моем положении произошла, но только в том, что из светлой комнаты, сравнительно с небольшим населением, меня бросили в подвальное помещение, где подобными мне врагами отечества было так набито, как в бочке с сельдями...

Мрачная комната подвала, с низким потолком, одним, уже с решеткой, окном в сад. Подневольным поселникам в ней было так тесно, что в буквальном смысле негде было сесть. Или стояли прислонившись к стене, или полусидели на полу, один пригромоздившись или даже улегшись на другого. У стены, противоположной входной двери, было расположено нечто вроде широкого, во всю длину стены, стола наподобие тех, которые бывают у портных в их мастерских. Первое, что бросилось мне в глаза, это примостившиеся у двери трое монахов соседнего со мной по Ротам Ново-Афонского монастыря. Эти знакомые лица немного приободрили меня, тяжело пораженного такой ужасной обстановкой и еще более опечаленного таким нерадостным исходом моей надежды на освобождение. Стал искать я место, где бы мне примоститься. Но чьи-то руки подхватили меня и, толкая других, повели меня к столу, как более почетному и удобному месту тюремного жительства.

Обитатели этой комнаты здесь были уже не первые сутки, по крайней мере, некоторые из них, поэтому появление мое к ним было прибытием нового человека, как будто бы с воли. Начались вопросы... Но что я мог сказать? Я по обычаю своему стал утешать всех надеждами на скорое освобождение, несмотря на всю безотрадность и очевидную безнадежность положения.

Я и сам все еще хотел думать о возможном своем освобождении. Мне думалось, что вот-вот вызовут меня и отпустят. Сразу не отпустили, но ведь нужно выполнить всякие формальности, не может быть, чтобы меня оставили в тюрьме, а других институтских освободили. Не освободили сегодня, освободят завтра. Эта искра надежды подогревалась еще двумя обстоятельствами.

Когда я был втолкнут в этот подвал, то застал здесь сильное возбуждение: о чем-то горячо спорили, но почти все были радостно настроены; все ждали, что освобождение всех не за горами. Оказалось, что все насельники, мои новые товарищи по несчастью, только что отправили Ленину телеграмму с выражением своих верноподданнических чувств. Они откуда-то узнали, а может быть им здесь же сказали о том, что было покушение на жизнь Ленина, но он остался невредим. Сами ли они догадались, или извне им подсказали послать ему телеграмму с выражением возмущения по поводу покушения и своей радости по случаю избавления от смерти. Написали, подписали и ждали. Ждали прежде всего благодарственного ответа, а за ним и распоряжения об освобождении. Уверенность в том и другом была великой: как не отпустить их, если так наглядно они демонстрируют свою лояльность и даже большее. Некоторые из них, особенно оказавшиеся радеющими обо мне, не без искренности сокрушались, что я немного запоздал появлением своим к ним в подвал, что только что они отдали со своими подписями эту телеграмму, но утешали меня, что, милуя их, помилуют и меня. Общее настроение ожидания радостного выпуска невольно отражалось и на мне, поддерживая и даже увеличивая мое желание быть на свободе.

Второе обстоятельство. В этом подвале я застал всех сильно голодающими. Казенной пищи никакой не давали, передач никаких не разрешалось. Уныние от неизвестности своего будущего, уныние от голодного желудка. Но, не позже как через час после моего заключения в подвал, вдруг вызывают меня и передают мне пищу от жены, а потом вскоре же начинают передавать посылки и многим другим из моих новых товарищей. Естественно, такая резкая перемена сильно подняла настроение у всех нас. Так как я был первым из таких осчастливленных, то разумеется, что счастье заключенного подвал под мысль ожидания скорого освобождения: подвал — это лишь на время, пока что-то нужно сделать по формальностям; тот факт, что не подняли наверх, откуда взяли, показывает де, что так далеко и высоко не из чего было подымать. Мои товарищи объяснили получаемые передачи действием посланной ими телеграммы. В общем, передачи были радостными и для благополучия желудка, и для настроения духа.

Наступал вечер. Духота от скопления многих в тесном подвале доходила до дурноты и страшной головной боли. Ободренные посылками-передачами, обещавшими освобождение, посмелели и решили открыть подвальное полуокно. Оно, выходящее в сад, через повалившийся забор открывало выход на улицу 10-й Роты. На ней теснился народ — наши родные с передачами. Увидали их и некоторые из нас, увидели и они нас. Началось было показывание нами каждым себя для удостоверения родным, что он жив и здоров. Это было весьма важно и радостно для всех наших родных, ибо по городу распространились вести о многих казнимых каждую ночь заключенных; вести эти, как оказалось потом, вполне соответствовали печальной действительности; за эту неделю расстреляна или потоплена в море не одна сотня людей. Но недолго продолжалось это наше благополучие. Как потом узнали, наша тюрьма окружалась большим отрядом большевиков с ружьями. Эти "социалисты" не могли допустить, чтобы родные их "врагов" могли получить хоть некоторое успокоение, увидев своих дорогих хотя бы только живыми. Эти стражи, и прежде всячески стеснявшие приближение к нашей тюрьме посторонних и отгонявшие их

то на противоположную от нашего дома сторону улицы, а то вдаль от дома, теперь совершенно уже погнали их прочь с улицы, — на другие улицы, грозили ружьями и выстрелами. Мы же ничего этого видеть не могли и только по внезапному исчезновению наших родных из поля зрения нашего окна мы догадывались о происшедшем на улице.

Пища несколько подкрепила. Ели все: и кому принесли, и кому не приносили. Мне была принесена какая-то жидкая каша. Я делился ею с афонскими монахами и с кем-то другим. Так как не было ни лишних ложек, ни тарелок, то ели по очереди — из одной посуды и одной ложкой.

Кроме трех афонских монахов, я запомнил из бывших здесь еще только одного — Лаврова Дм. Ив., бывшего до того времени директором 8-го реального училища, а теперь преподавателя в 74-й школе. С ним я рядом устроился у стены на столе, с ним и вел какую-то беседу, содержание которой сейчас позабыл. Других, кто там был, я не запомнил; даже тогда их как-то не разобрал. Было немало молодежи, были и пожилые; все или интеллигенция, или буржуи.

Наступила ночь. Никому не спалось: и негде было спать, и очень сильно было ожидание скорого освобождения. Часов в 10 явился в подвал какое-то начальство, нарочито отыскав меня глазами, с издевательской усмешкой обратилось ко мне с полувопросом-полузамечанием: "Что же, большевики-то от Бога вашего? В наказание народу?.." Я не постеснялся и здесь опять то же повторил, что и на допросе. Значит моя беседа на допросе стала известна и другим.

Часов в 11-12 ночи пришло опять какое-то начальство и, приказав готовиться к выходу, стало выкликать фамилии. Всех обуюло трепетное ожидание — услышит ли он свою фамилию. Едва ли было у кого-либо сомнение, что предстоит свобода. Быстро собрались и ушли. Осталось нас только четыре человека: я и старец-военный с двумя молодыми офицерами. Уходившие прощались с нами, обещая нам побывать у наших родных, уведомить их о нас и обнадеживая нас нашим скорым освобождением... Несчастные! Скоро им пришлось разочароваться, и очень тяжело и горестно. Их взяли не для свободы, а для Петропавловской крепости,

откуда некоторые не увидели свободы совершенно: то ли расстреляли, то ли потопили...

Камера опустела. Свободы в помещении осталось много. И мы устроились спать в полной уверенности, что нас не потревожат. За полтора суток ареста, особенно же в этом подвале, не раз я слышал о расстрелах арестованных. Говорили даже, что расстреливают на дворе нашей тюрьмы, на 10-й Роте; будто бы по ночам слышны были из подвала ружейные выстрелы. Эти тревожные разговоры как-то меня совершенно не задевали; я все время оставался спокойным насчет своей жизни: не доверял ли я этим рассказам, или полагал себя вне возможности подпасть под пулю, — больше, кажется, было первое. Поэтому лег спать я в безмятежном состоянии спокойствия, скоро заснул и до утра спал крепко.

Утро было ясное, солнечное. Лучи света ярко и весело прыгали по нашему подвалу. Нас все оставалось четверо. Старец оказался старым служакой бывшего Измайловского полка, заведовавшим хором измайловских певчих. Их он не раз отпускал ко мне в институтскую церковь и немного знал меня. Он был мрачен и неразговорчив. Молодые два офицера были его сыновьями, вместе с ним арестованными. О них-то он сокрушался, почему и был мрачен, а к ним любовно предупредителен и ласков. Он знал, как большевики беспощадно в то время расправлялись с молодыми офицерами, и боялся за их жизнь. Он был неразговорчив; не хотелось говорить и мне. И мы почти все время молчали, занимаясь больше хождением из угла в угол по обезлюдевшему подвалу.

Часа в два меня с вещами вызвали и повели в ту же комнату, где вчера допрашивали. Тут сидел только один вчерашний рабочий и кто-то посторонний с багажом в руках, оказавшийся помощником директора экспедиции. Смешанное чувство от ожидания свободы и от опять формального опроса... Опрос короткий и долгое, молчаливое ожидание чего-то совершающегося. Наконец, появляется какой-то тип с бумагами в руках и повелительно приглашает меня и того, другого, следовать за ним. Выходим на улицу. Усаживают

нас в открытый автомобиль и везут... Итак, — конец свободе и ожиданиям ее... Но куда везут?.. Едем по Измайловскому и Вознесенскому проспектам. Я все время смотрю по сторонам — не увижу ли кого-либо из знакомых на улицах; если не сумею передать что-либо, то встречный знакомец может так или иначе довести до сведения семьи, что видел меня отвозимым по таким-то улицам... Все глаза, как говорится, просмотрел, но никого не встретил. Увидел лишь идущим навстречу Колю Корнилова, в то время мальчика лет 16-ти. Он посмотрел на меня, но, кажется, моего положения не понял, — по крайней мере, ничего и никому он потом не говорил... Ехали мы очень быстро, как будто за нами гнались или боялись, что нас могут отбить, — стражи никакой не было; сопровождал нас лишь один "некто в сером", коему мы были вручены на 10-й Роте и который нас должен был передать где-то и кому-то... Подъехали к дому № 2 по Гороховой, въехали во двор. Я прежде никогда не бывал здесь и ничего о "Гороховой два" не слышал. Поэтому и не сознавал еще хорошо, в какое страшное место привезли меня. Это была самая ужасная по тому времени Чека, не менее неприятная, чем теперешнее ГПУ.

Впервые на Гороховой

В этот первый раз на Гороховой я с моим спутником был быстро принят каким-то начальством. Оно было представлено на этот раз каким-то полуинтеллигентом, добрым и смиренным на вид, и как бы его помощником — опять евреем. Допрашивал первый. Только снова досталось мне от все время долпроса молчавшего еврея. Мой допрос подходил к концу, и вполне для меня благополучно, так что допрашивающий меня в наивной простоте недоумевающе даже произнес: "Да за что вас арестовали?!" Тут-то и поднялся еврейчик. Он, вероятно, испугался, как бы меня не отпустили, к чему, по видимому, дело клонилось и на что я получил большую надежду рассчитывать. Минут 10 он, с большим волнением и горячностью, держал речь на знакомую мне тему о пулеметах и колокольнях, о нашей защите царя, о вражде к большевикам и к народу и т. п. Я молчал, молчал и первый допрашивающий меня. Исход моего дела с ясностью

определялся: русский испугался еврея; представительствова-
ло хотя первый, главенствовал второй; чтобы скрыть всю зна-
чимость и силу еврейства, нужно было замаскировать ее
первенством русского... Что-то написал русский, вызвал
по звонку сторожа и отправил меня с ним... Долго мы с
ним переходили из коридора в коридор, подымаясь все
вверх, и наконец прибыли в комнату, которая именовалась
в то время "камера № 65", в коей мне суждено было пробыть
суток трое или четверо...

"Камера № 65" — на самом верху, довольно большая
комната, заполненная стоявшими в несколько рядов, вплот-
ную одна к другой, железными койками, с голыми досками
без всяких подстилок; посредине большой длинный стол; одно
большое окно с решеткой в углу камеры выходило во
двор; не только отворять его, но и близко подходить к нему
строго воспрещалось. Здесь же, ступенькой только ниже,
помещался обычный казенного формата умывальник и
довольно просторная уборная; она была так загрязнена и
пропитана дурным запахом, что и в камере, от нее ничем не
огражденной, кроме невысокой железной стенки, дышать
было тяжело. К тому же и камера была так переполнена, что
спали по трое на двух сдвинутых койках; спали и на столе.
Вблизи у уборной сидел вооруженный страж... помесь солдата
с хулиганом по виду и русского добродушного человека по
нутру своему, принужденного иногда разыгрывать из себя
грозного начальника. В страже менялись люди, но описанный
характерный тип их все время моего пребывания там оста-
вался один и тот же. Начальственность он свою выказывал
только в одном случае: когда арестованные подходили к окну
и начинали вглядываться в на противоположной стороне
находящееся окно; это последнее принадлежало женской
камере, в коей содержалась жена одного из наших товари-
щей по камере; естественно, ему хотелось видеть ее и, быть
может, как-нибудь и что-нибудь ей о себе передать или о
ней узнать. Тянула к окну и всех нас духота и вонь камеры
от скопления людского; хотелось хоть немного щелочками
окна овладеть для вдыхания свежего воздуха.

В камере меня, как и всякого новичка, встретил так
называемый камерный староста, записал куда-то и показал

свободную койку, койку, которую по его распоряжению
покинул какой-то тип, перешедший на положение
ночлежника на стороне. Дали мне для сведения и исполнения
прочитать какую-то бумагу, — нечто вроде инструкции, как
жить и вести себя в камере, что можно и чего нельзя. На
меня, как священника в рясе, невольно было обращено общее
и продолжительное внимание. Священников в камере давно
уже не было, — раньше меня прошедшие Гороховую
помещались в другой камере, № 66. Началось взаимное
осматривание и разглядывание. Мои сотоварищи по камере
на три четверти были люди молодые, из интеллигенции и
буржуазии; рабочих не помню; было несколько матросов и
солдат и человек 5–6 финляндских рыболовов, попавшихся
с их рыболовными сетями не в черте своих вод нашего
Финского залива. Народ все был приветливый; сам
испытывавший много горького, а потому сочувственно относя-
щийся к горю другого. Особенно близко я сошелся здесь
с спутником моим из 10-й Роты и его сослуживцем по
экспедиции, фамилий обоих не запомнил. Они оба были очень
больны душой, унылы и скучны.

У первого, уже старца, осталась дома больная, одинокая
старушка-жена, — без всяких средств к жизни; и это сильно
сокрушало его. У второго совместно с ним была арестована и
жена (детей не было), оказавшаяся здесь же на Гороховой, в
женской камере, и при обыске отобрана какая-то переписка
на английском языке: не то жена его была англичанка, не
то она знала хорошо английский язык и имела в Англии
друзей. Вот это обстоятельство и страшило моего нового
друга; он уже знал, как по одним даже слухам о каких-либо
снотшениях с заграницей, особенно с англичанами, у нас
отправляли к отцам на тот свет. Близко, душевно подходил
ко мне некто Кудрин, бывший морской доктор. По его словам,
его ожидал расстрел; но он не боялся, ибо находился в
последней стадии развития чахотки. Человек мнительный и
ото всех отъединяющийся, он и мне постоянно и настойчиво
советовал не сходитьсь ни с кем в тюрьме, не доверяться
никому, — много де здесь провокаторов всякого рода. Доктора
Кудрина действительно расстреляли, взяв его с Гороховой
вскоре после моего ухода из нее.

Кажется, в первый же вечер моего пребывания в камере 165 меня вместе с некоторыми другими вызвали к фотографу: требовалось в альбом всяких преступных типов вклеить и мою физиономию. Провели нас через камеру № 66, где тоже было переполнено; никого из знакомых там не встретил. Привели в особливую комнату. Фотограф обращался с каждым из нас любезно и весьма внимательно и усердно относясь к своему делу, как будто он был в своей фотографии и к нему пришли его заказчики. Снял с нас по две карточки, сажая нас и прямо, и боком. Развлечение, но тяжелое...

Другое отвлечение от дум тюрьмы: привели кого-то из Петропавловки. Его, конечно, сейчас же окружили. Нерадостное, тяжелое сообщил он о ней. Сидит очень много; камеры переполнены; духота до дурноты со многими; стража грубая и суровая; каждую ночь берут для расстрела или для отправки в Кронштадт — тоже не для радости; питание плохое, передач не позволяют. Можно себе представить, какое смущение, уныние и прямо-таки ужас охватил всех нас. Куда-никуда, только бы не в Петропавловку. Все хорошо по данным прежних дней знали, что на Гороховой долго не оставляют, и у каждого из нас стоял вопрос: куда же меня...

Не припомню, чем публика занималась в камере № 65, кажется, только разговорами о том, что предстоит, и переживанием собственных дум. Громадное большинство не знало, за что были арестованы; поэтому не было и обдумываний причин ареста и собственной вины. Не было книг, не было и чтения. Ввиду отсутствия передач все с нетерпением ждали обеда и ужина. Подавали лишь одно хлебово — что-то вроде супа из чечевицы с запахом селедки — и кусок хлеба. Все ели одновременно — из больших мисок по семь человек, за большим столом, на котором по ночам спали. Вкусным и аппетитным была блюдом эта бурда в том голодном положении.

Кажется, дня 2-3 на этот раз пробыл я на Гороховой. Я уже не мечтал об освобождении, а лишь боялся, что пошлют в Петропавловку. Мысли о том, что меня могут взять для расстрела, у меня совершенно не было, может быть потому, что за мое время никого оттуда не расстреляли. С большою поэтому радостью встретил я и некоторые другие,

когда нам объявили, вызвав по списку, об отправлении нас в Дерябинскую тюрьму.

Собрались мы скоро. Повели нас на двор; выстроили в ряды и заставили ждать. Ждали около часа. За это время подсылали нам спутников из других камер, так что образовался отряд человек в 40-50. Выводили и женщин, скорее мимо нас проводили куда-то в другое место... Наконец, явилось какое-то начальство, окружил нас изрядный отряд солдат того времени. Начальство — высокого роста, с внушительной фигурой, грубо и резко преподало нам напутственное наставление: идти смирно рядами, дорогой ни с кем не переговариваться, никому ничего не передавать и ни о чем не спрашивать, а тем более не делать попыток к бегству: сейчас же его — бегуна — пристрелят; такое приказание — стрелять в бегущего — было тут же повторено и окружившим нас солдатам. Скомандовал — "марш!", и мы пошли.

Шли мы по улицам Васильевского Острова, для меня совершенно незнакомым, путеводители наши заметно избегали людных улиц. Было часов около 7-8 вечера; народ шел ко всеобщей; была суббота. Значит, я был почти уже целую неделю арестован. Стражи наши оказались людьми добрыми. Так, было дозволено двум-трем из нас, выйдя из рядов, добежать до почтового ящика, бросить в него заранее приготовленное письмо. Одному очень обессилевшему было разрешено взять извозчика и ехать с одним солдатом отдельно от нас в Дерябинскую тюрьму.

Дерябинская тюрьма

Это концентрационный лагерь, помещавшийся в августе-сентябре 1918 г. в Дерябинских бывших морских казармах, расположенных на Васильевском Острове, на самом берегу моря. Место, ими занимаемое, одно из самых лучших. Прекрасные морские дали с плавающими по ним шлюпками, лодочками, пароходами и т. п. При сильном ветре величественная картина бурных волн; в тихий вечер — удивительно прекрасный вид на закат солнца. Сколько раз приходилось любоваться из окна нашей камеры на то и другое — особенно на вечернюю зарю. Какая роскошная,

замечательно привлекательная картина; — глаз не отрывая от нее, стояли мы целыми вечерами у окон камеры, забывая все. Тут только я понял, что значит так называемая Стрелка, куда собиралась в былые дни петербургская знать, чтобы любоваться на эту картину. Не раз приходилось наблюдать полеты гидропланов, с нередкими посадками их на воду буквально под окнами тюрьмы, — на расстоянии каких-нибудь 50–100 саженей от нас. Однажды недели две стояла недалеко от тюрьмы баржа с дровами и копошась на ней рабочими. И это было радостно наблюдать.

Дерябинка в мое сидение в ней представляла из себя до 10–12 отдельных камер, каждая от 70 до 150 человек; это норма. Но чаще бывало наполнение каждой камеры двойным комплектом, так что спали по трое на двух кроватях, на полу, на столах. Несмотря на разнокалиберность населения нашей камеры (№ 7) и на сильную уплотняемость ее по временам, меня ни разу не трогали с моей койки в самом углу; а когда какой-то начальственный тип было однажды вздумал меня снять с моей кровати, то за меня заступились сокамерники, потеснившись сами, меня ж оставили при прежнем положении.

Камеры были открыты, и можно было, хотя и не для всех, свободно выходить во двор и уходить в другие камеры. Этой возможностью часто пользовался я и нередко — почти каждый день — ходил в камеру, где помещался протоиерей Алексей Никитич Ливанский из Мариенбурга (теперь обновленческий настоятель Алексеевской церкви). При этой камере было нечто вроде широкого коридора или узкого, но длинного зала; там было очень удобно гулять; а это, при невозможности в своей камере размять ноги за теснотой, было очень приятно и полезно. Здесь же происходили новые знакомства, обмен новостями, впечатлениями, слухами; тут же можно было достать и почитать газетку...

Населена Дерябинка была все "врагами отечества", т. е. большевиков; это были бывшие люди — из интеллигенции, молодых и старых офицеров, купцов, чиновников. Только одна камера была наполнена исключительно уголовным элементом; она всегда была на запоре, и мы с ней не имели почти

никакого общения; из нее к нам приходили только по указанию начальства уборщики, нами оплачиваемые. Впрочем, в нашей камере было человек 5–6 крестьян из Ямбургского уезда, обвинявшихся в каком-то противлении властям.

За множеством насельников (ни разу не было меньше 75) и за частым отливом одних, приливом других, я знал в камере только немногих: с кем так или иначе приходилось сталкиваться. С одним из них завязалась дружба, продолжающаяся и теперь. Это Анатолий Федосеевич Марков, бывший управляющий трамвайными парками, директор и пайщик двух больших заводов, горный инженер. Он держал себя одиноко и независимо, чаще всего пребывал у своей койки, читал, играл в шашки; не помню, чтобы он принимал какое-нибудь участие в общественных разговорах, в обсуждении каких-либо событий или начинаний; получая хорошие передачи от семейных, он нередко угощал меня, всякий раз предупреждая меня не доверяться в тюрьме людям, быть осторожным в словах и поступках.

Особенно близко я сошелся с двумя соседями по койке; они были те самые, с которыми я сошелся еще на Гороховой и о которых уже упоминал, — служащие из экспедиции. С ними разговоры были о домашних и церковных делах, на политические и общественные темы; жили мы втроем — по-семейному, — из одной чашки и питались, друг с другом всем делясь. Тот, у которого была арестована и жена, очень сильно нервничал и унывал, нам часто приходилось его утешать, развлекать; а мне, ввиду его некоторой религиозности, занимать и религиозными беседами. Бедный человек, в конце моего пребывания в Дерябинке он сильно заболел, у него оказалась чахотка, и он, как мне потом передавали, недолго прожил и умер, кажется, на свободе.

К нам часто подходил Кутлер Н. Н., бывший министр земледелия. Он, по его словам, уже в третий раз был арестованным. И это третье свое заключение он считал последним; в этом отношении он был суверен при недостаточной его религиозности и третье считал за последнее. Он ждал расстрела, и в мысли об этом печальном конце он так себя уверил, что о другом исходе для себя он

и думать не мог. Заключение это, действительно, было последним: он по выходе из тюрьмы занимал у большевиков видное место по укреплению нашего червонца, был главным членом банка и умер с год тому назад, оплакиваемый большевиками. В Дерябинке он был очень мрачным, — пожалуй самым мрачным и печальным из всех мне знакомых там лиц; он был постоянно мрачен; я его ни разу не видел улыбающимся; даже когда он успевал в шахматной игре, до которой он был большой охотник и играл с большим искусством, или расхотелся в споре, он оставался все тем же, сидя в нашем углу, в компании 3–4 как бы своих людей, он и здесь никогда не говорил о своей прежней деятельности в министерстве или кадетской партии, коей он большим был работником, — очень спорил по каким-нибудь отвлеченным финансовым вопросам или социально-политическим вопросам, избегая всяких конкретностей. У меня с ним ни разу не было доброй душевной беседы...

По другую сторону от меня были койки Бессоновых — отца и сына. Отец лет 65, профессор Военно-Юридической Академии, сын — молодой офицер с университетским образованием. Тяжелая семья; это какое-то уродство, полнейшая аномалия семейной жизни. Отец и сын в буквальном смысле ненавидели друг друга; постоянно ссорились, бранились, обзывая один другого самыми гаденькими и низкими словечками. И это они делали, не стесняясь никого из камеры. Не обошлось ни одной полученной ими передачи без брани и попреков, так что в конце концов им их родные стали передавать посылки отдельно; но и тут они подозревали один другого в утайках, получении не своих передач, даже в воровстве. Однажды старику отцу пришлось угодить в карцер, и сын не только не высказал хотя бы по видимости и приличия ради сожаления — он злорадствовал. Вражда между ними настолько усилилась, что сын стал грозить отцу побоями, и пришлось уговорить старика подальше поселиться от сына, поменявшись с кем-то койками. Никто из нас не мог понять ни психологии этих родных, ни причин такой ужасной ненормальности. Кажется, больше был виноват сын; он проявлял себя и в общей-то жизни нашей большим эгоистом, жестоким и дерзким грубияном, не дававшим спуску никому.

Группа гостинодворских торговцев — Волхонский, Мохов и два брата-старообрядца. Эта группа — центр и главные виновники наших ежедневных и праздничных служб — о чем лотом. Волхонский — был большой любитель-художник. Очень недурно рисовал с натуры. И его обычно можно было видеть с кистью в руках. От него у меня по сей час сохранилась не законченная им картина нашего собрания за молитвой в камере. Любила эта группа, особенно братья-старообрядцы, побеседовать на религиозные темы и по церковным вопросам. Волхонский же, как давний прихожанин Казанского собора и член приходского совета его, не раз рассказывал мне о жизни, делах и непорядках в нем, обычно с большой желчью и осудимостью разбираясь в них.

Врезались в памяти моей два брата, молодых офицера, привезенных из Тверской губернии. Страшное горе постигло старшего из них. Его молодая жена ко дню его ареста находилась накануне первых родов, и арест его так сильно поразил ее, что она упала замертво. Напрасно муж-офицер просил арестовывавших его повременить с уводом его, пока жена не придет в себя, чтобы можно было бы оказать ей какую-нибудь, быть может и медицинскую, помощь; но люди-звери только насмехались над ним. И странствовал он из тюрьмы в тюрьму, ничего не зная о положении своей заметно горячо любимой семьи. Можно себе представить его душевные переживания!.. И вот в Дерябинке он получил от кого-то телеграфное извещение, что жена его умерла. Молодой человек, не раз на войне и во время революции стоявший перед смертью, не выдержал и разрыдался. Общее сожаление к нему выразилось в советах предпринять то-то, поступить так-то, чтобы добиться разрешения под всяческим конвоем съездить на похороны жены. Непосредственное начальство Дерябинки снизошло к нему своим сочувствием, доставило ему необходимое для письменных хлопот и даже обнадежило. Прождал он дня два и получил отказ. Не раз я доселе с ним беседовал о его душевных тяготах, и тут немало поговорил с ним, успокаивая и ободряя его. Поникшим, сраженным и убитым он жил в Дерябинке; в таком же положении оставил его я, уходя сам из нее.

Не могу не вспомнить об Оптеле Ник. Ал-че или Александре Ник. (не помню). Он всегда выглядел добродушным, веселым, энергичным; все что-либо придумывал, предпринимал. И когда в конце сентября предложено было желающим отправиться на работы по тюрьме, он первый вызвался и увлек за собой других. Не струсил, по крайней мере, не обнаружил он испуга, когда с запугиваниями всякими, с угрозами, при таинственно-мрачной обстановке стали отправлять некоторых, в том числе и его, куда-то, как оказалось потом — в порт, на разгрузку какого-то корабля с углем.

Общее настроение и душевное состояние всех дерябинцев того времени можно охарактеризовать одним словом — испуг. С испугом мы пришли в Дерябинку, с ним все время и жили здесь. Боялись, что нас расстреляют, что отправят в Петропавловку на мучение, перевезут в Кронштадт на терзание и измывательство матросов, а быть может и потопят в море. Всякий слух об этом принимался на веру, как несомненно данное; всякое событие или с воли принесенное известие с каким-то иногда сладострастием растолковывалось в одну сторону; всякую угрозу считали как бы уже реализованным фактом. А действительность придавала жару именно в эту сторону — укрепления и увеличения этого испуга. На второй или третий день прихода нашей партии в Дерябинку мы прочитали в газете длинный список фамилий лиц, взятых большевиками в заложники и уготованных в концентрационные лагеря в отдаленных местах, это все лица подобные нам, общего с нами класса и положения. Едва ли не каждый вечер, на переключке по проверке наличности нашей, кто-либо из начальства нашего сообщал нам, что ныне вечером припожалует какая-то большая большевистская персона, зачем — неизвестно. И вот начались гадания и предположения, и, конечно, самые мрачные и тяжелые. Не помню, приезжала ли эта персона или нет. Быть может она и являлась в канцелярию. Еще случай, бывший в конце сентября (по нов. ст.). Слышим какое-то волнение среди нашей стражи, переговоры и шепоты. Естественно, настораживаемся все мы. Подходит вечерняя переключка. Является

наше тюремное начальство и еще кто-то из высшего начальства — мальчишка лет 25, с насмешливо-издевательским выражением всей его фигуры, полурбочего-полухулигана. Нас, выстроенных в ряд по порядку наших коек, обходит он раз, внимательно и насмешливо обводя каждого из нас глазами, обходит другой раз, с еще, кажется, большим вниманием. Наконец, тыкая пальцем в некоторых, по преимуществу молодых, приказывает им выйти из рядов в сторонку... Все это проделывается медленно, таинственно, как бы некое священнодействие творится. Что переживали мы в то время — трудно себе представить; самое мрачное и страшное рисовалось нам, запуганным и загнанным безличностям!.. Раздается наконец приказ завтра утром выделенным лицам быть готовыми отправиться, — куда, зачем? — Об этом ни слова. Одно лишь как-то успокаивающе действовало на них: не было приказано им забирать с собою вещи, — а это был недурной знак. Плохо спалось в эту ночь нам: думалось, сегодня берут одних, завтра возьмут других; еще тяжелее и кошмарнее сон был у тех. Рано все проснулись, а те и приготовились, закусив и одевшись по-дорожному. Ждем час, другой, третий. Никто не является и никуда не везут. Немного отлегло на душе. А днем из канцелярии потекли успокоения: что ничего страшного нет, что, кажется, возьмут кого-то из нас на какие-то работы — тяжелые и грязные. Но что значили самые тяжелые работы для ждавших себе расстрела или потопления? На другое только утро, теперь без всякого повторного предупреждения, взяли человек десять на работы в порту, и вечером их доставили обратно в Дерябинку — довольных и веселых: хоть работа на разгрузке какой-то баржи и тяжела, и грязна была, но они были почти как свободные люди, их там недурно покормили и дали с собой по банке каких-то консервов и краюхе хлеба. И зачем другим было так таинственно-пугливо окружать эту посылку на работу, как не затем, чтобы сильнее поугаать и без того униженных и оскорбленных людей, показать над ними свою власть, — просто, чтобы поиздеваться над нами.

Еще случай. Начальство объявило нам вдруг, чтобы все мы были готовы отправиться куда-то, — а куда? — опять не

говорят. Только канцелярия оповестила нас, что нас решено отправить в Кронштадт или в Петропавловку: требуется де разгрузить Дерябинку для других ввиду больших каких-то новых арестов. Волнения, трепет и сборы. А так как не сказано было, что всех отправят, то поэтому каждый гадал о себе, оставят его здесь или отправят куда-либо. Некоторые из нервничающей молодежи даже приготовили и связали свои вещи. Но опять только было пугание, показание своей власти. Никого не потревожили, все остались на своих местах. Это было в начале сентября.

Не могу не отметить, что волнений, боязливых ожиданий, даже трусости больше всех обнаруживала интеллигентная часть Дерябинки, и, в частности, офицерская молодежь. Конечно, ее сильно преследовали большевики, но и другим немало доставалось. А офицерской молодежи, казалось, самим фактом своего солдатского звания надо было бы быть готовой к смерти; а она-то больше всех и боялась ее. Иногда даже досадно было смотреть и слушать ее. Мне все, в частности и молодежь эта, доверяли свои страхи и опасения; ко мне прибегали советоваться и искать уверения, что ничего страшного нет и не будет, или по крайней мере нас не касается. Моя койка, удобно скрытая от любопытных глаз в углу камеры, была местом, куда притекали все унывающие, скучающие, испуганные и просто вопросами веры интересующиеся. Едва ли не каждый день у меня кто-либо сидел или со мной разговаривал; приходили даже из других камер.

Поистине, Бог премудро все творит, и когда вздумает кого наказать — отнимет разум. Большевики первым делом в свое владычествование на Руси позакрывали так называемые домовые церкви, изгнали из учреждений духовенство, — в том числе и из тюрем. Но если где взывают к Богу и требуют от Него помощи и утешения, так именно в тюрьмах, и тем более в то кошмарное от красного террора время. Священник в тюрьме для всех друг, близкий человек, утешитель и советник, к которому удобно нестеснительно подойти и не опасно со всей искренностью открыть душевную боль. Изгнали нас большевики из тюрем в одну дверь, впустили в другую. Пусть эта дверь была дверью тюремного заключения

и священник входил в нее в положении арестанта. Это было даже тем лучше: он не отделялся от других и не возвышался над прочими, а такой же арестованный; он там был не отправляющий свое пастьрствование по исполнению формальных обязанностей, а равноправный со всеми, бесправный, гонимый и преследуемый; он, страдающий наряду с другими, поистине мог лучше сострадать другим. Не раз и не в одной я сидел тюрьме — и всюду встречался именно радостно, как нужный и полезный человек; всюду пользовался вниманием, услугами; всюду ко мне обращались, как и в Дерябинке; всюду приходилось мне и в арестантском положении отправлять пастьрское попечение о страждущих. Даже так называемая шпана, с которой приходилось близко сталкиваться во 2-м Исправдоме в 1922–23 г., чувствовала в нас, священниках, друзей и помощников себе и почти не изрыгала никогда ругательств или насмешек на нас, а даже защищала нас... Это Господь так устроил, что нас, священников, сажали по тюрьмам, гоняли по разным северам, югам и востокам. С одной стороны, это было искуплением вины нашей и отпов наших перед народом и перед христианством за многие наши прегрешения перед ними, а с другой стороны — мы необходимы были для заключенных, ибо в тюрьме без священника тяжело. Что бы в Дерябинке нашей ни произошло, какие бы тревожные слухи ни получались, сейчас же подходило ко мне по несколько человек, или маленькими группами, или поодиночке, чтобы вместе пережить, обдумать и утешиться. А сколько я выслушал плача и стенания о личном горе от сокамерников!.. Хорошо помню такую мелочь, но характерную. Куда-то нас решили послать на работу, — кажется, носить дрова с баржи на берег, это уже в октябре. Кто-то подходит ко мне и, увидев меня собирающимся, удивленно и радостно произносит: "И вы, батюшка, с нами?! Ну, значит, тужить нечего"... Главным же образом в Дерябинке я был нужен для молитвы.

(Продолжение следует)

ОПТИНА. НОЧЬ 15–16 ОКТЯБРЯ 1988 г.

"Вот, смотри! — сказал, вернее прошептал Сергей Беляев. — Это великий момент! Это Он! Мы нашли Его! Нам разрешено. Разрешено и патриархом, и Им! Мы обрели сегодня Его святые мощи. Ты пришел в этот самый момент. Нет-нет, еще ничего не тронуто, не перемешено. Обнажился лишь свод лба". На глазах Сергея слезы. И в голосе. Ночь с 15 на 16 октября. Козельск. Оптина. Ровно двенадцать — полночь. Новолуние, поэтому совершенно темно, только звезды. Холодно, нет — морозно. Кругом тишина. Ни ветра, ни шума. Перед нами — раскоп. Над ним — три или четыре яркие лампы с абажурами, замыкающими пространство и опрокидывающими его вниз. Кругом лица, все взгляды — вниз. Много монахов, миряне — в том числе и молодежь, сосредоточенные лица, многие крестятся. Почти все говорят шепотом. Вполголоса — из раскола — деловые слова для протокола. Постоянное лязганье, клацанье затворов: фотографируют и батюшки, и никто не говорит о некоторой кошунственности этого. Это благословлено. Я сначала не решался, но, получив благословение, тоже снимал. Мои ночные слайды и черно-белые фотографии И. М. Гусева получились замечательно. Основной звуковой ряд создает командирский голос искусствоведьмы: одетая в телогрейку и в платок, она не боится холода и, будучи заведующей музеем Данилова монастыря и бывшей заместительницей директора истринского Краеведческого музея, где она наладила научную работу, чувствует себя командиром. Остальные — шепотом. Внизу — в расколе — еще две лампы.

Раскоп глубиною 2 м, 4 м длиной и 2 м шириной. Погребение находилось в склепе со сводом высотой около метра; сейчас его крыша пробита, но сохранились стены и остатки свода; к югу внешний раскоп заглублен до пола склепа; здесь проходила тропинка и не было погребений, а с севера лежит другой старец — Иосаф, и далее — Агалий.

Внизу, сменяясь, работают один из археологов и один из монахов. Отец Евлогий — наместник — благословил (читай приказал) к мощам и вообще к чему-либо в погребении прикасаться руками только монахам, чего никто не посмел нарушить. Археолог — в тот момент, кажется, Володя — мягкой малярной кистью сметает в сторону землю. В склепе слой земли рыхлый, рассыпчатый, обломки камней. Сначала решили, что эта земля просочилась с водою, но тогда она была бы плотная, а эта рыхлая. Позже мы поняли, что это горсти той земли, что век тому назад бросали, плача, на гроб, той земли, что "была пухом" старцу. Ее собирают в оцинкованное ведро, поднимают и ссыпают на клеенку: это тоже мощи, тоже святыня, и все отсыпают себе понемножку. На это дано благословение отца Евгения.

Только что сняли самый верхний слой землицы и обнажилась крышка гроба. Она почти сгнила и, высохнув, наверное, рассыплется совсем. На ней остатки черной ткани с крестом зеленого пришитого галуна. Он, конечно, был золотой, но латунная канитель позеленела. А ткань, которой был обит гроб, была чернее, хотя теперь позеленела, вероятно, окрасилась медью. И главное: в западной части раскопа, ближе к собору, нечто светлое, гладкое, выпуклое — его лоб; потом расчистили глазницы. И вот он вернулся к нам. Все это так и воспринимали — как приход живого.

Почувствовав взаимное доверие с фотогографом АПН, поздравили друг друга с обретением святых мощей. Потом обнялись. Потом в плечо друг другу прослезилась. И все. Внешне мало было эмоций. Все очень по-деловому, профессионально, по-рабочему. Труд археолога. Величие происходящего сокрыто. Величие этой ночи в сочетании с ее будничностью и обыденностью соотносится как ее краткость к вечности вечного. Я же попытаюсь лишь рассказать об этой видимой внешней части. Здесь и моя ограниченная точка зрения — я не все видел, не все понимал. Здесь и невозможность говорить о внутреннем смысле происшедшего...

Сергей попросил меня сказать. Быть может, неуместно и шумно, но я сказал, и меня слушали. Сказал о величии происходящего, о том, что эти часы останутся вечно в памяти

людей, о том, что все сейчас недостижимой величины, непостижимой мудрости и символично. Надо только смотреть, слушать и осознать. А потом все записать, ибо сегодня здесь нет ничего второстепенного. Думаю, что чуть позже и это не посмел бы сказать. Где-то в середине ночи пришла мысль о том, что мы зрим то, что видели Карамазовы: но там отец Зосима уходил из мира, а тут Преподобный Амвросий вернулся к нам — и он воспринимался, как живой. Все происходило в обратном, по сравнению с Ф. М. Достоевским, порядке.

В 12¹⁵, по поручению С. А. Беляева, вернее, после моего предложения, я стал составлять список присутствующих для протокола вскрытия склепа. Но я пошел дальше и стал не столько составлять список, сколько собирать подписи. Раздал три листочка, положил на фанерки, приложил ручки, которые заготовил еще в Москве, ибо, кажется, знал, куда и зачем еду, взяв их несколько. Попросил всех расписаться и сказать о себе. "Что писать?" — "Сейчас происходит то, — ответил я, — что будут помнить тысячи лет. Другого такого случая быть незабытыми у нас не будет. Пишите то, что хотите оставить в веках". Оказалось, что во время раскрытия мощей присутствовало лишь 26 человек. Может быть, тут нет тех, кто был в раскопе — иеромонаха и археолога, а также двух иеромонахов, которые в этот момент молились в соборе. Но они сменялись, и, может быть, в списке есть все участники. Вот он, с небольшими сокращениями повторов и с ничтожной редактурой. Позже копию списка отдал С. А. Беляеву, а себе снял с него ксерокопии.

**СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВСКРЫТИЯ МОГИЛЫ
(СКЛЕПА) И ОБРЕТЕНИЯ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ
СВЯТОГО ПРЕПОДОБНОГО АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО
В НОЧЬ С 15 НА 16 ОКТЯБРЯ 1988 г.**

1. П. В. Флоренский — доктор геолого-минералогических наук, Москва.
2. Е. В. Журавлева (Лосева) ВНИИГТ, Москва, инженер.
3. А. Н. Журавлев. Москва, ИАЭ им. Курчатова, инженер.
4. К. Ю. Татаринцев, научный работник, Москва.
5. Н. В. Морозов, рабочий монастыря.
6. Е. А. Борисов.
7. М. Л. Шиповский.
8. С. Я. Немцев, трапезник (? — П.В.Ф.), Москва.

9. С. И. Фомин, архитектор.
10. А. Г. Колинченко, паломник из Алма-Аты. Я надеюсь, что люди будут помнить и почитать Бога.
11. С. В. Белашов, послушник.
12. И. М. Гусев (Троице-Сергиева Лавра).
13. Иерод. Владимир, насельник Оптиной Пустыни.
14. Иером. Ипатий (Хвостенко), насельник Оптиной Пустыни.
15. А. В. Аллахвердиев, строитель св. Введенской Оптиной Пустыни.
16. Иером. Иннокентий (Орлов), пом. эконома Оптиной Пустыни.
17. Иером. Панхарий (Дубов), гостиничий Оптиной Пустыни.
18. Игумен Поликарп (Ничипорук), казначей Свято-Данилова монастыря.
19. А. В. Доброхотов, референт заместителя, ЧАССР.
20. Послушник Георгий (Ю. И. Рыбко), Московская обл., пос. Зеленоградский Пушкинского района.
21. О. В. Макаров, фотокорреспондент АПН.
22. Инок Симон (Плясов Ю. А.), звонарь Данилова Монастыря.
23. Г. М. Зеленская, Моск. Свят. Данилов монастырь.
24. Игумен Герман — старший духовник монастыря Оптиной Пустыни.
25. А. В. Снягин, московский мирянин.
26. С. А. Беляев, руководитель раскопок.

Ксерокопии — их И. М. Гусев сделал 10 экземпляров — я заверяю своей подписью.



А теперь попробую по порядку рассказать о всем том, что связалось в памяти с обретением мощей Святого Преподобного Амвросия Оптинского. Начал писать это на следующий день после событий — 17 октября, а кончил 26 — после возвращения из второй поездки в Оптину.

... Телефон. "Это говорит Игорь Михайлович Гусев. Я уже купил билет в автобус до Козельска: 6 рублей. 17²⁵ 15 октября. Если не поедете — билет не сдам, в знак протеста". Перед этим, утром, — я ходил с философами из Института философии АН СССР в парную. У них это вековая традиция, а меня пригласили как философского потомка. 10 утра: я — в Кадаши, а народ во "Всех Скорбящих Радость". Покров. Было стыдно. И, быть может, это заставило преодолеть инертность (так у нас называют лень) и неохоту ехать. А за несколько дней до этого Сергей Алексеевич Беляев (Институт истории АН СССР), мой давнишний друг, сказал, что 13 октября он с группой своих друзей — археологов — едет в Оптину искать могилу и вскрывать

погребение старца Амвросия. Звал меня — как геолога, не глядеть, а помогать. Я не собирался: 250 км, 6 часов автобуса, дела, но стыд после 14 октября все решил. И — спасибо И. М. Гусеву — я поехал. В 17 ч. был на автовокзале на метро Шелковская и, несмотря на почти опоздание И. М. Гусева, мы поехали. Автобус не был полон. По кольцевой час объезжали Москву, Шелковская — это восток, а Калужское шоссе — юго-запад Москвы. Ядовито-кроваво-красный закат, на который мы ехали, красив лишь на небе да на слайдах. Ни облачка — наверное, завтра будет погода, а ночью — мороз. Скоро стемнело, и лишь встречные машины выхватывали своим светом за окном стволы придорожных деревьев: шоссе обходит стороной населенные пункты.

В Козельск приехали в 22⁵⁰. "В Оптину?" — "Сойдете не в конце, а у аптеки, где все сойдут, а потом налево по дороге — 4 км — по мосту через реку Жиздру, а за ним, после будки автобусной остановки, налево через лес". В темноте окраины Козельска — низенькие покосившиеся домики с тоже темными оконцами. "Человеческое жилье — не то что наши московские каменные коробки", — заметил профессионально И. М. Гусев, специалист по влажностно-тепловому режиму памятников.

Темная-темная безлунная ночь и яркие громадные звезды. Безветренно, но очень холодно — около нуля. А на Покров, 14-го, был сильный заморозок. Вообще, эта осень сказочно красиво затянулась: еще с листьями стоят деревья и нет дождя, уж не говоря о снеге, обязательном на Покров. Как будто нарочно.

Дорога — старая, обсаженная ветлами — быстро выскочила из города, и лишь издали сияет ряд фонарей — потом выяснилось, что это на бетонном мосту, подобном тому, что на Ленгорах, проезд по которому строго закрыт, так как он готов обвалиться. Проезд машин по низенькому мостику слева. Но зато фонари светят на всю округу, хотя и не на проезжем мосту. Еще немного, и после автобусной остановки свернули влево — в бор. Дорога песчаная, разъезженная. Шли, нащупывая ее ногами и боясь налететь на дерево. Темно, хоть не открывай глаза. Изредка тарахтели машины. Слева, за Жиздрой — просвечивал Козельск. Скоро

впереди по дороге засветилось зарево. Это Оптина, где и ночью горят фонари, вернее, в окружающем ее поселке, выросшем вокруг монастыря, а позже вокруг бывшего в Оптиной профтехучилища или школы механизаторов сельского хозяйства. И действительно, из темноты высывались остовы комбайнов, тракторов, косилок и автомобили. Удививший нас свет над домами оказался светом со строительных лесов, окружавших кресты Введенского собора: их золотят круглосуточно — о. Евлогий очень торопится, так как через неделю сюда съедется масса народа. Но вот из темноты выплыли почти бутафорские стены (восстановленные музеем), башни, постройки. В окнах некоторых домов — свет. Теперь были видны и соборы, окруженные строительными лесами. Постучали в один из домиков с освещенными окнами. Вышел бородач в цивильном: "А Сергей Беляев и все остальные там — на раскопе. Идите к собору, обходите его справа — там свет, люди. Найдете!" В щелях огороженного толью участка с высоты человеческого роста яркий свет, у стены Собора проход, в котором толпились женщины-паломницы, которых к раскопу не пускали. Стоят люди, но висит тишина, которая бывает, когда происходит нечто очень важное. Подозвал Сергея — он стоял на краю раскопа. Мы облобызались и, разговаривая шепотом, вместе с И. М. Гусевым подошли к раскрытой могиле. Меня представили: титул, фамилия. Благословили присутствовать. С этого момента я и начал свой рассказ.

А раньше — до нас — было вот что. Конечно, мы выехали из Москвы вовремя, так как археологи опоздали и потеряли много времени. Место захоронения было давно потеряно, в веселые годы все кладбище было разломано, все надгробия снесены. Ровная поляночка. А может быть и не зря? Коли могил нет, то не будет охоты "искать в них золото" — никто же не знает, что в могилу можно класть лишь то, что истлевает. Поэтому оказалось, что это кладбище, а теперь ровная поляночка, не осквернено. Слышал, что могила отца Иоанна Кронштадтского тоже сохранилась чудом: храм отдали под лаборатории, и первое, что сделали, — покрыли мощным слоем бетона пол — под приборы, а в

действительности — говорят — чтобы уберечь прах. Такие легенды. Лет двадцать тому назад незабвенная Надежда Александровна Павлович — быть может, последняя прихожанка Оптиной — наметила условно могилы братьев Киреевских. Указала и место могилы старца Амвросия, которому поклонялись. Носили сюда цветы... Но сейчас-то нужно точное, а не полусимволическое место. Точное. Среди старых картинок и публикаций нашлись изображения часовни над могилой старцев с апсидой Введенского храма. Стали ходить — провешивать вешками, и, несмотря на ряд смелых предположений, выбрал Сергей правильное место. Ошибка, сказал он, 5–10 см. Место было определено сразу! Четверг и пятницу искали, расчишали площадку, а потом копали пятницу день и ночь на субботу. Раскрылся сохранившийся фундамент часовенки над могилой. С юга его огибала тропинка, с севера лежат другие погребения — рядом лежит старец Макарий. На глубине около метра обнаружился свод кирпичного склепа. С запада он был пробит и в его верхнюю часть вдвинута часть гроба — судя по описанию, захоронение старца Анатолия (Пантелеева), умершего в 1921 г. Склеп обкопали с юга — где была тропинка, до уровня его пола, и в пятницу ночью вскрыли: невдалеке лежала кувалда.

Из разговоров с Сергеем выяснили, что мы попросту не готовы к обретению мощей. Нет. Церковь готова — написан акафист, известен ритуал. Не готовы мы, ученые, считающие, что все нужно сохранить в нетронутom состоянии. Не продумали, не обучили начальство это сделать. Сергей почти не спускается в раскоп. Ходит кругами, зажав виски, мечется всклокоченный, вытарашив свои глаза, которые и без того навкате. Глаза в слезах: "Павел, пойми, я не могу так — ведь я профессионал, археолог, я в ужасе, нам это не простят — вплоть до церковной смуты. Мы сейчас обязаны, мы должны сохранить все, что лежало в склепе. Тут все бесконечно важно и бесконечно свято. Ведь будут же искушения, что это не мощи св. Амвросия, а чей-то скелет! Надо все оставить так, как лежит, чтобы можно было бы доказать (вспомним, что даже череп Ф. Шиллера не всеми признается подлинным). Все найденное необходимо аккуратно

переложить в новый большой гроб, раку. И так хранить. Запечатать. Будущее покажет, что делать дальше. Надо долго молиться, надо много думать". — "Что же ты не протестуешь?" — "Как я могу? Это монастырское дело, их компетенция. Отец Евлогий благословил, а я свое выполнил. Раскрытие праха проведено по всем правилам. Давай вместе, поговорим с археологом Володей, поговорим с иеромонахами".

С нами многие согласились. Надо доломать южную стену склепа и подвести под прах фанеру или доски — что-нибудь, штыри. И все поднять. Как? Целиком? По частям? Как разделить? Стену-то мы проломали. Вынули кирпичи — многие из них разобрали себе верующие. Я тоже взял половинку для нашего дома в Сергиевом Посаде. Потом пытались что-либо подсунуть, но это не просто — нужно время. Дело в том, что отец наместник благословил подготовить мощи к богослужению к 6 часам утра. То есть в монастыре, да еще в Оптиной, послушание благословению абсолютное. Да еще в наше время стилизации мирян: особенно старалась директриса (научный работник).

Сказывается застойное воспитание ("как угодно, но к сроку!"). А здесь нужен труд еще дня на два. Мы в меньшинстве, но все равно будем чувствовать стыд. Отец наместник благословил все из могилы вынуть, разложить на фанеры, обтянуть белой тканью, — на одну доски, на другую — ткань, на третью — предметы, а для мощей приготовлена расстеленная монашеская мантия. Не будь монастырской оптинской дисциплины, должны были бы спуститься в раскоп и не подпустить никого. Должны были бы. А пока решили пойти с самими собою на компромисс. Решили, что, когда обнажатся мощи, позовем отца Евлогия и упросим его.

Идут раскопки. У края раскопа сидит молодой человек в красивой шляпе и с медицинским образованием и ведет протокол. А сообщения из раскопа самые разные. И все они, кажется, записываются. Не покидает чувство несоответствия важности этой ночи и происходящего внешне. Мы не знаем, да, может быть, и не узнаем при жизни, что тут важно, а что нет. Может тут нужен был бы судебно-медицинский эксперт? Пытался вести стенограмму происходившего. Вот еще отрывки из нее.

220. Очень холодно. Бегаем греться во Введенский собор. Там беспрерывно служат по двое иеромонахи, постоянно сменяясь. А на западной паперти собора — рефлектор. Около него греемся. В раскопе немного теплее: греют лампы. Принесли кофе — очень крепкий и очень горячий. Мне нельзя: я готовлюсь, и поэтому легко было осуждать пивших кофе в раскопе. В памяти остался расчищенный, кроме ступней, костяк. Расчищена глава: лоб, надбровья, глазницы, сохранились зубы — их много, не так представлял зубы старика. Череп с громадным лбом не вызывал страха. Напротив, мы все видели в нем отображение жившего некогда, он был очень красив. Левая рука его лежала на груди, а правая, которая должна была бы прикрывать левую, опустилась на солнечное сплетение. Позвоночный столб рассыпался: это понятно, ибо умерший был старчески согбенным. Говорили, что одно плечо было выше другого, это присутствует на изображениях и даже на современной иконе. Все убеждены, что это он. Но было стыдно смотреть на раскрытые мощи. Наверное их — голый скелет — нельзя было видеть. Волосы и тело истлели абсолютно, сохранились только кости. А они сохранились идеально — как положено на Афоне. Ткань — лишь клочья, почти ничего нет. Нашли пучок золотых нитей — канители, которыми что-то было вышито. Археологи пользуются ножницами — выстригают корешки, проникшие в склеп. Холодно-холодно. Хлюпают носы.

Наши попытки организовать сохранение мощей по-научному ни к чему не привели. Да и мы не были достаточно решительны. Да и правы ли мы? Но очень расстроились.

“Пойдем, — говорит Сергей, увлекая меня в ночь, за ограду монастыря. отошли в лес. Внутри, в ограде монастыря, нельзя болтать. — Побудь со мной. Все как-то не так: почему ночью — аки тать в нощи?” Внутреннее напряжение жуткое. Действительно, зачем ночью? Том-сойеровщина какая-то. И отчего дрожь? От волнения или от холода? Не выдержали и, как в свое время трое учеников, ушли спать в кельи, где живут археологи. Как провалились...

Проснулись через полтора часа от слов: “Вы что спите? Уже вынимают!”

... На монашеской мантии раскладывают кости. Передают из раскопа наверх по одной. Когда я пришел, были выложены глава, грудь, руки. При мне передавая, выкладывали, как пасьянс, ниже пояса. Мантия короткая, и ноги выкладывали... Не могу подобрать сравнения. Прах был смещен. И я чувствовал свою вину за это. Был ропот паломников: “Цельность нарушена, поэтому он может не воскреснуть”. Не одни мы с Сергеем переживали перемещение останков. Конечно, каждая кость передавалась с благоговением, и только монахами. Я долго не решался, но попросил разрешения приложиться ко главе. Кажется, я был первым, посмеявшимся это сделать. Помню ощущение на губах: сухое, шероховатое и нехолодное, совсем не такое, как бывает, когда целуешь покойника. Когда я прикладывался в другой раз, потом, это восприятие ослабло. Среди вынутых костей оказалась крупная, длиной 20–25 см, кость то ли лошади, то ли коровы. Ее отложили в сторону и, боюсь, о ней забыли. Что это? обряд? — Нет. Чья-то попытка колдовать? — Кто знает. Успел эту кость сфотографировать.

Становится светло. Иеромонахи по очереди служат краткие литии, переоблачая епитрахиль и поручи. Все поют. “Преподобный отче Амвросий, моли Бога о нас!” “Ублажаем тя...” Утро солнечное. Все прикладывали к мощам то, что у кого было. Начали с нательных крестов. Впрочем, их прикладывали и раньше — в погребение. Потом стали класть свои иерейские кресты иеромонахи. Были моменты, когда мощи были увешаны четырьмя крестами. Все это фотографировалось. Потом кто-то положил на мощи чистую рубашку. Я обрадовался: думал, что их наконец-то прикрыли и что больше их никто никогда не увидит, ведь нельзя видеть лица покойного монаха — сразу после смерти его лицо положено закрывать. Но нет. Это просто кто-то прикладывал свою рубашку. Паломники тоже горстями передают свои крестики и четки, а иеромонахи прикладывают их к мощам. Только им благословлено это делать. Потом стали прикладывать платки, носовые платки, очки (и я тоже), какие-то книжки, поминания и т. д. Сначала женщины стояли за оградой территории раскопа, их не пускали как женщин. Но потом и они просочились и с молитвами окружали мощи.

Многие плакали. Было уже солнечно, когда появился отец наместник. По-моему, отец Амвросий абсолютно подчинялся отцу Евлогию, и эта гармония была заметна. Покойный иеромонах Оптиной Пустыни, отошедший сто лет тому назад, хотя и канонизированный в этом году, подчинялся своему живому наместнику. Во властных распоряжениях отца Евлогия чувствовалось, что и он так же воспринимал происходившее. Вспоминалась история, рассказанная Алексеем Дмитриевичем Варгановым — хранителем города Суздаля: говорят, что когда Петр I перевозил мощи святого Александра Невского в Санкт-Петербург, то Александр Невский дважды выходил из торжественного катафалка и возвращался в Успенский собор во Владимире. Рассерженный Петр встал под ракой с мощами и сказал: "Ты хоть и Великий Князь, а я — Император, и приказываю тебе подчиниться и перебраться в Санкт-Петербург для блага России!"

Около восьми утра собралась вся братия. Служится торжественная служба. Снова кадят. Снова читают, вынесены хоругви, иконы. Евангелие, чаша со святой водой, которой щедро окропили и мощи, и собравшихся. Потом мощи переложили с мантии в ящик-раку, мошевик. Ящик короткий, около метра. Благоговейно лобызая, переложил голову сам отец Евлогий, остальные косточки, лобызая почти каждую, перекладывали с пением величания монахи. Мелкие загребали горстями. Иногда в руке было по три-четыре ребра. Все это очень трудно воспринималось, если не слышать торжественного пения, не обонять аромата каждения, не замечать слез радости и благоговейного прикладывания к мощам.

Рака поднята, начался крестный ход. Впереди мошей шли пятеся два иеродиакона, кадиллом расчищая, вернее, освящая дорогу. Радостный-радостный перезвон колоколов, звонарь почти приплясывал в такт. Ни на минуту не покидало чувство великой радости, несоотносимой с костями, которые мы только что видели: он действительно вошел в наш мир, возвратился к нам! Все утро было солнечно и радостно. С ярким солнцем мощи впервые внесли в Собор и возложили у правого придела, слева от алтаря. Наконец-то они скрыты под покровом. Но сегодня все прикладывались

не к стеклу, как обычно, а непосредственно ко лбу честной главы.

Литургия началась, кажется, в 9 часов или раньше. Сначала читали акафист Преподобному. А потом обедня, обычная, если забыть о том, что обычной обедня быть не может. После акафиста у меня наступила реакция. Я сел в притворе на скамеечку, положил голову на свечной ящик и проспал до чтения Евангелия. Тут все все знают, все на виду, а так как ночью я работал, то ко мне были снисходительны. Разбудила меня какая-то монахиня: "Сейчас будут читать Евангелие". Я пришел в себя. Причастился. Последний раз перед этим я поел-попил в 11 часов ночи в автобусе. И всю ночь не чувствовал ни голода, ни жажды — все давалось легко.

Еще во время обедни небо закрылось облаками, начались порывы ветра и пошел дождь. Так было на похоронах моей бабушки: 21 марта 1972 г. После первых комьев земли на ее гроб — посыпал снег, закрывший яркое весеннее солнце. Так было, по записям деда, сразу после похорон В. В. Розанова в 1919 г. Дождь пошел сразу после панихиды на Ваганьковском кладбище на сороковой день А. Ф. Лосева в этом году. Археологи, которые не пошли на богослужение, а дочисали склеп, сказали, что дождь пошел сразу после того, как из склепа была вынута последняя ложка земли. Эта земля, остававшаяся под мощами, обильно насыщенная шепочками от гроба и клочками материи, и, наверное, мощами, была собрана в два оцинкованных ведра, из которых обычно мыли пол в храме. Пришла уборщица: "Отдайте ведра". — "Они заняты". — "Чем?" — "...". — "А когда отдадите? Мне мыть пол в храме". — Но ведь в них лежали мощи! Бумажку, в которой лежали просфоры, положено сжигать, дабы не осквернять. А как ведра? Тут много вопросов, много недоумия, искушения и возможного кощунства. Мы все набрали этой земли, даже нашел кусочек мантии — 0,5 см, отложил его, а он пропал. Потом пошли в трапезную. Никогда не ел ничего вкуснее монастырской еды. И обильнее. Чудный суп. И рыба. Компот...

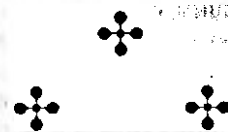
По дороге домой мы разделились. Трое поехали на машине прямо в Москву, а пятеро — через Калугу. Отец наместник

вызвал нам из Козельска такси и оплатил его. Шестьдесят или семьдесят километров, шофер был доволен. В поезде я разговорился с помощником Сергея. Оказалось, что это не археологи, а физики, которые работали у него в археологических экспедициях. Один из них, Костя, был духовным сыном отца Клавдиана Моденова, который скончался в августе прошлого года в Старой Руссе. Много лет я был хорошо знаком с ним — 1948–1954 гг. Так что с Костей мы оказались духовными братьями. В поезде шел обычный разговор о пределах знания, о важности физики. Обычный московский разговор в обычной электричке. И день обычный. Я смотрел кругом и удивлялся, почему день обычный. Не верю в случайность чего-либо в этот день, все происходившее воспринималось, как символы, знаки: занят был тем, чтобы заметить то, что в другой день — пустяк, пытался запомнить все разговоры, все лица: все реально и видимо было далеко за пределами осязаемого.

В следующее воскресенье, 23 октября, художник Юрий Иванович Селиверстов организовал автобус, набитый его друзьями, в Оптину. Меня с Юлией подобрали около гостиницы "Турист" в 7³⁰. В Оптину приехали в 11³⁰. Шла обедня — мы успели к Херувимской. После обедни должен быть второй крестный ход. Первый крестный ход был после ранней обедни, когда более полутора тысяч человек прошли через лес к Скиту по той дороге, по которой некогда ходили к старцу Карамазовы. В Скиту сейчас литературный музей. С мемориальными досками о том, что здесь бывал Л. Толстой. Посещение им Оптиной не лишено двусмысленности. Ф. М. Достоевского, а тем более Н. В. Гоголя, забывают. Крестный ход смело прошел по музейной территории — было нерабочее время. С кроплением. Говорят, что особенно обильно кропили мемориальные доски, посвященные великому ересиарху Земли Русской.

В конце обедни Сергей и мы, его археологическое окружение, зашевелились и двинулись в алтарь южного придела. Готовились к крестному ходу. Распоряжавшийся крестным ходом иеромонах дал мне стихарь, который оказался великоват, но рядом послушнику высокого роста его стихарь был по колено. Мы поменялись.

В крестном ходе меня благословили нести икону Божьей Матери Знамение. Справа с крестом шел Сергей. Впереди шел послушник с фонарем, сзади — послушники с хоругвями. Потом — икона Казанской Божьей Матери, за ней — святые мощи. На улице перед храмом было богослужение. Около часа. Кинохроника. Телевидение. Ветрено и холодно. Но постоянно светит солнце. Потом крестный ход под развеселый звон колоколов обошел Введенский собор и вернулся в храм. Друзья мне говорили, что не завидовали мне только потому, что сами были здесь, и тоже мысленно что-либо несли, помогая мне.



КРУШЕНИЕ МИРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ к пересмотру устоявшихся концепций

1.

Грядущая "мировая революция", вдохновлявшая несколько поколений революционеров, сегодня воспринимается как затертое клише, не имеющее отношения к действительности, а не как практическая программа. В разные исторические периоды лозунгу мировой революции приписывалась то всепобеждающая сила, гарантирующая торжество коммунизма на земном шаре, то очевидная наивность, с вытекающим отсюда неизбежным поражением. Шли годы, менялись правители, под властью коммунизма оказывались все новые и новые страны; "мировая революция" то наступала (Восточная Европа, Куба, Никарагуа), приближаясь к своей конечной цели, то — реже — останавливалась и даже отступала (Чили, Гранада). Но не смолкали споры о том, считать ли сторонниками мировой революции Сталина, Хрущева, Брежнева... (что к таковым относились Ленин и Троцкий сомнению, в целом, не подвергалось).

Между тем и сторонники и противники концепции мировой революции часто находились в плену устоявшегося клише. Мировая революция понималась ими достаточно прямолинейно, а все ответы искали в жестких рамках "да" или "нет", не допуская более глубокого анализа самого предмета спора: проблемы того, как преломлялась теория мировой революции в практической деятельности лидеров советского государства — Ленина, Троцкого и Сталина. Ведь в конечном итоге важно не клеймо, а оценка того, какое место занимала в мировоззрении советских лидеров всемирная революция (как теоретическая конечная цель) при формулировании ими основных направлений внешней и внутренней политики государства.

Среди тех, кто в целом уловил проблематику этого вопроса, следует назвать по крайней мере двух авторов: Абдурахмана Авторханова и Михаила Агурского. Первый создал традиционный теперь образ Сталина, как практика мировой революции, противопоставив его Троцкому, бессильному догматику, плененному собственной теорией. Второй увидел в лидерах советского большевизма не столько революционеров-интернационалистов, сколько революционеров-националистов; сформулировал и развил концепцию национал-большевизма и, объявив национал-большевиками Ленина, Сталина и все последующее советское руководство, заменил проблему мировой революции проблемой русско-советского империализма. Последнее, конечно же, во многом смыкалось с концепцией, сформулированной в свое время историком Ричардом Пайпсом, который указал, что установившаяся в СССР большевистская система правления была, по существу, логическим продолжением (или завершением) традиционного русского самодержавного строя с его основными институтами. Таким образом, А. Авторханов определял советских руководителей как сторонников идеи мировой революции, а М. Агурский, вслед Р. Пайпсу, усматривал в наступательном движении советского коммунизма не более как традиционный русский национализм, усиленный тоталитарной коммунистической системой.

Не ставя своей целью критику тех или иных высказанных ранее в историографии взглядов, следует отметить, что ряд вопросов, которые волей-неволей вынужден ставить перед собой историк, до сих пор остался нерассмотренным. Одним из главных, вероятно, является вопрос об эволюции взглядов Ленина после его прихода к власти в октябре 1917 г. и о тех целях, которые он ставил перед собой до и после переломного момента. Было бы ошибочным считать, что Ленин менял свои взгляды в зависимости от обстоятельств. Правильнее предположить, что в любой ситуации он находил наилучший для реализации своих целей путь. Можно утверждать, что Ленин всю свою сознательную жизнь вел борьбу и, начиная примерно с 1903 г., — борьбу за власть. Труднее ответить на вопрос, нужна ли была ему власть для победы революции

или же революция виделась средством для достижения власти.

Поскольку до 1917 года лидером революционного движения казалась Германия с ее самой сильной в мире социал-демократической партией, мировая революция подразумевала, конечно же, непреходящую революцию в Германии. Она не обязательно должна была начаться именно там, но победа ее в Германии казалась всем революционерам непреходящим залогом успеха. Иной трактовки мировой революции социал-демократическая риторика тех лет не допускала. И до октября 1917 г. русский революционер Ленин не предполагал себе роли большей, чем руководителя экстремистского крыла русского социал-демократического движения, безусловно вторичного и подсобного, если иметь в виду коммунистическую революцию в Германии как основное звено мировой революции.

Однако с октября 1917 г. Ленин стремительно растет не только в собственных глазах, но и в глазах социалистов всего мира. Прорвавшись из швейцарского небытия, молниеносно захватив власть в России, он показал своим многочисленным противникам (сторонников у него и не было почти), как недооценивали они этого уникального человека — лидера немногочисленной экстремистской секты. Большевизм не только захватил власть в России, но создал реальный и единственный плацдарм для наступления мировой революции, для организации коммунистического переворота в той самой Германии, от которой, как всеми предполагалось, будет зависеть конечная победа социализма в мире.

После захвата власти, Ленин стал отводить себе в мировом коммунистическом движении совсем иную роль. Ему важно было теперь совершить мировую революцию под своим непосредственным руководством с обязательным сохранением за собою лидерства в мировом коммунистическом движении. И поэтому после октябрьского переворота он не собирался уже уступать власть в будущем социалистическом мире ни Парвусу, ни блоку социалистических партий России, ни западным коммунистическим лидерам, в том числе и германским. Для Ленина германская революция отходила на второй план перед победившей революцией в России. Более

того: Ленин был теперь не заинтересован в победе революции в Германии, поскольку с нею центр тяжести коммунистического мира перемещался в индустриальный Запад. И это понижало Ленина: из лидера мирового коммунизма он опускался до главы социалистической России, всегда являвшейся в глазах социалистов "неразвитой", "отсталой" и "некультурной".

Именно в свете изменения взглядов Ленина на революцию в Германии и необходимо рассматривать всю историю Брест-Литовских переговоров декабря 1917 — марта 1918 года, закончившуюся подписанием мира с Германией и другими странами Четверного союза. Позиция Ленина на этих переговорах — отстаивание им "тильзитского мира" ради "передышки" в войне с Германией — кажется настолько естественной, что только и не перестаешь удивляться авантюризму, наивности и беспечному идеализму всех его противников — от левых коммунистов, возглавляемых Бухариным, до Троцкого с его формулой "ни война, ни мир".

Впрочем, позиция Ленина кажется разумной прежде всего потому, что он апеллировал к привычным для большинства людей понятиям: слабая армия не может воевать против сильной; если невозможно сопротивляться, нужно подписывать ультимативный мир. Но это была психология обывателя, а не революционера. С такой психологией нельзя было бы захватить власть в октябре 1917, нельзя было бы удержать ее против блока социалистических партий, как удержал Ленин в ноябрьские дни с помощью Троцкого. С такой психологией вообще нельзя было быть революционером. И почему-то же, кроме Ленина, весь актив партии был против подписания Брестского мира, и даже — большая часть партийных функционеров поддерживала "демагогическую" формулу Троцкого. И никто не смотрел на состояние дел столь пессимистично, как Ленин. Да ведь чем-то руководствовались все эти люди? На что они рассчитывали?

Революция и революционеры подчинялись собственным особым законам. Эти законы большинством населения воспринимались как непонятные, безумные и иррациональные. Но, отступив от этих законов, революция гибла. Только в

них заключалась сила революции и залог ее победы. Ленин отступил от этих законов ради удержания собственной власти и лидерства в мировом коммунистическом движении. С точки зрения абсолютных коммунистических интересов Брестский мир был катастрофой. Он несомненно убивал все имеющиеся шансы, сколько бы их ни было, на немедленную революцию в Германии, а значит и на революцию в Европе. Заключенный вопреки воле большинства революционной партии, Брестский мир стал первым оппортунистическим шагом советского руководства.

Не удивительно, что этот шаг привел к расколу партии и к формированию оппозиции левых коммунистов — первой левой оппозиции в истории советской власти. Похоже, что и сам Ленин был не готов к такому обороту дел, на что указывает беспрецедентное для него согласие на существование левых коммунистов как автономной организации внутри партии большевиков, со своим руководством и со своим печатным органом. К тому же сам Ленин, заставивший большевиков подписать Брестский мир, постепенно стал терять власть в аппарате собственной партии. Решения, принимаемые большевистским руководством, все чаще и чаще шли против его воли. Казалось, Ленин и сам уже был не рад, что настоял на Брестском мире. Он понял, что этот "гнилой компромисс" с кайзеровским правительством и упущенный шанс на скорую революцию в Германии его собственные соратники так легко ему не простят.

Парадокс заключался в том, что Брестский мир, в дополнение к его крайне тяжелым для России и партии большевиков условиям, не был реальным миром. Ни Германия, ни большевики не рассматривали его, как что-то постоянное. Военные действия продолжались. Германия предъявляла все новые и новые ультиматумы, занимала целые города, находящиеся восточнее установленной Брестским договором границы. Получалось, что Брестский мир если и дал передышку, то только Германии, да и то лишь до ноября 1918 г. Состояние, в котором находились советско-германские отношения в марте-ноябре, мирным назвать было нельзя. Формула "ни война, ни мир" — подходила куда лучше.

Не станем утверждать, что во всем этом отдавал себе отчет Ленин. Но очевидно, что именно так смотрело на состояние дел большинство актива партии, еще до подписания мира поддерживавшее формулу Троцкого. Конечно же, в ней не было ни приписываемой ей всей советской историографией демагогии (как раз демагогичной оказалась ленинская теория "передышки"), ни авантюризма сторонников немедленной революционной войны, возглавляемых Бухариным. По стандартам революционного времени позиция Троцкого была умеренной. Он не компрометировал русских большевиков в глазах "германского пролетариата" подписанием мира с кайзеровским империалистическим правительством, но и не бросался в безудержный авантюризм Бухарина, не имея для того сил. Вместе с левыми коммунистами Троцкий считал, что подписание бумаги о мире не гарантирует прекращения военных действий, что революционеры не вправе верить "империалистам", что Германия все равно будет наступать, где сможет. И в этих условиях лучше вообще не подписывать мира, а апеллировать к пролетариату всех стран и даже использовать помощь Антанты.

Мнение большинства партии, что Германия не в состоянии наступать, а если и сможет наступать — не сможет удержать оккупированные территории, без того, чтобы заплатить за это революцией в Берлине, лишь окрепло после убийства в Москве 6 июля 1918 г. германского посла графа Мирбаха, когда германский ультиматум, полученный в ответ на убийство, был категорически отклонен советским правительством, а весь инцидент был предан забвению самими немцами. В дальнейшем, до расторжения ВЦИКом Брестского мира 13 ноября 1918 г. (через два дня после капитуляции Германии в Первой мировой войне), между Россией и Германией юридически оставалось состояние мира. Но в ноябре мир был разорван, хотя войну Германии так никто и не объявил. Между двумя странами теперь уже и формально установились отношения, больше всего подходящие под формулу Троцкого "ни война, ни мир".

Такое состояние, по замыслу Троцкого, конечно же, было не чем, иным как передышкой, готовящей большевистскую партию к следующему ее этапу: революционной войне (только

за передышку Троцкого, в отличие от передышки Ленина, большевики не платили соглашением с "империалистами"). Эта революционная война и была начата 13 ноября 1918 г.: большевики повели решительное наступление на запад. Оно проходило более чем успешно. Уже 25 ноября немцы вынуждены были оставить Псков; 28-го — Нарву. 29 ноября советское правительство было образовано в Эстонии (не занятым Красной армией оставался только Ревель), а 14 декабря — в Латвии. В феврале через Вильно советские войска вышли к границам Восточной Пруссии. К этому времени в ряде городов Северной и Центральной Германии уже были провозглашены республики. В Баварии была установлена советская власть и началось формирование Красной гвардии. Коммунистический мятеж вспыхнул в Руре, где была образована рабоче-солдатская республика.

В эти дни Ленин фактически был отстранен от власти. Все важнейшие решения, касавшиеся революции в Германии, принимались ЦК партии либо вопреки воле Ленина, либо в его отсутствие. И даже сам декрет о разрыве Брестского мира был обнародован как решение ВЦИК, т. е. за подписью Свердлова, а не как решение СНК (во главе которого стоял Ленин). Революция в Германии еще не победила, а Ленин уже терял власть. При теоретиках Люксембург и Троцком, практиках Либкнехте и Свердлове он никому не был нужен. Вернуть эту власть можно было бы лишь с поражением германской революции. Хотя и в этом случае при жизни Либкнехта и Люксембург пришлось бы конкурировать с ними за лидерство в мировом коммунистическом движении.

Возможно, что именно по этой причине Ленин так и не рискнул созвать Коминтерн при жизни Либкнехта и Люксембург. Лишь в марте 1919 г., через два месяца после убийства лидеров германской компартии и конкурентов Ленина в руководстве Интернационалом, Ленин созвал первый конгресс Коминтерна, начав раскалывать западные компартии и вводить практику подтасовки делегатов. Председателем Коммунистического интернационала был назначен Зиновьев, не написавший ни одной теоретической работы о коммунизме, зато близко стоявший к Ленину и послушный ему. А так как

германская революция потерпела очевидное поражение, центром мирового коммунистического движения была официально и окончательно утверждена Советская Россия.

Поражение коммунистических революций в Германии и Венгрии не только укрепляет власть и влияние Ленина, чья политика брестской передышки в новых условиях представляется разумным тактическим ходом, но и приводит к переориентировке всей теории мировой революции. Ее главный инициатор в советском правительстве — Троцкий — предлагает в связи с поражениями на Западе начать экспансию на Восток с целью организации коммунистических революций во всем юго-восточном регионе, включая Индию. Эти планы, однако, не встречают достаточной поддержки в ЦК; и проект Троцкого о перенаправлении главного удара на Восток на время забывают. Ленин занят в это время тем, что мы могли бы назвать консолидацией власти. Он борется с противниками большевизма на многочисленных фронтах гражданской войны, а в партии освобождается от своего главного соперника — Якова Свердлова, открыто конкурировавшего с Лениным и вот умершего при невыясненных обстоятельствах в марте 1919 г.

Тем не менее в 1920 г. советское правительство при полной поддержке Ленина делает еще одну, последнюю (до 1939 г.) попытку наступления в западном направлении: войну с Польшей оно ведет как войну революционную. Но и здесь, видимо, приходится различать цели "интернационалистов" и цели Ленина. Ленин рассматривает войну с Польшей не с точки зрения конкуренции с Германией. По крайней мере при наступлении он стремится отрезать Германию от Данцига, а при поражении заключает мир, по которому уступает территории, граничащие с Восточной Пруссией (и так создает буферное пространство, лишая советскую Россию и Германию общей границы). Для сторонников мировой революции такая территориальная уступка означала невозможность наступления непосредственно на Германию с целью экспорта революции. Ленина, наоборот, отсутствие общей границы страховало от непосредственного военного столкновения двух государств. Революция в Германии, как и прежде, не входила в его планы.

С начала 1918 до марта 1921 г. советская Россия жила под системой так называемого военного коммунизма. Система эта в экономическом смысле означала фактическую отмену рынка, торговли, конкуренции и денег (которые были настолько обесценены, что купить на них ничего было нельзя). Наиболее трагичными для населения следует считать введение продразверстки (т. е. насильственной конфискации у крестьянства всего имеющегося продовольствия) и хлебной монополии (запрет крестьянам продавать хлеб кому-либо, кроме государства, запрет горожанам покупать продукты на рынке у частных лиц). Инструментами проведения этой политики стали организованные в деревне комитеты бедноты, заменившие собою сельские Советы, отказавшиеся вводить в деревне военный коммунизм; продовольственные отряды, состоявшие из оголодавших рабочих-горожан и военнотружущих, посылаемых в деревню для грабежа крестьянства; и заградительные отряды, занимавшиеся ловлей "мешочников", т. е. частных лиц, отправлявшихся самочинно в деревню для обмена товаров первой необходимости на продукты питания и везших эти продукты обратно голодному семейству (или даже вполне по-капиталистически обменивавших затем эти продукты снова на товары, но на запрещенном, а следовательно "черном" рынке в городе, и получавших при этом существенную прибыль).

Для экономики государства и благосостояния населения военный коммунизм был катастрофой. Но он приближал "отсталую" Россию еще на один шаг к коммунизму. И поскольку вопрос о мировой революции уже стоял на повестке дня, а до победоносного переворота в Германии оставалось, по мнению большевиков, не более нескольких месяцев, об экономике России можно было не беспокоиться: союз русского серпа и германского молота должен был разрешить все экономические проблемы. Однако реальность оказалась не столь радужной. Революция в Германии захлебнулась, а политика военного коммунизма привела не только к многочисленным крестьянским восстаниям, но и к резкому недовольству в самом

Петрограде, равно как и к восстанию в Кронштадте. Совокупность этих причин заставила большевиков пойти на второй за их недолгую историю серьезный компромисс — отказаться от военного коммунизма и вернуться к рыночной, точнее к смешанной рыночно-государственной, экономике. Эта новая советская политика стала называться НЭПом.

Как и Брестский мир, НЭП был очередной "передышкой", только не на внешнем, а на внутреннем фронте. Ленинские слова о том, что НЭП вводится всерьез и надолго, вряд ли следует понимать буквально. В 1921 г. Ленин и сам не мог знать, на какое время он вводит НЭП. Не знали этого и остальные партийные функционеры. НЭП вводился как мера временная — до победы очередного раунда мировой революции. И, разумеется, никто не понимал, когда именно эта победа придет. Пропагандистские заверения большевиков о том, что революция в Германии вспыхнет со дня на день, были только словами, хотя даже наискептически настроенные коммунисты вряд ли считали, что ждать придется дольше нескольких лет. Тем не менее и эту передышку принять готовы были далеко не все; и НЭП, как в свое время Брест, привел к образованию пусть не столь серьезной, как в 1918 г., но все-таки оппозиции (разумеется — левой).

Сам Ленин в победоносную революцию в Германии после 1921 г. скорее всего уже не верил. И то, что в публичных речах он утверждал обратное, ничего не доказывает. Как и в 1919 г., после провала ноябрьской революции в Германии, он занялся "консолидацией" своей власти. Как и в 1919, он нужен был в 1921 г. большевистской партии и советской системе. Во всем, что касалось внутренних дел, он продолжал оставаться незаменимым. К концу 1922 г. он ликвидировал внешние фронты, образовал Союз Советских Социалистических Республик, заключил мирные договоры практически со всеми соседними странами, был окончательно признан главою советского государства, практиком и теоретиком мирового коммунистического движения. Можно с уверенностью сказать, что к тому моменту, когда в конце 1922 г. Ленина постиг удар, завершивший его политическую карьеру, Ленин выполнил намеченную на жизнь программу и добился своей заветной цели. Очередной провал

коммунистического мятежа в Германии в 1923 г. еще раз доказал, что мировая революция в том виде, в каком ее представляли в семнадцатом, уже никогда не придет. Соответственно, необходимо было пересматривать и теорию мировой революции. В противовес ей был выдвинут лозунг социализма в отдельной стране.

Как неоднократно случалось в советской истории, обе теории стали знаменем враждующих в борьбе за власть группировок; и это в конце концов стоило жизни проигравшей стороне. По той же причине абсолютно всеми две теории рассматривались как прямо противоположные, и никто так и не удосужился в пылу политических страстей разобраться в них по существу и понять, что практической разницы между ними не существует. Что же собственно заключали в себе эти теории? Для понимания этого необходимо прежде всего ответить на вопрос, что скрывалось под лозунгом мировой революции.

Коммунистические теоретики предполагали, что революция не обязательно победит сразу во всем мире, но хотя бы в Европе, и даже не во всей Европе, а по крайней мере в группе стран. Последнее было необходимо для того, чтобы создать замкнутую коммунистическую систему, способную противостоять военному натиску капиталистических государств, которые, как считали коммунистические теоретики, поставят своей главной задачей подавление революции. Кроме оборонительных целей ("передышки") преследовались еще и наступательные. Группа коммунистических стран, включающая прежде всего Германию, обладала бы сильной военной машиной, необходимой для постепенного захвата в коммунистическую орбиту все новых территорий. Конечной целью этих захватов было, безусловно, установление коммунистической системы во всем мире. Соответственно, теория мировой революции, впервые выдвинутая Марксом и модернизированная Парвусом, Люксембург и Троцким, была тем орудием, которым от капиталистического мира одна за другой откалывались бы страны, где не без помощи коммунистического материка (в 1918 г. таким материком была Россия) организовывались и побеждали бы коммунистические революции.

Пока одна за другой вспыхивали (и угасали) революции — в Германии, Венгрии, Финляндии и Прибалтике, — теория Троцкого ни у кого не вызвала сомнений. Но после поражения в Германии в 1923 г. и введенного "всерьез и надолго" НЭПа, когда нужно было к тому же налаживать отношения с Западом для использования западного капитала в деле поднятия разоренной революцией и военным коммунизмом советской экономики, теория мировой революции, как официальная государственная, стала неудобна. К тому же 1924 год был еще и годом открытой борьбы за власть после смерти Ленина; и оттеснить Троцкого было тяжело, не выдвинув предварительно формально противостоящей теории — социализм в отдельной стране.

Внешне эта теория казалась (и была) очень умеренной, особенно для капиталистического Запада. Советское руководство как бы не ставило отныне своей целью завершение мировой революции и ограничивалось строительством социализма в границах СССР. На самом же деле теория социализма в отдельной стране просто констатировала тот факт, что революционная волна в Европе и Азии временно спала и наступившую передышку следует использовать для строительства социализма в СССР, т. е. не в группе стран победившего коммунизма, противостоящих в экономическом и военном отношениях капиталистическому миру, а всего лишь в одном, достаточно большом государстве. Такая формулировка имела тем большее основание, что советское руководство все эти годы, начиная с 1917 г., очевидно переоценивало своих капиталистических противников, полагая, что им важнее всего расправиться с большевиками. Между тем у лидеров послевоенной Европы были совсем иные проблемы и планы, связанные прежде всего с восстановлением внутренней жизни, с постоянной борьбой за ликвидацию последствий мировой войны и за выполнение пунктов нелепого Версальского договора.

Сознание того, что "капиталистическое окружение" не намерено, по крайней мере в ближайшем будущем, идти на СССР крестовым походом, было новым обстоятельством, требующим, в период отлива революционной волны, отказа от риторики времен мировой революции, хотя по существу

никаких изменений в советской политике и в конечных целях советского руководства не производилось. В этом смысле теория социализма в отдельной стране была далека от оппортунизма ленинского Брестского мира. Брестский мир предопределял политику "передышки", от его подписания или неподписания зависели практические шаги советского правительства. Наоборот, теория "социализма в отдельной стране" лишь констатировала наступившее затишье в Европе и вынужденную передышку в дальнейших попытках Советов экспортировать революцию. Тем не менее Троцкий считал принципиальное решение строить социализм в отдельной стране — Советском Союзе — катастрофой. Уже понимая, что Запад не намерен подавлять коммунистическую систему СССР военным путем, Троцкий все-таки был против установки на одиночество. Почему?

В экономическом плане коммунистическая система не была конкурентоспособной. Она могла существовать лишь вопреки всем правилам рыночной экономики и только благодаря тому, что насильственно подчинялась искусственным законам. Эти законы, как показал военный коммунизм, отменяли рынок и конкуренцию. Коммунистическая революция никогда не ставила своей целью увеличение благосостояния народа или хотя бы рабочих. Она лишь обещала ликвидировать "капиталистическую эксплуатацию" и "перераспределить собственность" (т. е. провести всеобщую национализацию). Почему-то подразумевалось, что от этого само собой рабочий станет жить лучше. Но прямой цели улучшить экономическое положение рабочего перед коммунистами не стояло.

Вставшие перед большевиками проблемы замыкались в круг. Из-за поражения революции в Европе приходилось строить социализм в одной стране, плацдарм для мировой революции. Это значило, что с капиталистическим миром сосуществовать придется какое-то длительное время. Но сосуществовать в экономическом смысле означало конкурировать. А конкурировать с капиталистическим Западом трудно было с помощью неконкурентоспособной коммунистической системы. Поскольку речь шла лишь о передышке, во время которой предстояло создать собственную

военную промышленность для ведения революционной войны, необходимо было поддерживать НЭП и получать помощь от капиталистических стран — в виде концессий, займов, специалистов... Это, в свою очередь, предусматривало отход от военного коммунизма, отказ от риторики времен мировой революции, замену открытой подрывной деятельности тайной — по линии Коминтерна: до тех пор, пока не позволят обстоятельства, предстояло строить социализм в отдельной стране. Десять лет? Двадцать? Семьдесят? И все это время продолжать конкурировать с капиталистическим миром (который тоже ведь не стоит на месте, а потому до сих пор не догнан). Но тогда передышка и тактическое отступление, вызванные антикоммунистическими восстаниями недовольного народа, становились осознанной долгосрочной политикой; и социализм в отдельной стране мог оказаться не констатацией передышки, а конечной целью. Вот этого-то и боялся Троцкий.

Стоящий перед советским руководством выбор был достаточно неприятен. Можно было либо оставаться слабой коммунистической державой и при схлынувшей революционной волне в Европе надеяться на милость капиталистических соседей (на то, конечно же, по мнению советского руководства, в долгосрочном плане рассчитывать не приходилось); либо стать сильной страной, опираясь на капиталистические реформы внутри СССР, на рыночную экономику, на капиталистическую же помощь из-за границы. Но это значило перестать быть страной коммунистической, по крайней мере в экономическом отношении. Получалось, что ни в том, ни в другом случае нельзя было построить социализма в отдельной стране, в Советском Союзе. И именно поэтому Троцкий выступил против этой теории и продолжал настаивать на мировой революции, которая, разумеется, не означала немедленного развязывания революционной войны, но подразумевала ставку в первую очередь на экспорт революции, а во вторую — на строительство собственной сильной военно-промышленной базы, способной на военную интервенцию против стран "капиталистического окружения" (но ни в коем случае не наоборот).

Однако в то время, как Троцкого интересовали теоретические выкладки, сторонников теории социализма в одной стране интересовал сам Троцкий. Наследниками Ленина с ним давно уже велась борьба, целью которой было отстранение Троцкого от власти. Сам Троцкий по крайней мере до конца 1925 г. не понимал, что с ним борются не из-за реальных идеологических или политических расхождений. Кажется, в этом смысле он был удивительно наивен и не подозревал, что в большевистской партии существует такое примитивное явление, как борьба за власть. В 1925 г., затравленный своими коллегами, он добровольно покинул военный комиссариат, последнюю свою крепость, и по существу сдался на милость победителей — Сталина, Зиновьева, Каменева и Бухарина, выступавших тогда против Троцкого единым блоком.

В этой борьбе Троцкий не мог победить хотя бы уже потому, что не вел ее "по-большевистски". Понадобился разрыв Сталина с Зиновьевым и Каменевым и блок Зиновьева с Троцким, чтобы последний начал бороться хотя бы с помощью своего достаточно бойкого пера. Однако никакой левой оппозиции Троцкого в то время еще не существовало, и все попытки, в том числе и самого Троцкого, представить дело так, будто левая оппозиция оформилась еще в 1923 г., при жизни Ленина, следует считать фальсификацией. В 1923 г. в партии действительно возникла оппозиционная группа, только Троцкий к ней не имел никакого отношения. Левая оппозиция Троцкого в действительном смысле этого слова появилась в декабре 1925 г., после блока Зиновьева с Троцким.

Однако наступивший 1926 год был не лучшим годом оппозиционеров. Признаваться партии в том, что речь идет о борьбе за власть между Сталиным-Бухариным, с одной стороны, и Троцким-Зиновьевым, с другой, было достаточно невыгодно: оппозиционеров это привело бы к неоправданному поражению, так как партийный аппарат в этом случае, конечно же, поддержал бы руководство уже стоящее у власти, а не свергнутых конкурентов. Для серьезной политической борьбы необходима была платформа; для платформы — очевидные разногласия. Разногласия эти нужно

было сформулировать как в вопросах внутренней политики, так и в вопросах политики внешней.

Первоначально оппозиция пыталась формулировать свои разногласия с правительством по вопросу о генеральной стачке в Англии. Однако эта тема откровенно не интересовала партийные низы. А распространенный оппозицией в июле 1926 г. документ о генеральной стачке в Англии, написанный ужасным языком и подписанный Зиновьевым, Троцким, Каменевым, Пятаковым и Крупской, в целом следует считать крайне неудачным. Неясно, к чему бы привели поиски расхождений во внешнеполитической программе, если бы не начавшаяся в Китае революция. Для формирования левой оппозиции этого было больше чем достаточно. Подвергая правительство критике слева, оппозиция утверждала, что Сталин с Бухариным ведут в Китае оппортунистическую политику, обрекая китайскую революцию на поражение. В тактическом отношении оппозиция заняла по существу беспримысленную позицию: в случае поражения революции в Китае она могла утверждать, что в этом виновата оппортунистическая политика Сталина-Бухарина; в случае победы — что победа одержана благодаря бдительной критике со стороны оппозиции и тому, что правительство последовало указаниям оппозиционеров.

Левая оппозиция по вопросу о китайской революции несколько походила на левую оппозицию против Брестского мира. Очевидно и то, что сталинско-бухаринская политика в отношении китайской революции во многом повторяла ленинскую политику "брестской передышки". Но если Ленин боялся как таковой победы коммунистической революции в Германии и уготовленной для него в этом случае второстепенной роли, Сталин, судя по всему, опасался совсем другого. Он понимал, что коммунистическая революция в Китае приведет к гражданской войне и распаду слабого китайского государства. В эту гражданскую войну неизбежно вмешается Япония и без труда одержит в Китае победу. Советская же интервенция в Китае приведет лишь к советско-японскому конфликту. А к столкновению с Японией Советский Союз в 1927 г. готов не был. По этим причинам до тех пор, пока между Чан-Кайши и китайской компартией

существовал блок, Сталин не считал нужным начинать коммунистический переворот в Китае, на чем так настаивала оппозиция.

Япония всегда занимала особое место во внешней политике советского государства. Достаточно указать на то, что японская интервенция на Дальнем Востоке времен гражданской войны, в отличие от американской, английской и французской, была реальной и длительной. Дальневосточная республика, просуществовавшая до 1922 г., была создана как буфер против неизбежной японской оккупации Дальнего Востока. И именно Япония, а не Европа, была основным внешнеполитическим противником СССР в двадцатые и тридцатые годы. Ради противостояния Японии были восстановлены в начале тридцатых годов советско-американские отношения. Для более быстрого отражения вероятной японской агрессии (а не на случай войны с Германией, как пишет советская историография) в 1937 г. началось создание мощной промышленной базы на Урале, Дальнем Востоке, в Сибири, Казахстане и Средней Азии. В том же году Япония приступила к оккупации Китая (сталинская политика в Китае обеспечила СССР передышку в десять лет) и к октябрю 1938 г. заняла значительную его часть, выйдя к границам Монголии, оккупированной, в свою очередь, Советским Союзом. Началось противостояние двух армий, которое по крайней мере дважды приводило к локальным войнам: в июне-августе 1938 г. в районе озера Хасан и в мае-сентябре 1939 г. на реке Халкин-Гол, где конфликт был урегулирован только благодаря посредничеству Германии, предусмотренному, по настоянию Сталина, одним из пунктов советско-германского договора.

Конечно же, советское руководство вряд ли предвидело все это в 1927 г. Но общая напряженность в советско-японских отношениях требовала наличия сильного единого и национального Китая, могущего противостоять японской агрессии, а не коммунистического слабого и раздробленного гражданской войной государства, напрашивающегося в жертвы к Японии. И хотя по линии Коминтерна само же советское правительство усиливало компартию и готовило ее к возможному коммунистическому перевороту в стране,

установление в Китае коммунистического режима в 1927 г., судя по всему, не входило в планы Сталина. Ради передышки в войне с Японией он готов был принести в жертву коммунистическую революцию в Китае точно так же, как в 1918 г. в жертву принесли ожидаемую революцию в Германии.

Правда, в 1918 г. Ленин великодушно простил левых коммунистов и никогда не напоминал им об их былой ереси. Неудачное наступление Красной армии на запад в январе 1919 г. (в соответствии с программой левых коммунистов) и поражение коммунистического переворота в Германии сами собой ликвидировали эту проблему. Сталин был куда злопамятней. В декабре 1927 г. он начал репрессии против левой оппозиции Троцкого. Тогда же, на очередном (пятнадцатом) партийном съезде, заставил оппозиционеров публично капитулировать. Одновременно с этим он принял на вооружение платформу оппозиционеров в основных ее пунктах: отказ от НЭПа и, в связи с распадом блока китайских коммунистов с правительством, курс на коммунистический переворот и вооруженное восстание в Китае. Этим он обезоружил оппозицию, а затем, потерпев поражение в Китае (как в девятнадцатом в Германии), вместо того, чтобы, подобно Ленину, предать инцидент забвению, сослал всех оппозиционеров.

3.

Хотим мы этого или нет, время меняет наше виденье прошлого. Прошли годы, и две коммунистические державы, Китай и СССР, занялись проведением далеко не социалистических реформ — из-за невозможности иначе конкурировать с капиталистическим миром и друг с другом. Сегодня сам собою напрашивается вывод о том, что теория построения социализма в отдельной стране потерпела провал. Коммунистическая система так и осталась неконкурентоспособной. Потеряв темп и наступательную динамику, не сумев своевременно захватить западные промышленные страны, она не обеспечила себе свободного

от конкуренции рынка. И, вынужденная соревноваться с Америкой, должна была провести, или хотя бы попытаться провести "капиталистические" реформы. Может быть, с точки зрения коммунистических интересов не так уж не прав был Троцкий, настаивая на мировой революции и скорейшем достижении конечной цели. Но и его теория провалилась в одном решающем пункте. Интернационалист Троцкий никогда не уделял достаточного внимания национальному вопросу. Созданная им модель не считала национальные проблемы внутри коммунистической системы сколь-либо важным фактором. Советско-югославский, советско-китайский, китайско-вьетнамский и вьетнамо-камбоджийский конфликты, равно как и постоянная напряженность в венгерско-румынских отношениях, показали, что Троцкий ошибался и столкновения между коммунистическими державами неизбежны. И возможно, еще и по этой причине Ленин так не спешил с революцией в Германии, настаивая на "передышке".



Уважаемый Никита Алексеевич!

Позвольте мне поделиться с Вами некоторыми соображениями касательно редактируемого Вами журнала "Вестник РХД".

Дело в том, что судьба "Вестника", его лицо, далеко не безразличны многим православным в России и мне, в частности.

В течение многих лет "Вестник" был, да пожалуй и остается, самым читаемым христианским журналом в России. Не буду говорить обобщенно о всех "градах и весях", хотя знаком с жизнью православия во многих местах, но что касается Ленинграда, то могу сказать вполне достоверно, что каждый новый номер "Вестника" являлся существенным событием в нашей жизни. Сколько людей образовывали привычную для нас очередь на прочтение журнала, сколько фотокопий расходилось и хранилось в наших домах не просто как библиографическая ценность, а как книги, к которым надо постоянно возвращаться. "Вестник" поднимал вопросы, которые были нашей жизнью, требовали размышления и обсуждения.

Но вот началась не то чтобы гласность, но, по крайней мере, разговорчивость. Словоохотливость проявилась необыкновенная. Куда уж там Никите Алексеевичу с его "Вестником"! Теперь у нас у самих рождается всяких Вестников по пятку на день. Уже и на чтение времени не остается, лишь бы самому написать хоть что-нибудь. А еще лучше — самому издавать. И заполнили новые журналы и журнальчики и без того пыльное российское пространство. Надо думать, что мода сия быстро отойдет, и шелуха осыпется, оставив действительно нужное нам, христианам.

А ведь нам нужно сейчас очень многое. Нужно вспомнить традицию православной жизни и заново учиться в ней жить, не подменяя ее каким-либо декором. Нужно отвечать людям, ищущим веры, изголодавшимся на безверье, причем

отвечать на такие вопросы, которые мы и сами давно разучились себе задавать. Нужна, в конце концов, самая элементарная информация, информация о самих себе, позволившая бы нам лучше общаться, знать, что мы собой являем, сколько нас, какие темы являются первостепенными для нас. Все это долгие годы оставалось не более, чем мечтой, хотя бы потому, что в первую очередь такой информацией воспользовался бы дядя из ГБ, а помогать ему составлять картотеку вовсе не хотелось.

И все же. Времена (может быть) меняются, а нужда остается. Нужна информация, нужно место для разговора. И вот, казалось бы, именно такую функцию взял на себя ленинградский журнал "Невский Духовный Вестник", первый номер которого вышел в январе прошлого года. Какие хорошие слова о смирении и покаянии, столь необходимые нам в год тысячелетия, были произнесены в редакторском "Вступлении".

.. Может быть именно это многообещающее Вступление и Вас, Никита Алексеевич, заставило поверить в новый журнал, и Вы сделали полную перепечатку его первого номера в своем "Вестнике", а затем, уже частично, и последующих выпусков. Может быть и Вы были обрадованы, принимая Невский Вестник за долгожданный журнал.

Но, увы, радость наша была преждевременной. Первый же номер нового "Вестника" посеял сомнения: наряду с интересными (исторически) материалами, пустое множество самых банальных сплетен, выдаваемых за жизнь епархии. И самое значительное место среди такой "жизни" отведено молебну, заказанному национально-патриотическим обществом "Память" (оно же — национально-патриотический фронт "Память").

Не знаю, следует ли Вам представлять эту организацию. Писать об этом вовсе не хочется. Могу порекомендовать 15-й выпуск журнала "Гласность" (февраль 1988 г.) с большой подборкой материалов об этом "фронте". Наиболее замечательно письмо, обращенное к М. Горбачеву, написанное одним из руководителей новосибирского филиала "Памяти" гр. Казанцевым и озаглавленное "События разворачиваются по иудомасонскому сценарию..." Бедный

Казанцев, сколько раз "обращался я [т. е. он] ко всем секретарям Советского РК КПСС, Новосибирского ГК и ОК КПСС, рассказывал прокурорам района, следователям прокуратуры, судьям, корреспондентам, писал и рассказывал почти все, что я знаю, ответственным и неответственным (а разве такие бывают?) работникам КГБ", и все тшетно — иудомасоны плевать хотели на все помянутые и непомянутые инстанции.

Но каким же образом христианский журнал оказался связанным со столь сомнительной организацией? Или, может быть, это было просто недоразумение?

Вышли последующие номера "Невского Вестника", и стало очевидно, что о недоразумении речи, увы, быть не может.

Случайно ли Вы, Никита Алексеевич, сделали именно такую перепечатку в своем журнале? Почему, скажем, Вы опустили столь замечательный опус, как жизнеописание иеромонаха Арсения (Кипниса)? Описание действительно любопытное. Справедливо, что Кипнис человек малодостойный. Но почему "духовный" Вестник причиной низости этого человека объявляет "происхождение из еврейской семьи"? И тут же, что владыка Мелитон покрывал его "по зову крови"? Опять иудомасонский заговор?

Более того, достаточно обратить внимание на стиль и характер многочисленных рецензий и "репортажей". Воистину, нет ничего достойного и равного рядом с "духовным" Вестником. Международная богословская конференция — какое-то скудное событие, точнее — происшествие, самое главное событие которого показанный фильм "Храм". Доклады о Флоренском не более чем дань моде, Мейендорф повторился, у Аверинцева плохая дикция и запутанный синтаксис.

А. Огородников — неумный активист. Да, собственно, все рецензируемые журналы просто какая-то, простите, плесень и плеск по сравнению с широкомасштабным мышлением новоявленного Вестника!

Помесь мании величия с манией преследования (неумными масонами, конечно же) объяснилась скоро и просто. Оказалось, что настоящим редактором журнала является Виктор Антонов — руководитель ленинградского филиала "Памяти". Позволю себе назвать его имя, поскольку

Виктор Васильевич вовсе не считает этот пост зазорным и не скрывает этого сам. Он был представителем "Памяти" на суде. Он занимал почетное место на митингах "Памяти" в Соловьевском садике летом прошлого года. Вот уж воистину было удивительное мероприятие: два месяца милиция охраняла покой этих собраний, пока, наконец, не последовало указание из Москвы приостановить демонстрацию этой силы. А уж появление на митинге лидера "Памяти" Васильева в окружении десятка людей в черных формах запомнилось многим ленинградцам.

Идеологическими, а вовсе не богословскими убеждениями редактора журнала объясняются многие выпады на его страницах. В частности, это можно сказать об отчете "корреспондента" журнала о проходившей в Ленинграде конференции христианской общественности (там присутствовал сам В. Антонов). Чем, скажем, досадил ему доклад В. Никитина? Не тем ли, что последний резко выступил, когда молодые люди, окружавшие Антонова, стали вещать, что мол Богородица была "не еврейка", да и не могло такого "позорного" явления быть в истории христианства. Вам знакомы подобные мотивы? Именно В. Никитин тогда сказал, что такого рода заявления влекут за собой извержение из Церкви.

Да посмотрите внимательно на стиль и характер сообщений: этот погорел на даче, того ожидает успешная карьера, говорят, что избил уполномоченного... Полноте, — разве это вся наша христианская жизнь? И христиане-то все больше полудурки какие-то.

По сути, можно было бы прокомментировать чуть ли не каждую строчку новоявленного Вестника, да стоит ли? Вот уж воистину — это "новое" — не более, чем забытое старое. И все же я надеюсь, что старое забыто не всеми и не столь основательно.

Именно поэтому я решил обратиться к Вам со столь пространном письмом. Уважение к Вашему журналу и к Вам лично заставляет меня верить, что перепечатка столь низкопробного издания, сделанная Вами, не более, чем досадное недоразумение.

Н. Вольный

(Ленинград, апрель 1989 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции:

"В тот час, как рушатся миры..." — Н. Струве..... 3

БОГОСЛОВИЕ, ФИЛОСОФИЯ

Крещение Руси и развитие русской мысли —	5
А. (Ленинград)	5
Культурные связи Византии, южных славян и России —	
Прот. Иоанн Мейендорф	45
Расизм и христианство —	
Прот. Сергей Булгаков	58

СТОЛЕТИЕ АННЫ АХМАТОВОЙ (1889-1966)

Анкета "Вестника" — с участием:	
Дмитрия Бобышева, Иосифа Бродского, Юрия	
Кублановского, Семена Липкина, Инны Лиснян-	
ской, Льва Лосева, Шимона Маркиша, Зары Минц,	
Олеси Николаевой, Сергея Стратановского, Ники-	
ты Струве, Бориса Филитова.	95
7 малоизвестных стихотворений —	
Анна Ахматова	115
Ахматова и Гумилев —	
Из записей П. Н. Лукницкого	120
Ахматова и Раневская	150
Облака и голуби (встречи с Ахматовой	
в Ташкенте (1942 г.) — Юзеф Чапский	157
Встречи с Ахматовой (1944-1946) —	
С. К. Островская	165
"Восемь часов с Ахматовой". (Добавления) —	
Н. Струве	185

Поэтическое творчество Анны Ахматовой —
 К. М. Мочульский..... 188
 О "Реквиеме" Анны Ахматовой —
 Ю. Кублановский..... 211
 Бог Ахматовой — Н. Струве..... 222

СУДЬБЫ РОССИИ

Воспоминания 1918 года —
 Прот. Михаил Чельцов..... 225
 Оптина. Ночь 15 -16 октября 1988 г. —
 П. Ф. (Москва)..... 258
 Крушение мировой революции —
 Ю. Фельштинский (США)..... 272
 Письмо в Редакцию 291

SOMMAIRE

Editorial — N. Struve 3

THEOLOGIE , PHILOSOPHIE

Le Baptême de la Russie et la mission orthodoxe russe —
 A. (Léningrad) 5
 Les relations culturelles entre Byzance, les Slaves du Sud
 et la Russie —
 P. Jean Meyendorff (New York) 45
Racisme et christianisme —
 P. Serge Boulgakov..... 58

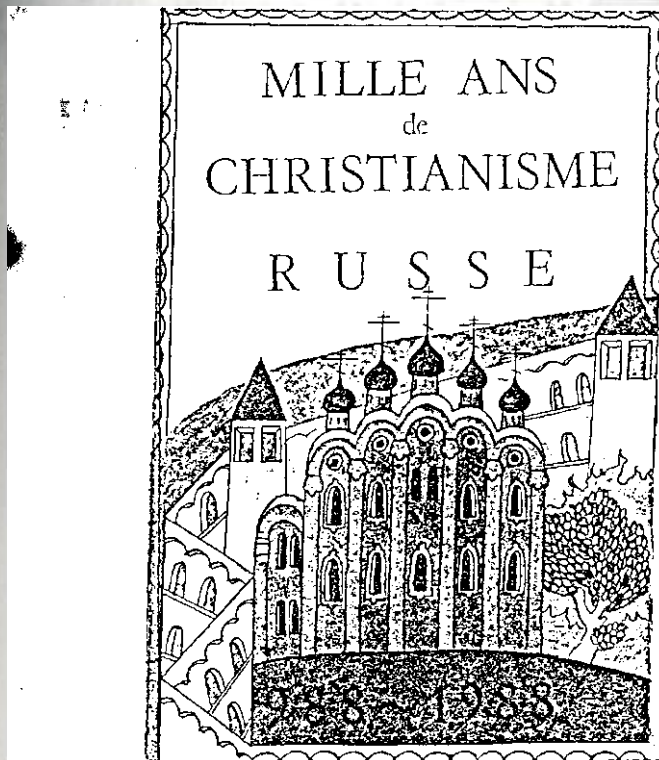
ANNEE ANNA AKHMATOVA (1889-1966)

ENQUETE DU «VESTNIK» — Contributions de:
 Dimitri Bobyshev, Iosif Brodski, Yuri Koublanovski,
 Semion Lipkin, Inna Lisnianskaia, Lev Lossev, Shimon
 Markish, Zara Mints, Olessia Nikolaeva, Sergei Stra-
 tanovski, Nikita Struve, Boris Filippov 95
7 poésies récemment retrouvées —
 Anna Akhmatova..... 115
Akhmatova et Goumilev —
 Extraits des Carnets de P. N. Louknitski..... 120
Akhmatova et Faina Ranevskaia 150
 Rencontres avec Akhmatova à Tachkent (1942) —
 Yuzef Czapskij 157

<i>Rencontres avec Akhmatova (1944-1946) —</i>	
S. Ostrovskaia	165
<i>Quelques ajouts à «Huit heures avec Akhmatova» —</i>	
N. Struve	185
<i>La poésie d'Anna Akhmatova —</i>	
C. Motchoulski	188
<i>Le "Requiem" d'A. Akhmatova —</i>	
Yu. Koublanovski	211
<i>Le Dieu d'A. Akhmatova —</i>	
N. Struve	222

DESTINEES DE LA RUSSIE

<i>L'Année 1918 (Mémoires) —</i>	
P. Michel Tcheltsov	225
<i>L'invention des reliques de saint Ambroise d'Optino (15-16 oct. 1988) —</i>	
P. F. (Moscou)	258
<i>L'échec de la révolution mondiale —</i>	
Yu. Felshtinski (USA)	272
COURRIER DES LECTEURS	291



Contributions de :

C. ANDRONIKOF, J.-P. ARRIGNON, E. BEHR-SIGEL,
O. CLEMENT, J. B. DUNLOP, T. A. GREENAN, Y. HAMANT,
Chr. HANNICK, C. HEITZ, P. Alexis KNAZEFF, V. LEPAKHINE,
D. LIKHATCHEV, N. LOSSKY, J.-C. MARCADE,
P. Jean MEYENDORFF, G. NIVAT, A. NIVIERE, D. OBOLENSKY,
K. ONASCH, P. Nicolas OZOLINE, Métropolitte PITIRIM,
G. PODSKALSKY, G. PROKHOROV, Ié. REZNIKOFF,
F. ROULEAU, M. SEMON, T. SPIDLIK, N. STRUVE, V. VODOFF

ИЗДАТЕЛЬСТВО

11, rue de la Montagne Ste Geneviève

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ
НОВЫЕ КНИГИ

СБОРНИК

основных православных служб и частных молитв
на русском языке

Переиздание редчайшего сборника, изданного в 1926 г.
священником В. Адаменко в Нижнем-Новгороде.

в твердом переплете, 470 стр., 120 фр.

ПРОТ. ИГОРЬ ЭКОНОМЦЕВ

ПРАВОСЛАВИЕ - ВИЗАНТИЯ - РОССИЯ

Сборник статей по русской церковной истории
профессора Московской Духовной Академии.

298 стр. - 100 фр

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

ЗАТМЕНИЕ

Новый сборник стихов (1984-1987)

154 стр. - 75 фр

Ymca - Press

75005 Paris, France - Tél. 43-54-74-46

ПРОТ. ИГОРЬ
ЭКОНОМЦЕВ
ПРАВОСЛАВИЕ
ВИЗАНТИЯ
РОССИЯ



ПЕРЕИЗДАНИЯ

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

большой формат, мягкая обложка

ОКТАБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

том 1 592 стр. 120 фр

том 2 590 стр. 120 фр

малый формат, мягкая обложка

В КРУГЕ ПЕРВОМ

832 стр. 180 фр

ПУБЛИЦИСТИКА

968 стр. 160 фр

ОКТАБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

1184 стр. 180 фр

Y M C A - P R E S S

11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 75005 Paris. Tél.: 43.54.74.46

ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕМУАРНАЯ БИБЛИОТЕКА

Основана А.И.Солженицыным

Серия: НАШЕ НЕДАВНЕЕ, вып.9

Н.В.ПАЛИБИН
ЗАПИСКИ

СОВЕТСКОГО АДВОКАТА

«Я не участвовал в громких столичных процессах. Я знал о них только из газет. Но вся структура этих процессов, а главное — «подкладка» — были мне известны. Я же видел, как преломляется советское законодательство в «низовке», т.е. в нашей обездоленной несчастной деревне, и ей, главным образом, посвящаются эти строки».

206 стр.

100 фр.

В той же серии вышли:

- | | |
|---|---------|
| Вып.1. Н.В.Волков-Муромцев. Юность. От Вязьмы до Феодосии.
1984. 428 стр. | 100 фр. |
| Вып.2. Н.А.Кривошеина. Четыре трети нашей жизни.
1984. 282 стр. | 150 фр. |
| Вып.3. О.А.Хрептович-Бутенева. Перелом (1939-1942).
1984. 236 стр. | 100 фр. |
| Вып.4. А.В.Герасимов. На лезвии с террористами.
1985. 208 стр. | 100 фр. |
| Вып.5. Кн.Е.Н.Сайн-Витгенштейн. Дневник (1914-1918).
1986. 300 стр. | 120 фр. |
| Вып.6. Ф.Я.Черон. Немецкий плен и советское освобождение. —
И.А.Лугин. Пожиратель свободы.
1987. 300 стр. | 100 фр. |
| Вып.7. П.Н.Палий. В немецком плену.
Н.В.Вашенко. Из жизни военнопленного 1942-1945.
1987. 300 стр. | 100 фр. |
| Вып.8. В.А.Оболенский. Моя жизнь, мои современники.
1988. 756 стр. | 150 фр. |

Заказы направлять по адресу: LES ÉDITEURS RÉUNIS —
11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. 75005 Paris. France.

LE MESSENGER — VESTNIK c/o A. C. E. R.
91 rue Olivier de Serres, 75015 Paris, France.
(Compte Postal : «LE MESSENGER» — N° 23 601 57 1. - Paris)

ПОДПИСКА НА 1989 ГОД

фамилия :

адрес :

Прошу прислать мне список старых номеров "ВЕСТНИКА РХД"

— список номеров "LE MESSENGER ORTHODOXE"
(на французском языке)

Прошу подписать меня на "ВЕСТНИК РХД" 1989 :

с пересылкой обыкновенной почтой (Sea Mail)
 воздушной почтой (AIR MAIL)

(цены: фр. 240. = во Франции)

(цена: фр. фр. 270. = другие страны Sea Mail)

(цена: фр. фр. 320. = AIR MAIL)

Прилагаю чек в
на имя «LE MESSENGER»

Дата

подпись:

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

ИЗБРАННАЯ ПОЭЗИЯ

АННА
АХМАТОВА



(201 стр. — Цена: 60 фр.)

ymca-press

АННА АХМАТОВА

читает

«Реквием» и стихи 60-х годов

(Неизданное издание, Лондон-Париж, июнь 1965)



Distribution exclusive : «LES EDITEURS REUNIS»
11 rue de la Montagne-Ste-Genève, 75005 PARIS

ANNA AKHMATOVA (1889 - 1966) АННА АХМАТОВА
lit le «Requiem» et six poèmes des années 60

СТОРОНА 1

Вступление П. П. Нормана

РЕКВИЕМ

Фотография из собрания В. С. Франка,
Лондон, 1965

СТОРОНА 2

Вступление Н. А. Струве

СТИХИ 60-х ГОДОВ :

- "Этот рай, где мы не согрешили..." (из Пролога)
- "Оттого, что я делил с тобой..." (из Пролога)
- Мелхола
- "А за проволокой колючей..." (из Поэмы без героя)
- "Красотка очень молода..."
- "Он женщиною был..."
("Всем обещаньям вопреки...")

09 фр.

Цена кассеты :

ВЕСТНИК

Издание

"Русского Студенческого Христианского Движения"

ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ВЕСТНИКА"

В Америке — East :

Mr Dorman, 321 Varick St., Jersey City, N.J. 07302, USA.

— West :

Mrs Olga Hughes-Raevsky, P.O. Box 1207, Berkeley Ca 94701, USA.

В Канаде :

«Parish News», 1175 A rue de Champlain, Montreal P.Q. H2L 2R7.

В Англии :

«Aid to the Russian Church», (Miss Ellis),
P.O. Box 200, BROMLEY, Kent, BR1 1QF.

Русское Студенческое Христианское Движение за рубежом имеет своей основной целью объединение верующей молодежи для служения Православной Церкви и привлечение к вере во Христа равнодушных к вере и неверующих. Оно стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить защитников Церкви и веры, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом.

Р.С.Х.Д. утверждает свою неразрывную связь с Россией. Наша принадлежность к русскому народу и к русской православной Церкви налагает на нас духовные обязательства, независимо от того, мыслим ли мы себя временными изгнанниками-эмигрантами или решили связать свою жизнь с другой страной. Подлинная русская культура неотделима от Православия: поэтому в хранении и продолжении ее мы видим наш долг. Мы видим наш долг также в свидетельстве перед миром о подлинном лике России, в напоминании о страданиях русского народа.